

KI1024693

ср



СЕРГЕЙ ТХОРЖЕВСКИЙ

ИСПЫТАНИЕ
ВОЛИ



ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ПЕТР ЛАВРОВ



СЕРГЕЙ ТХОРЖЕВСКИЙ ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ

Повесть
о Петре Лаврове

К1 1024693

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1985

Сергей Тхоржевский — автор историко-документальных повестей «Карднатрикон», «Странник», «Высокая лестница», «Искатель истины», «Жизнь и раздумья Александра Пальма», а также трех сборников рассказов и повестей на темы современности. Новая повесть его рассказывает о Петре Лаврове, крупном мыслителе, ученом, публицисте, идеологе революционного народничества, сыгравшем значительную роль в русском революционном движении 1860—1880 гг. Он автор знаменитых «Исторических

писем», вдохновлявших молодое поколение на борьбу, активный участник Парижской Коммуны, член Интернационала, издатель журнала и газеты «Вперед!». Страстный противник царского самодержавия, он говорил: «Надо действовать и бороться... надо вооружаться для действия и борьбы».

Воля его к борьбе подвергалась многим испытаниям, но ничто не сломило стойкого революционера, его жизненной опорой оставались твердые убеждения и высокие нравственные принципы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Можно было ожидать, что однажды на петербургскую квартиру полковника Лаврова нагрянут жандармы, проведут обыск, а его самого арестуют и увезут.

Удивляться, наверное, следовало другому: как это Петр Лаврович Лавров, профессор математики в Артиллерийской академии, дожив до сорока двух лет и достаточно ясно определив свое отношение к этой жизни, достаточно ясно выражая в разговорах отнюдь не монархический образ мыслей, до сих пор относительно благополучно существовал...

Очередь его пришла в конце апреля 1866 года. Всего три недели минуло после того, как весь Петербург был взбудоражен известием о покушении на жизнь царя. Незнаемый выстрелил в Александра Второго у входа в Летний сад — и промахнулся. Пет, к этому покушению Лавров был совершенно непричастен, но теперь, как видно, царское правительство решило очистить столицу от неблагонадежных личностей — от тех, кто вносил в умы смуту.

Жил он на тихой Фурштатской улице. Чтобы попасть в Артиллерийскую академию, на Выборгскую сторону, ему надо было свернуть с Фурштатской на Литейный проспект и по Литейному подойти к Неве. Весной, пока не прошел последний лед, отсюда, от набережной, перевозили на ялике на другую сторону. На лето здесь наводился

деревянный плашкоутный мост. На том берегу стояло желтое здание академии. Оно смотрело окнами на солнечную сторону, на Певу.

И вот в один из апрельских дней, когда он выбрался из ялика на берег возле академии, к нему подошел незнакомый молодой человек и сказал, что собственными глазами видел — не стал объяснять, у кого и где — предписание об аресте полковника Лаврова.

У него перехватило дыхание, что-то дрогнуло внутри... Но постарался не подать виду. Чему быть — того не миновать. Главное — не растеряться и вести себя с достоинством.

Он уже подготовился к возможному аресту. На днях, дома, достал из ящика стола пачку писем — тех, которыми дорожил, да еще свой давний юношеский дневник и отвез на Миллионную улицу к одной близкой знакомой, дочери известного архитектора Елене Андреевне Штакеншнейдер. Как верный и надежный друг, она уже сама предлагала ему взять на хранение, на всякий случай, его бумаги — те, что надо скрыть от посторонних глаз. Он так и сделал. Он был уверен, что в роскошный особняк Штакеншнейдеров с обыском никогда не придут.

В ночь на 24 апреля на Фурштатской улице нарушили тишину цокот копыт и легкое постукивание колес по мостовой. Напротив лютеранской церкви святой Анны, у дома, где жил Лавров, остановилась коляска. Из нее вышли два жандармских офицера и сам Лавров. Его только что забрали прямо из гостей и привезли домой, чтобы провести предписанный обыск в его присутствии.

Вот и кончилась для него благополучная жизнь. Но ведь рано или поздно это должно было случиться. Он это понимал и не был подавлен, напротив — как-то весело возбужден.

В квартире зажгли керосиновую лампу. Жандармы увидели, как много в его кабинете книг и бумаг (книги — до потолка, бумаги — повсюду), решили кабинет опечатать и обыск отложить.

Только утром 25 апреля с дверей кабинета сняли печати. Жандармы долго рылись в бумагах, перелистывали книги; сложили все подозрительное в несколько пакетов; сняли со стены и увезли с собой фотографический портрет Герцена.

Лавров остался дома и ожесточенно принялся приводить книги и бумаги в порядок, возвращать кабинету привычный вид. Вечером жандармы приехали снова, жандармский офицер потребовал у полковника Лаврова шпагу. Это уже означало арест. Он этого ждал...

Его отвезли на главную петербургскую гауптвахту — Ордонансгауз, желтое казарменное здание на Садовой улице, у Михайловского замка. Посадили в камеру с зарешеченным окном во двор.

Он сознавал, что его арест больше всего переживаний доставил матери, Елизавете Карловне. Для нее это был удар гораздо более тяжелый, чем для него самого.

Для матери он снимал квартиру в том же доме на Фурштатской, отдельно, так что арест произошел не в ее присутствии.

Не пришлось эту беду встретить его жене: ее уже не было в живых, совсем недавно он овдовел. Она была старше его, последнее время тяжело болела. В молодые годы она слыла красавицей, некогда сам Карл Брюллов предлагал написать с нее мадонну...

А Петр Лаврович и смолоду не был красив — рыжеволосый, с пушистыми усами, которые топорщились над губой. И отчаянно близорукий.

Жена у него была добрая, славная, хоть и далекая от его интересов, тем более — от политики. Сыновья, пожа-

луй, уродились в мать. Способностями оба, к сожалению, не отличались. Старший, семнадцатилетний Михаил, учился в последнем классе гимназии. Младший, десятилетний Сережа, был отдан в пансион, откуда его отпускали домой только на субботу и воскресенье.

Дочка Маня, любимица отца, после смерти матери стала жить вместе с бабушкой, Елизаветой Карловной. Маня отличалась решительностью и невозмутимостью уже теперь, в ее четырнадцать лет.

На Фурштатской Лавровы жили давно, и Петр Лаврович никогда прежде не собирался расставаться с этой улицей, тем более — с Петербургом, выезжал из города редко. Правда, летом прошлого года он провел четыре месяца за границей, в Германии, вместе с больной женой. А раньше выезжал только в Исковскую губернию, в родовое имение Мелехово. Помещиком он, в сущности, не был никогда, хозяйством не занимался, да и не интересовался.

Еще он ездил в Нарву, во время Крымской войны. Тогда английские военные корабли проникли в Балтийское море, и он, как офицер-артиллерист, был командирован в Нарву на два месяца. Он попал на батарею возле устья реки Наровы как раз в тот день, когда четыре английских корабля обстреливали укрепленный берег. Опасаясь ответного огня русских батарей, англичане вели обстрел с большого расстояния, лишь один их снаряд попал в цель — два артиллериста были убиты. А сотни, если не тысячи снарядов были выпущены англичанами впустую — они лишь поднимали фонтаны воды в устье Наровы и зарывались в песок бруствера. Через несколько часов английские корабли ретировались, ушли. Об этом эпизоде он написал в журнал «Морской сборник», где его письмо было напечатано под заголовком «Артиллерийское дело в устье Наровы»...

Теперь он сидел в Ордонансгаузе, один в камере, и

мог видеть за окном только противоположную сторону двора. На прогулку его не выпускали.

Проходили дни за днями, на допрос его не вызывали, никаких обвинений не было предъявлено. Непонятно — чего ждут. Или никак не могут разобраться в его бумагах?.. У него оказалось достаточно времени, чтобы все обдумать, представить себе, в чем его могут обвинить.

Ну, во-первых, при обыске могли быть найдены его стихотворения последних лет — они все имели политический смысл и выдавали его истинные взгляды. В юности он писал стихи во множестве, с годами — все реже и, хотя уже сознавал, что настоящего поэтического дара у него нет, каждый раз писал с увлечением, горячо. «Стихотворная деятельность доставила мне много часов высшего наслаждения», — признавался он в письме к Герцену.

Давно уже написал он стихотворение «Пророчество»:

*Не вечен будет сон; настанет пробужденье,
И устыдится Русь невежественной тьмы...*

Как истолкуют эти строки жандармы?

Незадолго до смерти императора Николая написал он еще стихотворение «Русскому народу»:

*Встань: ты пред идолом колена преклоняешь,
Внимаешь духу лжи.
Свободный, вечный дух ты рабством оскверняешь...
Оковы развяжи!*

И о том же, в сущности, писал он в стихотворении «Новому царю», то есть уже Александру Второму:

*Мне тесно, мне темно, сними мне бремя с плеч,
Дай мне свет знания! Дай воздух мне закона!
Освободи мою закованную речь!*

За эти стихи и теперь могут отдать под суд.

А еще хуже будет, если узнают, что его «Пророчество»

и «Русскому народу», среди стихотворений под общим заголовком «Современные отголоски», были напечатаны Герценом в Лондоне еще в 1857 году в одном из сборников «Голоса из России» — конечно, без имени автора.

Эти два стихотворения посвятил он Виктору Гюго, вольнолюбивую поэзию которого очень любил. Поэтому Герцен тогда же послал их Гюго, и затем на страницах герценовского «Колокола» появилась такая заметка: «Виктор Гюго просит редактора «Колокола» переслать его искреннюю благодарность русскому поэту, посвятившему ему «Современные отголоски». Откликом самого Гюго можно было гордиться, но в Петербурге о нем приходилось помалкивать...

Тем стихотворениям Лавров предпослал, также без подписи, пространное письмо. Он обращался к Герцену: «Не старайтесь угадать мое имя, оно вам совершенно неизвестно... Но я человек русский; я уважаю и люблю вас заочно».

В кабинете своем он повесил портрет Герцена. Уже давно зачитывался его статьями, его книгой «С того берега» и, хотя не разделял ее горького скептицизма, во многом вторил ей сам — в своей статье «Вредные начала».

Герцен в книге «С того берега» утверждал: «Цель для каждого поколения — оно само». Лавров как бы уточнял: «Цель человека — совершенствование себя и других». Герцен замечал: «...надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же». Лавров добавлял: «Для оценки значения и достоинства человека важно не то слово, которое он повторяет беспрестанно, а то чувство или та мысль, под влиянием которой он действует. Мало ли знаменитых лицемеров говорят о справедливости, о бескорыстии, о своей всегдашней преданности общему благу, а сами... готовы защищать самое вредное установление для своего отечества, лишь бы им было хорошо!»

Герцен в книге «С того берега» укорял незадачливого собеседника: «...вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой».

Лавров утверждал то же самое:

«Кто считает себя вечно несовершеннолетним ребенком, для того, конечно, необходима всегда опека, необходимы руководители, необходим авторитет, указывающий на каждом шагу, что делать и как делать. Но неужели многие желают сознательно оставаться вечно детьми?.. Кто этого желает, для того предыдущие страницы не писаны... Я пишу для взрослых.

Им мне хотелось напомнить старую истину, что в частной жизни человека, как в общественной его деятельности, самое вредное начало есть то, которое связывает ему руки, отуманивает его зрение... Пусть он привыкает ходить без палочек, читать без указки, чувствовать собственным чувством, своим умом. Споткнется: ничего; ошибется: ничего; обмолвится: ничего... Сознание самостоятельной деятельности в нем растет... Человек должен быть не машиною, а машинистом...»

Напечатать эту статью в журнале удалось ему с немалым трудом, но неприятностей она не принесла. Должно быть, на нее просто не обратили внимания.

Кажется, впервые широкое внимание он обратил на себя лекциями в новом зале петербургского Пассажа — они были устроены с благотворительной целью. Денежный сбор предназначался Обществу для пособий нуждающимся литераторам и ученым, общество это стало потом известно под названием Литературный фонд. Лавров прочел три лекции о современном значении философии, каждый раз, к его удивлению и радости, зал — большой и красивый зал с красной драпировкой между белыми колоннами — был заполнен публикой. Возможно, часть публики пришла его послушать не из интереса к современной философии, а просто из любопытства: подобные лек-

ции в Петербурге были в новинку, и к тому же о философии говорил неожиданно полковник и профессор математики. Но все потом утверждали, что он яснее говорит, чем пишет. Ну, может быть...

Однако ему было наотрез отказано, когда он обратился с ходатайством, чтобы ему предоставили кафедру философии в университете. Он еще предлагал вести курс лекций по философии в артиллерийской академии, но начальник военно-учебных заведений, великий князь Михаил Николаевич, положил резолюцию: «А сему полковнику не разрешаю». После этого кто-то в академии дал ему шуточное прозвище «сей полковник».

Заниси лекций, читанных в Пассаже, ему удалось потом напечатать, в виде отдельной статьи, в журнале «Отечественные записки». За эту статью цензор, дозволивший ее к печати, имел, говорят, серьезные неприятности. Потому что в ней упоминались «пять теней погибших героев русской мысли и русской жизни» и можно было догадаться, что речь идет о казненных декабристах. Казненные были нечестно названы героями! Цензор получил от цензурного комитета выговор за то, что не вики в содержание статьи.

Конечно же, Лавров считал декабристов героями.

В сентябре 1862 года узнал он, что в Петербурге умер старый декабрист Штейнгель, и пошел вместе с друзьями на панихиду в церковь Космы и Дампана — недалеко от его дома на Фурштатской. Когда гроб выносили из церкви, Лавров и пятеро его друзей попросили позволения нести гроб на руках. Сын умершего, генерал-майор, разрешил — до Литейного проспекта. Донесли до Литейного, там, против арсенальной гауптвахты, Штейнгель-младший предложил поставить гроб на дроги, но Лавров и его друзья попесли гроб дальше, к Троицкому мосту. Слева за мостом темнели гранитные стены Петропавловской крепости, где некогда был заключен в ка-

земате ныне покойный декабрист; похоронная процессия поравнялась наконец с крепостными воротами и здесь остановилась. Лавров предложил отслужить краткое молитвословие, литию, на этом месте, у крепостных ворот. Но Штейнгель-младший не захотел допустить подобную демонстрацию сочувствия декабристам, приказал поставить гроб на дроги, а Лаврова и его друзей попросил удалиться. Благополучный сын декабриста предпочел бы вообще, чтобы все забыли о том, что его отец — декабрист...

А годом ранее, во время студенческих волнений в университете, Лавров определенно вызвал неудовольствие полиции. Когда из-за этих волнений университет был временно закрыт и возбужденные студенты толпились у ворот его на набережной Невы, Лавров — очень заметный при его высоком росте и полковничьей форме — ходил от одной группы студентов к другой и выражал им свое сочувствие. Какой-то полицейский чин подошел и предложил ему удалиться — он отказался.

Друг его поручик Энгельгардт, преподаватель химии в артиллерийской академии, тоже был там, на набережной. Некто в штатском закричал на поручика, требуя, чтобы он удалился. Энгельгардт послал штатского ко всем чертям. Тот вскипел и схватил его за погон. Это было прямым оскорблением для офицера. Энгельгардт выхватил саблю из ножен, приятелям удалось его удержать... Некто в штатском оказался петербургским полицмейстером, так что Энгельгардт за свое поведение на набережной отсидел две недели на гауптвахте.

Лаврова же вызвал к себе начальник штаба военно-учебных заведений генерал Путья и строго сказал: сообщено полицией, что он подстрекает студенческую молодежь к беспорядкам. И если полковник еще раз будет замечен в подстрекательстве, последствия будут чрезвычайными неприятными для него. Лавров перебил его, сухо

сказал, что у его превосходительства сложилось неправильное представление о том, что произошло. Путята не нашелся, что ответить...

Домой, на Фуриштатскую, к Лаврову приходила депутация молодых офицеров артиллерийской академии. Они доверительно рассказали, что студенты готовят уличную демонстрацию, спрашивали совета: принять ли им, офицерам, участие в пей? Он не видел в этой демонстрации действительной необходимости и посоветовал офицерам не ходить. Добавил, что, если минута придет, когда подобную демонстрацию он сочтет нужной и своевременной, он не только скажет им это, но и сам пойдет вместе с ними.

Тогда ожидалась большая студенческая сходка на Невском проспекте, у Казанского собора. Была не то суббота, не то воскресенье, в этот день он не мог усидеть дома и провел на Невском несколько часов. Волнуясь, ходил по тротуару или сидел у окна в кофейной. Среди прохожих замечал знакомых молодых офицеров из академии — был уверен, что они здесь ради того, чтобы примкнуть к студентам, если дело дойдет до столкновения с полицией. Но, как он узнал назавтра, сходка была студентами отменена. И, быть может, упущен был день, который мог стать днем революционного подъема... Так он думал потом.

От Энгельгардта он узнал о существовании тайного общества «Земля и воля». Энгельгардт предложил ему вступить в общество, и он выразил готовность. Но, должно быть, молодые люди, составлявшие общество, не очень-то стремились приобщить к своим планам профессора и полковника, так что его согласие, по сути дела, ни к чему не привело. А вскоре отошел от тайного общества Энгельгардт, и связующая нить оборвалась...

Многих студентов, участников беспорядков, аресто-

валп. Отвезли в Кронштадт и там посадили под замок в здании госпиталя.

В то время Лавров был членом комитета Литературного фонда. Состоял в этом комитете и знаменитый публицист Николай Гаврилович Чернышевский, с ним Лавров был еще мало знаком, но на заседаниях комитета они вместе, в один голос, добивались — и добились — выдачи арестованным студентам пособия. Пособие за счет фонда было выдано дважды: когда студенты сидели в Кронштадте, и позднее, в декабре, когда их наконец выпустили.

И вообще на заседаниях комитета Литературного фонда Лавров настаивал, чтобы комитет при обсуждении прав кого-то на пособие принимал во внимание гражданскую позицию каждого, кому пособие дается.

Комитет заседал на квартире его председателя Ковалевского — на Мойке, возле Синего моста. Однажды вечером, после очередного заседания, Чернышевский и Лавров вышли вместе, извозчиков тотчас не встретилось, и оба свернули на уже безлюдный, тускло освещенный фонарями Невский. По пути разговорились, за разговором не заметили, как дошли по Невскому до угла Владимирского проспекта, свернули за угол направо, дошагали до дома, где жил Чернышевский, а потом Чернышевский стал провожать Лаврова по Владимирскому и Литейному до Фурштатской. Так провожали они друг друга до самого утра. Наконец Лавров зашел к Чернышевскому. Поставили самовар и за чаем проговорили еще часа два...

Летом 1862 года Чернышевский был арестован, посажен в Петропавловскую крепость. Почти два года сидел под следствием, наконец был объявлен приговор. Ему вменялись в вину «противозаконные сношения с изгнанником Герцепом» и, главное, «приготовление возмущения». За это его ссылали на каторжные работы на семь лет, а затем предписано было поселить его в Сибири

навсегда. И ни одна газета не посмела назвать приговор несправедливым. В мае 1864-го на Мытнинской площади, на краю города, был совершен над осужденным позорный обряд так называемой гражданской казни: поставили на колени, сломали над его головой надпиленную шпалу. Было пасмурно, дул холодный, пронизывающий ветер, начался дождь. В собравшейся толпе многие сочувствовали осужденному...

В марте 1865-го Лавров, когда он уже не был членом комитета Литературного фонда, обратился в комитет с предложением выдать пособие несчастному Чернышевскому, сосланному на каторгу в Сибирь. Но члены комитета дрогнули, на такой поступок решимости у них не хватило, на заседании никто из них, и в том числе двоюродный брат Чернышевского, также член комитета, не решился поддержать предложение Лаврова...

А совсем недавно, ему рассказали по секрету, кто-то из друзей Чернышевского — не тот ли самый двоюродный брат? — получил от писателя из далекой Сибири тайную посылку — рукопись нового романа — и в страхе сжег рукопись. Трусость оборачивалась преступлением! Получил бы эту рукопись Лавров, он бы ее постарался в любых условиях сохранить...

Видимо, теперь судебные власти поставят ему в вину добрые отношения с Чернышевским.

Свиданий ему в Ордонансгаузе не давали ни с кем. Но уже в первые дни разрешили отправить домой пошечное белье и получить свежее. Лавров сунул в посок записку к матери, а на другой день получил от нее ответную записку — уже в чистом носке. Получил и спрятанные среди белья карандаш и бумагу.

Он узнал от матери, что был обыск еще в комнате сына Михаила, а также на квартире у нее самой, причем взяты были его письма к покойной жене. Как будто в этих

письмах можно было обнаружить нечто преступное!

Почти два месяца его не вызывали никуда. И лишь в конце июня первый раз вывели под конвоем из Ордопансгауза.

Он увидел, как ярко зеленеют деревья за оградой Михайловского сада и дальше, в Летнем саду, за Лебяжьей канавкой. Синела на солнце Нева, свежо пахло речной водой. Через Троицкий мост его привезли в Петропавловскую крепость. Вот и он сподобился войти в эти стены как арестант.

В крепости, в комендантском доме, заседала следственная комиссия. Здесь ему предъявили перечень обвинений. Наконец-то он смог их узнать.

Что же нашли при обыске? Во-первых, несколько листков с политическими стихами. Напрасно он надеялся, что не найдут. Его, правда, не обвиняли в том, что он напечатал их в герценовском сборнике «Голоса из России», — этого просто не знали! И то хорошо.

Найдено было в бумагах его духовное завещание, написанное вскоре после смерти жены, — тогда, пребывая в состоянии подавленном, он задумался о собственной смерти. Только вот никак не предполагал, что его завещание будет читать следственная комиссия. Не для жандармов писал! А они прочли, отметили неуместное, на их взгляд, выражение «не обращать внимания на безнравственный и нелепый закон» и сомнительную фразу: «Детям одно завещаю — не служить идолам».

Ну, что касается завещания, то оправдываться он не будет.

Далее: найдена была в его бумагах давняя записка Чернышевского. Та, в которой предлагалось отправить пятьсот или шестьсот рублей из фонда, то есть Литературного фонда, арестованным студентам в Крошштадт.

Обнаружила комиссия корректурный лист его статьи

«Постепенно». Года три назад он предлагал ее в «Санкт-Петербургские ведомости». Ее набрали в типографии, но затем статья не была дозволена к печати. Ему лишь прислали из редакции на память корректурный лист.

В статье он писал: «*Постепенно* созревает общественное сознание. Но когда оно пробудилось, то *не постепенно* уже, а *одновременно* обращает на все пункты, ему доступные, свою разъедающую критику, и на всех пунктах начинается неукротимое требование обновления и развития». Он сочинил и в конце статьи рассказал весьма прозрачную легенду о том, что где-то на востоке, в пышном дворце, жил хан и при его появлении подданные должны были падать ниц. Они верили, что хан имел четыре крыла. Когда он проходил, никто не смел поднять голову, но однажды какой-то вольнодумец голову поднял — и потом сказал приятелям, что крыльев у хана не заметил. Вольнодумца сожгли на костре, но слух п далее распространялся. Тогда собрался совет мудрецов. «Теперь же надо сделать уступку общественному мнению и признать, что старые книги ошибались, но немного: у хана не *четыре видимые*, а *три невидимые крыла*». Но вольнодумцы продолжали говорить, что никаких крыльев у хана нет вовсе. За такие разговоры их схватили и привели на совет мудрецов, где на них обрушились упреки в неблагодарности. «Как! — говорили мудрецы, — мы вам только что уступили одно ханское крыло, а вы все недовольны... Ведь мы сами видим, что крыльев у хана вовсе нет, мы сами стремимся к тому же, что и вы, но во всем нужна постепенность: в нынешнем веке мы согласились на три крыла, в будущем согласимся на два... Мы, очевидно, желаем прогресса, а вам бы только ломать да разрушать до основания».

Теперь на следствии Лаврову предлагалось объяснить, «с какой целью помещен был в этой статье анекдот о крылатом хане, в котором отвергаются верования народа

в самодержавные права государя и в пасмешливом виде представляется постепенный ход реформ».

«Реформы в ней не осмеивались,— письменно отвечал Лавров,— а защищалась мысль, кажется непротивозаконная, что реформы возможно более скорые желательны во всех частях общественной жизни. Что касается самодержавной власти, эти слова в статье даже не встречаются». — Не признавать же на свою голову, что комиссия правильно истолковала статью!

В крепость возили его на допрос трижды, последний раз — в середине июля. Очных ставок не было никаких.

А затем о нем словно забыли.

Потянулись дни, такие долгие в одиночной камере. Когда же наконец судебные власти решат, как с ним поступить?

Лето прошло — он его, можно сказать, не видел. Наступила осень, и вот уже минуло полгода, как он тут сидел, — оказалось, что полгода в тюрьме — это гораздо дольше, чем полгода на воле. Каждый проведенный здесь день ощущался как отнятый от жизни, как бессмысленно потерянный. И ничего он не мог требовать — не было ему дано никаких прав...

Наконец его матери и дочери разрешили одно краткое свидание с ним — оно состоялось в присутствии самого петербургского военного губернатора. Обе сдерживали слезы. Маня выросла, похорошела, Елизавета Карловна горбилась больше прежнего. Они горячо надеялись, что все обойдется благополучно и Петра Лавровичапустят домой...

Наступила зима, в Ордонансгаузе затопили печи. Единственной отрадой были записки от матери, пересылаемые тайно вместе с чистым бельем.

В конце января нового, 1867 года его перевели из Ордонансгауза в полицейскую часть и разрешили родным и знакомым с ним видаться. Наконец-то! Неужто и впрямь

тучи над его головой развеялись и гроза прошла мимо?.. В полицейской части на третий день, вечером, ему объявили, что он может идти домой. Один, без провожатого. В ближайшие дни генерал-аудиторiat вынесет решение по его делу, а пока — ждите приговор дома.

Несколько дней свободы!

Он вернулся домой. С колотящимся сердцем поднялся вверх по лестнице.

Дома он впервые почувствовал, что эти стены, эти столь обжитые комнаты с окнами на Фурштатскую для него — приют временный. И в артиллерийскую академию вряд ли он когда-нибудь вернется. Вряд ли ему еще разрешат преподавать. Все для него переломилось. Жизнь начиналась как будто сначала, и это была уже другая жизнь.

И вот его вызвали, чтобы прочесть ему приговор.

Приговор выслушивал, как положено, — стоя, руки по швам. Выслушивал уже с нетерпением: скорее бы все стало ясно.

Итак, генерал-аудиторiat нашел, что полковник Лавров «явно обнаружил образ мыслей, который не только в занимаемой им должности преподавателя в Михайловской артиллерийской академии, но и вообще на государственной службе терпим быть не может, а посему генерал-аудиторiat полагает: полковника Лаврова, уволив от службы, без преимуществ, оною приобретенных, отослать на житье в одну из внутренних губерний по усмотрению министра внутренних дел, подчинив на месте жительства строгому надзору и воспретив въезд в столицы».

Царь наложил резолюцию: «Быть по сему».

Значит, отныне он, Лавров, должен жить где-то в глуши, причем приговор не определял срока наказания. Оно оказывалось бессрочным!

Если бы у него был выбор места жительства за пре-

делами обеих столиц, он предпочел бы Тверь — город на железной дороге между Петербургом и Москвой. О том, чтобы его отослали на жительство в Тверь, мать написала прошение министру внутренних дел.

Министр отклонил прошение, предписал: в Вологодскую губернию!

Это был едва ли не худший вариант из возможных. Но ничего не поделаешь. Надо собираться. Предстояло ехать в поезде до Твери, оттуда до Вологды на санях. Причем в сопровождении жандармов.

С ним вместе решила ехать мать. Дети оставались на попечении родственников.

Дочка, уже пятнадцатилетняя, прямо спросила его, надолго ли он уезжает. Не мог же он ей сказать, что надолго или даже, может быть, навсегда. Да он и не верил в то, что придется доживать свой век в Вологодской губернии. Твердо, чтобы она не падала духом, ответил дочери, что останется в ссылке не дольше трех лет!

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Вологде остановились на постоялом дворе. За окном мела метель, в печке потрескивали дрова, в сумерках зажгли свечи. Ночевать ему пришлось на полу: диван оказался для него коротким.

Утром к нему постучались и робко вошли, сняв шапки, трое молодых людей. Это были вологодские семинаристы — они узнали о приезде Лаврова, известного им по его статьям в журналах, и захотели с ним познакомиться. И, конечно, утешительно было услышать, что его статьи читаются не только в столице.

Днем он должен был явиться к вологодскому губернатору.

Губернатор Хоминский принял его вежливо, но равнодушно. Не считал возможным разрешить ему остаться в

Вологде. Предписал отправиться на жительство в уездный город Тотьму, то есть еще дальше — от Вологды по дороге около двухсот верст.

Значит, в Тотьму... Лавров нанял ямщика. Усадил старую мать в санный возок, и отправились они в путь по архангельскому тракту. Кругом тянулись бесконечные леса, занесенные снегом, и в глубокой тишине слышалось только посвистывание полозьев и легкий храп лошадей. Когда позади осталась треть пути, свернули с тракта на восток, по дороге на Тотьму.

Тотьма показалась издали — сначала колокольной собора, затем колокольнями остальных церквей. День его приезда оказался последним календарным днем зимы, но Сухона была еще покрыта льдом, по улицам мела поземка. Убогие темные избы, поставленные вразброс, были заметены снегом, ветер доносил запах свеженаколотых дров, дымок из труб. Несколько белых каменных домов виднелось только возле собора.

Лавров снял квартиру в просторной избе возле рынка и, как выяснилось потом, напротив уездного полицейского управления. В Вологде, в канцелярии губернатора, его уже предупредили, что письма и посылки он, как поднадзорный, будет получать через полицию, свои же письма должен сдавать незапечатанными туда же, а не прямо на почту.

Жили в Тотьме и другие ссыльные. Узнав о его приезде, пришли познакомиться.

Очень понравился Лаврову бывший студент Петровской земледельческой академии в Москве Николай Гернет, молодой человек, уже заметно полысевший со лба. Немец по рождению, он немецкого языка не знал, в Тотьме носил косоворотку и высокие русские сапоги или валенки. Жил он тут бедно, получая скудное пособие от казны. Поселился на берегу Сухоны. В его покосившейся избе-ке входная дверь открывалась с усилием и захлопывалась

подобно западне — жалкое было жплье, зато по карману. Он вовсе не падал духом и не ругал здешние края: в разговоре его любимой темой были природные богатства Вологодской губернии, лежащие втуне, уверял он, что здесь можно добывать железо, торф и прочее.

У Гернета часто оставался ночевать другой ссыльный, Александр Линев, тоже недоучившийся студент. Он работал механиком на солеваренном заводе в двух верстах от Тотьмы. Линева был грубоват в манерах, но очень располагал к себе откровенностью и прямоотой.

Лавров, разумеется, не получал теперь никакого жалованья, только пособие. Оставалась возможность зарабатывать литературным трудом. Перед его отъездом из Петербурга редакторы некоторых петербургских журналов выражали готовность печатать его философские и научные статьи — без обозначения фамилии автора, конечно. Он придумал себе прозрачный псевдоним *П. Миртов*: читатель, возможно, вспомнит про «мирты и лавры» и догадается об истинной фамилии автора.

Из Петербурга, по его просьбе, сюда, в Тотьму, переслали часть его домашней библиотеки — около тысячи томов, они могли пригодиться ему для работы.

Комната у него здесь была светлая, даже, весной стало казаться, чересчур: солнце светило на письменный стол целый день, мешая писать.

Он никогда не писал сразу набело. Обычно первый черновик откладывал в сторону и брался за другую статью, потом возвращался к черновику, перечитывал, обдумывал заново, что-то добавлял, подклеивал вставки, опять откладывал. Под конец всякий лист оказывался переделанным многократно, к каждой странице подклеены вставки, а к этим вставкам еще вставки. Почерк у него был, надо признать, весьма неразборчивый. Каждый раз приходилось отдавать кому-нибудь в переписку

закопченную статью, прежде чем послать ее в журнал.

Теперь он предложил переписку Гернету. Для молодого ссыльного это стало небольшим заработком, прибавкой к его скудному пособию.

С редакцией петербургской газеты «Неделя» Лаврова связывали добрые отношения — еще до отъезда в ссылку. Теперь он взялся написать для «Недели» серию «Исторических писем» — с размышлениями об истории — полезных и доступных для широкого круга читателей и, вместе с тем, не слишком политически конкретных — чтобы эти письма могли быть дозволены к печати.

Решив, что будет писать о самом главном, насущном, он высказывался так: «За грехи отцов мы ответственны лишь настолько, насколько продолжаем эти грехи и пользуемся ими, не стараясь исправить их последствий... Каждое поколение ответственно перед потомством за то лишь, что оно *могло* сделать и чего не сделало». И цивилизованное меньшинство, то есть интеллигенция, остается в долгу перед страждущим большинством, то есть перед народом, который в тяжких заботах о хлебе насущном не имеет возможности пользоваться благами цивилизации и унижен в бесправии своем. Наконец, человек, сознающий высокий смысл жизни, не может и не должен безвольно подчиняться обстоятельствам. «Если личность, сознающая условия прогресса, ждет сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса... Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожестве людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а *вы* сами, зрячие среди слепых, здоровые среди больных, что *вы* сделали, чтобы содействовать прогрессу?» Независимо от степени таланта и уровня знаний «всякий человек, критически мыслящий и решающийся воплотить свою мысль в жизнь, может быть деятелем прогресса».

Никто не вправе уклоняться от борьбы за лучшее будущее. «Отойти в сторону имеет право лишь тот, кто сознает себя бессильным,— писал Лавров.— Тот же, кто чувствует или воображает, что у него есть силы, не имеет нравственного права тратить их на мелкий, частный круг деятельности, когда есть какая-либо возможность расширить этот круг». Говорят, один в поле не воин? Но «человек, начинающий борьбу против общественных форм, должен только высказать свою мысль так, чтобы ее узнали: если она верна, то он не будет одинок».

Эти «Исторические письма» он посылал из Тотьмы, минуя полицию и почту, посылал с оказией. Всегда находился кто-нибудь, кто ехал из Тотьмы в Вологду, из Вологды в Петербург.

Здесь, в глухой Тотьме, в доме уездного лесного кондуктора Людвиг Моделевского, жила с прошлого года его родная сестра Анна Чаплицкая, ссыльная из Варшавы.

В Варшаве у нее оставался муж, чиновник кредитного общества. Но это был, несомненно, человек вовсе ей не близкий. Не только потому, что, в отличие от нее, остался непричастен к польскому восстанию в 1863 году. Когда она была арестована, муж и не пытался ничего предпринять для облегчения ее участи — можно сказать, умыл руки. Одиннадцать месяцев она провела в заключении, затем ее приговорили к ссылке на жительство в Сибирь. В ссылку она поехала через Петербург, там ей удалось задержаться и встретиться с князем Суворовым, бывшим петербургским генерал-губернатором и все еще влиятельным человеком при царском дворе. Суворова она, как видно, обворожила, и по его ходатайству Сибирь ей была заменена Вологодской губернией. То обстоятельство, что в Тотьме жил ее брат, конечно, в Петербурге пришлось утаить... Брат избавил ее от многих тягот ссылки, но все же трудно было ей привыкать и к холодному

климату, и к суровой природе, и, наконец, к тараканам: когда она видела их на кухне, у нее пропадал аппетит.

В свои двадцать восемь лет она была красива, энергична и явно испытывала неодолимое желание нравиться. Взгляд ее казался пронизывающим, глаза блестели. Темные волосы обычно были наполовину прикрыты черной кружевной косынкой, приколотой красными булавками. Она любила надевать белое платье. Вечерами у нее собиралось общество — друзья брата из уездных чиновников и местные ссыльные.

Лавров был очарован ею сразу. И так как по-русски она говорила бойко, но неправильно, переставляя ударения и даже коверкая слова, он взялся учить ее русскому языку и знакомить с русской литературой. Он проводил у нее почти все вечера и часто читал что-нибудь вслух.

Собственно, если бы не Анна, сидел бы он дома, она же не давала ему быть домоседом. Когда наступило нежаркое северное лето, кружок ее друзей устроил пикник на Дедовом острове, на Сухоне, и Лавров, конечно, принимал участие — в лодке брался за весла, и выгребал против течения, и помогал Анне сойти на берег, не замочив ног.

Вода в Сухоне была чистой и прозрачной, у берегов ее просвечивало каменисто-песчаное дно. И в самом городке почва была песчаная, так что после дождя на улицах быстро становилось сухо.

В тишине над Тотьмой часы на соборной колокольне били каждый час и тонко вызванивали каждые четверть часа...

Любовь к Анне удивительно скрасила его ссыльную жизнь — как единственный свет в окне.

И, кажется, таким же единственным светом в окне стала эта любовь для Анны — здесь, в Тотьме. Но взаимность их должна была оставаться тайной для окружающих. Открыто объявить ее своей женой он не мог. Фор-

мально была она замужем за Чаплицким, венчалась по католическому обряду, и развод для нее оказывался проблемой неразрешимой. Отношения приходилось ото всех скрывать. Это им плохо удавалось...

Летом 1868 года навестить отца и бабушку приезжала в Тотьму шестнадцатилетняя Маня, приезжала не одна. Ее попутницей была девушка постарше — сестра Линева, решившая навестить брата.

Должно быть, Маня не догадалась об отношении отца к Анне — к Анне Павловне, как ее называли на русский лад. А он не решился сказать об этом дочери...

Мог ли он скрывать и от матери свои отношения с Анной? Наверное, нет.

Еще в апреле Елизавета Карловна, втайне от сына, послала прошение в Петербург о его переводе из Тотьмы в другое место, лучше всего — поближе к Петербургу, например в Гатчину или в Лугу. Хотя сознавала, что «это было бы слишком хорошо!» — так она выражала свои горестные чувства в письме к Елене Андреевне Штакенштейндер.

Той же весной мать Анны Чаплицкой послала из Варшавы прошение на имя министра внутренних дел — о переводе дочери, по состоянию здоровья (это был единственный повод или предлог, который мог быть принят во внимание), из Вологодской губернии в Ригу. В июне Анна узнала, что министр внутренних дел разрешил ей перевестись... нет, не в Ригу, а почему-то в Пензенскую губернию. Но Пензенская губерния совсем ее не привлекала: как жить там одной и так далеко ото всех близких людей?

Она послала новое прошение — о том, чтобы разрешили все-таки не в Пензенскую губернию, а в Ригу.

Лавров сознавал: совершенно бесполезно просить, чтобы его тоже перевели в Ригу или вообще куда-либо за пределы Вологодской губернии. Но решил послать

письмо губернатору Хоминскому с просьбой разрешить ему переехать из Тотьмы в Вологду. Просьбу свою объяснял расстроенным здоровьем матери, во-первых, и своим пошатнувшимся здоровьем, во-вторых.

На сей раз губернатор разрешил!

Можно было трогаться с места. С Анной Лавров расставался, но оба верили, что это временно...

Он знал, что в Вологде ныне отбывает ссылку известный публицист Николай Васильевич Шелгунов, с ним был знаком еще в Петербурге. Написал ему письмо, обрисовал положение и попросил подыскать ему в Вологде квартиру. Шелгунов быстро ответил, что все в порядке и квартиру для собрата по несчастью он уже снял на той же Архангельской улице, где живет сам.

Лавров упаковал в ящики свои книги, собрал вещи и отправил их вперед с одним местным жителем, который ехал в Вологду и брался исполнить поручение.

Вместе с Елизаветой Карловной Лавров прощался с Тотьмой 29 августа. Был ясный и теплый день. Провожали их торжественно и трогательно — Анна, ее брат, Гернет, Линева и еще человек десять. Собрали в складчину по три рубля, наняли четыре тройки, купили шампанского. Тронулись около полудня. На тройках лошадей, запряженных в тарантасы, выехали по дороге из Тотьмы, все вместе катили до первой почтовой станции Коровинской.

На Коровинской станции весело провели четыре часа, выпили шампанского, и Лавров от души пожелал долгожданных перемен к лучшему — всем, кто оставался в Тотьме. Под конец, по знаку Линева и Гернета, его подхватили и вынесли на руках к тарантасу, качали его с криками «ура». Затем усадили вместе с Елизаветой Карловной в тарантас, сердечно распрощались.

Вот и снова Вологда.

Они прибыли прямо на квартиру, заняли верхний

этаж двухэтажного деревянного дома — пансексь от маленького, в три окна, домика, вернее сказать, избы, где жил Шелгунов.

Условия жизни тут, в губернском городе, были совершенно деревенскими. Не было ни водопровода, ни мостовых, ни фонарей.

Лаврову сразу пришлось купить мебель, разумеется, самую простую и дешевую. Часть комнаты, превращенной им в кабинет, он отгородил огромным книжным шкафом, а письменный стол поставил посреди кабинета, подальше от окна, чтобы солнечные лучи не падали ему на стол. Подходящие кресла достать не удалось. Все книги в шкафу не поместились, часть их осталась лежать на полу и на стульях.

Можно было снова приниматься за работу, писать задуманные статьи.

Шелгунов познакомил его с помощником правителя канцелярии губернатора Кедровским. Этот молодой человек — скромный, некрасивый, рябой — был почитателем Чернышевского и верным другом вологодских ссыльных. Им всем просто повезло, что такой человек служил в канцелярии губернатора. Кедровский сообщал им доверительно обо всех бумагах и распоряжениях, какие поступали в канцелярию и так или иначе их касались.

Уже в первые дни своего пребывания в Вологде Лавров узнал от Кедровского новость — о ней немедленно сообщил в письме Гернету: «Вчерашняя почта привезла Анне Павловне печальное известие нового отказа относительно ее перевода в Ригу. Это очень грустно». Одновременно он, конечно, сообщил об этом ей самой...

У Шелгунова он познакомился с недавним студентом петербургского Технологического института Сажиным, тоже ссыльным. Однажды спросил его, что он читает. И Сажин, между прочим, отметил его «Исторические

письма» — читал их в разных померах «Неделки», еще не зная, кто их автор, — они ему очень понравились. Лавров был смущен этим ответом и сказал:

— Ну, нашли на что указывать...

Но в душе он был рад, что его «Исторические письма» читаются.

И Сажин, и Кедровский советовали ему написать прошение о помиловании, но он категорически отказался. Почему он должен унижаться перед царским правительством?

Прежде, в Петербурге, по заведенному обычаю знакомые собирались у него дома по вторникам, в Вологде захотелось ему удобный этот обычай восстановить.

Вечером во вторник ставили самовар, Елизавета Карловна готовила чай. Приходил Шелгунов, самый горячий собеседник, — в разговоре он нервно пощипывал бородку и не мог спокойно усидеть на месте. Приходил Кедровский с женой, приходил Сажин. Появлялся правитель канцелярии Тишин, непосредственный начальник Кедровского. Выдавал он себя за человека либерального, но полного доверия не вызывал. Как-то пришел, сел на диван и стал допытываться, что теперь Лавров пишет. Лавров хотел отделаться общими фразами — не удалось. И тогда сказал:

— Я пишу историю мысли.

Собственно, он только еще приступал к этой работе — ему казалось, что она может стать главным трудом его жизни...

Но он не прожил в Вологде и двух недель, как его вызвал к себе губернатор и сурово предложил объясниться по поводу дела тотемского полицейского исправника. Исправник доносил, что Лаврова из Тотмы провожали на тройках без дозволения полиции. Лавров подтвердил: да, действительно, провожали. Губернатор заявил, что об

этом допосе он обязан известить министерство внутренних дел.

А ведь когда Лавров покидал Тотьму, ему и в голову не приходило, какая новая неприятность может свалиться на его голову из-за служебного рвения полицейского исправника — ничтожного человека, на которого, казалось, можно никакого внимания не обращать...

Еще через две недели Лавров узнал от Кедровского, что начальник вологодского жандармского управления подполковник Мерклин на основании того же доноса исправника завел целое дело. Он сообщил в Петербург о происшедшем в Тотьме «выражении сочувствия государственному преступнику Лаврову» со стороны местного населения и ссыльных, а также о преступных речах, которые якобы при сем произносились. Мерклин делал вывод: Лавров — человек для губернского города вредный. И вот из Петербурга пришло в ответ распоряжение выслать Лаврова из Вологды в один из уездных городов губернии — кроме Тотьмы.

Но среди уездных городов Вологодской губернии можно было найти еще большую дыру, чем Тотьма, с еще более суровым климатом, как Яренск или Усть-Сысольск. Неужели отправят туда?

В общем, стало ясно, что, выбираясь из Тотьмы, духом воспрянул он преждевременно. Только он успел немножко распрямить плечи, как его снова прижали. Нет, милости от правительства нечего было ожидать.

Все же губернатор снисходительно дозволил ему самому выбрать для жительства уездный город, где он будет жить под надзором. И Лавров выбрал городишко на дороге между Вологдой и Тотьмой — Кадников.

Известил он об этом Анну. Затем узнал, что по ее просьбе Людвик Модзелевский, ее брат, уже поехал в Кадников — подыскать там для него квартиру. Оставалось еще собрать вещи, упаковать заново книги — спаси-

бо, Шелгунов, Кедровский и Сажин помогли. Кедровский обещал ему содействовать в нелегальной пересылке писем из Кадникова в Петербург и обратно.

Всего тяжелее было Елизавете Карловне. Сколько ей, бедной, приходилось на старости лет с ним мотаться! И опять пришлось трогаться с места, ехать вместе с сыном в Кадников. К счастью, дорога была хорошая: осень стояла сухая.

Выехали в Кадников 3 октября и прибыли в тот же день. Людвик Модзелевский уже снял для них квартиру в одноэтажном деревянном доме на Дворянской улице.

Улиц в Кадникове было всего две. Они перекрещивались на единственной площади — Соборной. Дворянская была вымощена досками, колеса катились по доскам, как по клавишам. Дважды в день мимо дома проносились почтовые тройки с бубенцами: через Кадников проходил архангельский тракт.

Людей на улицах не было ни слышно, ни видно, разве что у кабаков да на Соборной площади в торговый день. В конце ноября Лавров написал в Тотьму Гернету: «Я почти никого не вижу и из дому не выхожу. С отъездом Людвика Павловича так и не был на улице».

Он работал. Близки были к завершению «Исторические письма». Он не смирялся со своей судьбой и вспоминал слова Герцена в книге «С того берега»: «Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться,—безнравственно». Вослед Герцену он написал: «Подчиниться против убеждения — это унижение достоинства личности».

Что же делать? Бежать из ссылки?.. Мать он в любом случае не мог бы взять с собой, но должен же он был о ней позаботиться... В январе 1869 года ей исполнилось восемьдесят лет. Она уже не могла ходить без палки, один глаз у нее совсем не видел. Но и сам Петр Лаврович не мог бежать из ссылки без посторонней помощи из-за

сильной близорукости. Он страшно тосковал в Кадникове и признавался в письме к Елене Андреевне Штакеншнейдер: «Так скверно еще никогда не было».

Елизавете Карловне на ее прошлогоднее прошение никакого ответа не пришло.

Зимой в Вологду через Кадников проехала Анна Чаплинская. Такой короткой была радость этой встречи... Анна сказала ему, что покинула Тотьму совсем. Решила добиваться у губернатора Хоминского разрешения на свободный — без сопровождения, без конвоя — проезд в Пензенскую губернию. На самом деле она решила отправиться тайно совсем в другую сторону: сначала, возможно, к матери в Варшаву, а затем — через границу, в Париж. Она надеялась, что ему тоже удастся бежать из ссылки и они встретятся в Париже. Она уговаривала его бежать!

Когда она уже была в Вологде, он тайно ездил к ней. Был в Кадникове ямщик Кузьма, он — за плату, разумеется, — увозил Лаврова в вечерних сумерках, а возвращался в Кадников на рассвете, когда все жители еще спали. В дорогу Лавров надевал медвежью шубу, мороз был ему нипочем. Встречался он с Анной на квартире Кедровских — они жили в конце Архангельской улицы, на краю города. Сани заезжали во двор, здесь Кузьма распрягал лошадей, а Лавров снесил подняться по темной лесенке на второй этаж...

Так четыре раза приезжал он в Вологду. Последний раз — когда узнал, что Анне разрешен свободный проезд из Вологды к новому месту ссылки. Приехал проститься. Ему удалось — опять же через Кедровского — получить официальное разрешение прибыть в Вологду «для советов с врачами о болезни». Он простился с Анной, но это не было прощанием навсегда. Они оба верили, что их пути снова сойдутся в скором будущем.

В Петербурге дочь его вышла замуж. Ей было семнадцать лет. О предстоящем ее замужестве отца заблаговременно известили, и он ничего не имел против. Муж ее, Михаил Негрескул, сын екатеринославского помещика, учился одно время в петербургской Медико-хирургической академии, теперь занимался литературным трудом.

Известили его и о том, что в феврале 1869 года молодая чета поедет в свадебное путешествие за границу. Перед их отъездом, в письме, отправленном с оказией, Лавров попросил зятя встретиться, если это окажется возможным, с Александром Ивановичем Герценом. Пусть Негрескул спросит Герцена: как, по его мнению, следует Лаврову поступить теперь? И что его ждет, если он сумеет бежать из ссылки и приедет в Париж?

Собственно, иного выхода Лавров сейчас для себя и не видел. Вместе с тем ему никак не хотелось переходить на положение эмигранта, ведь это означало лишиться возможности вернуться на родину... И надумал он обратиться с письмом к князю Суворову — тому самому, что в свое время помог Анне Чанлицкой избежать Сибири. Написал Суворову так:

«Обращаясь к Вашей Светлости с просьбой о ходатайстве, я знаю очень хорошо, что путь, избранный мною... необычный, но и просьба, с которой обращаюсь, настолько необычна, что я не имею ни малейшей надежды достичь ее исполнения обычным путем, и единственной возможностью представляется мне — найти человека, который решился бы лично ходатайствовать о моем деле у Его Императорского Величества.

...Я ни минуты не обманываю себя надеждою, чтобы, даже в случае моего скорого возвращения из ссылки, мне когда-либо позволили взойти на кафедру; следовательно, деятельность преподавателя для меня закрыта навсегда.

...Остается деятельность научно-кабинетная. В ней я

сознаю, что могу еще сделать кое-что *свое* и принести пользу русскому слову, русской мысли.

...Хотя я перевез до 1000 томов своей библиотеки в Тотьму, потом в Вологду, а теперь в Кадников, но, несмотря на все мои старания, я скоро заметил, что мои работы по истории наук и по истории мысли вообще здесь невозможны.

...Высочайшей власти не желательно, чтобы я находился в столице, центре всей деятельности в России.

...Нельзя ли дать мне возможность работать в скромной сфере пауки, не возвращая меня в столицу? Мне кажется, что средство есть! дозволить мне жить за границей.

За несколько дней до моего ареста, Ваша Светлость, я имел возможность эмигрировать, и меня предупреждали, что я буду арестован. Но я не хотел, как не хочу и теперь, потому что разрывать совсем связи с отечеством очень тяжело, и только крайность может принудить к тому человека.

...Перевод в другую губернию, о чем, кажется, хлопчет моя мать, был бы для меня, конечно, важен в отношении здоровья, но для работ моих он совершенно не имеет значения, а мне осталась в будущем только жизнь кабинетная, работа мысли. Лишь эта работа, а не мое здоровье, может иметь какую-либо цену для моей родины и для правительства. Столица мне закрыта, остается одна возможность,— и поэтому обращаюсь к Вашей Светлости с этим письмом».

Письмо было отослано 10 марта, и почти одновременно он отправил в Петербург, в адрес редакции «Недели», последнее из серии «Исторических писем». Несведущий читатель не мог бы догадаться, что со страниц газеты звучит голос человека, сосланного в лесную глушь. Этот голос провозглашал: «...история не кончена. Она совершается около нас и будет совершаться поколениями, рас-

тущими и еще не родившимися. Настоящее нельзя оторвать от миновавшего, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значение, если бы оно не было неразрывно связано с настоящим, если б один великий процесс не охватывал историю в ее целом». Как в прошлом, так и в настоящем «вне истины и справедливости прогресса никогда не существовало».

Он взывал к истине и требовал справедливости — устно, письменно и печатно. И часто казалось, что его не слышит никто.

В томительные дни ссылки в Кадникове он составил и записал свои двенадцать заповедей:

- «1. Храни в себе человеческое достоинство.
2. Развивай в себе телесные и душевные способности для стремления к истине и справедливости.
3. Стремление к истине возлагает на тебя обязанность безусловной критики, борьбы с призраками и с идолами.
4. Изучай природу и владей ею.
5. Будь искренен в чувствах и в мыслях.
6. Путем критики иди к твердому убеждению.
7. Воплощай свое убеждение в дело и жертвуй для него всеми благами жизни.
8. Будь последователен в мысли и жизни.
9. Стремление к справедливости возлагает на тебя обязанность не только воздавать каждому по достоинству, но и охранять чужое достоинство так же строго, как собственное.
10. Развивай в людях сознание человеческого достоинства, стремление к истине и справедливости, критику мысли, искренность чувства, решимость жить согласно убеждению.
11. Покоряйся необходимости, не падая духом; оценивай возможное, не увлекаясь чувством; стремись к

наибольшему возможному благу, когда не можешь достичь лучшего.

12. Содействуй сознательно прогрессу человечества».

Эти заповеди он составил для своих детей и для себя. Он не желал плыть по течению. И нужны ему были не просто житейские правила, но — заповеди, ибо дело его было не просто делом, но — призванием.

В Кадникове он был тогда единственным ссылкой, и двум жандармам поручено было за ним наблюдать. Правда, они ему особенно не досаждали. Вечерами, до поздней ночи, в его занавешенном окне горел свет, и его силуэт можно было видеть в окне, когда он вставал из-за письменного стола и ходил из угла в угол. Наблюдавшие могли не беспокоиться: поднадзорный сидит дома при свечах.

Лишь тайная переписка связывала его с кругом друзей. Из писем он узнал, что князь Суворов ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы ему как-то помочь, — не стоило на него рассчитывать. Узнал также, что в середине мая дочь его с мужем вернулась из-за границы домой, в Петербург, а месяцем позже из Вологды бежал в неизвестном направлении Сажин.

После побега Сажина надзор жандармов за Лавровым был заметно усилен.

В июле приехали навестить его в Кадникове сын Михаил, уже двадцатилетний, и муж дочери Михаил Негрескул — худой, с черными кудрями, неправильными чертами лица и внимательными темно-серыми глазами. Очень славный оказался у него зять.

Негрескул рассказал захватывающие новости.

Он встретился в Ницце с Герценом, и тот, как выяснилось, читал, и притом с большим интересом, «Исторические письма» на страницах «Недели». Герцен ждет приезда Лаврова в Париж и обещает сразу ввести его «в сношения с лицами родственных заграничных

партий», обещает устроить все: «Пускай лишь приедет!»

А что слышно о Сажине? Сажин, оказывается, уже далеко: прислал телеграмму из Гамбурга о том, что отплывает на пароходе в Нью-Йорк...

По как же бежать из ссылки?

Для выезда за границу необходим заграничный паспорт, но где его достать?

Препятствием оказывался не только надзор со стороны жандармов. Препятствием была полная неопытность и его, и сына, и зятя в подобных предприятиях, которые требовали практической хватки. Решили, что к зиме Негрескул найдет Петру Лавровичу подходящего провожатого и с первым санным путем можно будет совершить побег. Все-таки зимний путь надежнее пути в другое время года, когда дожди или распутица могут сделать дорогу непроезжей... Потом отдельно вывезут Елизавету Карловну. Она не приговорена к ссылке, и можно надеяться, что здесь ее не будут насильно задерживать. Одновременно можно будет вывезти из Кадникова его библиотеку. Так что остается набраться терпения и ждать.

Негрескул еще рассказал о многом.

Весною вместе с женой жил он на солнечном берегу Средиземного моря — недалеко от Ниццы, в Ментоне. За два месяца Ментона им наскучила, потянуло домой. Поехали через Женеву, потому что в этом городе живет знаменитый Бакунин, и Негрескул хотел с ним познакомиться. Этот русский революционер, известный всей Европе, поселился в квартире на четвертом этаже, под крышей, а ведь он страдает одышкой и нелегко ему подниматься по лестнице. В его квартире две комнаты: большую занимает типография, в меньшей, вечно неубранной, живет он сам. Оказался он человеком обаятельным, в общении — простым. Когда он в разговоре ударял кулаком по столу и повторял: «Камня на камне не

оставить», — это вовсе не производило устрашающего впечатления.

Но вот в Женеве явился к молодоженам в отель щуплый, но чрезвычайно напористый молодой человек по имени Сергей Нечаев. Он услышал о них от Бакунина и захотел привлечь Негрескула в свою революционную организацию. Но что это за организация — неведомо никому. Нечаев стремится уверить всех, что за его плечами стоит некий таинственный и могущественный комитет, и уверил в этом Бакунина.

Негрескул отнесся к Нечаеву с недоверием и по возвращении в Петербург выяснил в студенческих кружках: вся организация Нечаева — это кучка его сторонников среди студентов, главным образом в Москве.

Маня просто боится Нечаева. Холодный изучающий взгляд этого человека наводил на нее страх. У него узкие, глубоко запавшие глаза, жиденькая юношеская бородка, усики по углам рта. Когда в Женеве он пришел к ним в первый раз, то сел на стул у окна, спиной к свету, явно для того, чтобы трудней было разглядеть выражение его лица, а на другой день пришел закутанный в плед до самых глаз. При первом посещении попросил дать ему «до завтра» пальто, сюртук и плед, но не вернул и по сей день.

В Женеве Нечаев утверждал, что в России арестовано и сослано пятьсот студентов. На самом деле арестовано около ста. Он заявлял, что, чем хуже арестованным студентам, тем лучше: это якобы приближает революцию. В Женеве он рассказывал, будто бежал из Петропавловской крепости, а на самом деле в России он вовсе не был арестован... Может ли вызывать доверие этот циник, беззастенчиво лгущий на каждом шагу?

Неужели подобные люди возьмут в свои руки дело революции? Этого просто нельзя допустить!

Когда сын и зять уехали, Петр Лаврович отчаянно

затосковал снова. У него теперь случались приступы мигрени, он становился крайне раздражительным.

В ноябре он узнал от Кедровского, что министерство внутренних дел объявило — разумеется, негласно — розыск бежавшей из ссылки Чаплицкой, и в Вологде губернатор подписал соответствующий секретный циркуляр о ее розыске в пределах губернии, хотя, конечно, прекрасно понимал, что ее давно уже и след простыл. Эта новость могла означать одно: февральский побег Анны оказался удачным.

Невыносима была мысль, что ее могут арестовать.

В присланной из Петербурга новой книжке «Отечественных записок» прочел он статью молодого публициста Михайловского «Что такое прогресс?». Статья ему понравилась, но одно утверждение автора вызвало протест: Михайловский отождествлял понятия справедливости и юридического закона. Ведь это прямо-таки наглядно опровергалось произволом царского суда!

Лавров написал ответную статью, где, между прочим, задавал вопрос: «Неужели в наше время развитый мыслитель может отождествлять справедливость с исполнением буквы закона?» И дальше: «Идеал справедливости всегда заключался в том, чтобы обращаться с другими по их достоинству...» Каждому по достоинству — вот в чем справедливость!

Мысль эту он продолжал развивать в другой статье — «Современные учения о нравственности и ее история». Если в нравственном развитии мы видим достоинство человека, то обязаны уважать достоинство других так же, как собственное: «Оскорбление чужого достоинства есть оскорбление *нашего* достоинства». Наконец: «Безнравственно оставаться безучастным зрителем несправедливости, когда борьба за справедливость возможна».

Обе последних статьи он отправил в «Отечественные записки». Его известили, что статьи приняты и будут напечатаны. Кроме того, можно попытаться выпустить его «Исторические письма» в Петербурге отдельным изданием, также под псевдонимом *П. Миртов*.

Он воодушевился и сразу принялся перерабатывать их для этого издания. Обновленный рукописный текст пересылал в Вологду, там за его переписку взялись трое семинаристов — те самые юноши, что приходили к нему знакомиться в день его прибытия в ссылку...

В газетах появилось ужасное сообщение! в Москве, в пруду парка Петровской академии, был найден труп с простреленной головой, на его шее был замотан красный шарф, к концам которого были привязаны два кирпича. После этого, по обвинению в убийстве, полиция арестовала московских друзей Сергея Нечаева. Сам же Нечаев, вернувшийся из-за границы еще в сентябре, снова скрылся за границу. И вот 4 декабря в Петербурге был арестован — и, как это ни поразительно, по тому же делу — Михаил Негрескул! Тот, кто разоблачал Нечаева перед его приверженцами! Но почему, почему?..

Можно было себе представить, каким ударом оказался арест мужа для Мани, тем более, что она ждала ребенка... Ну и, конечно, устройство побега Петра Лавровича из ссылки откладывалось на неопределенный срок.

В январе 1870 года Маня благополучно родила сына. А муж ее сидел в крепости, и неизвестно было, что его ждет...

В том же месяце «Санкт-Петербургские ведомости» кратко сообщили: в Париже умер Александр Иванович Герцен. Лавров был глубоко опечален; он так мечтал о встрече с Герценом, и вот теперь ей уже не суждено состояться.

Вечером 13 февраля с крыльца постучались, он вышел в переднюю, открыл дверь. Увидел высокого молодого человека в военной форме, в фуражке, в очках, с небольшими светлыми усами, и холодно спросил, что ему нужно.

Молодой человек сказал, что приехал провести его по поручению его дочери. Лавров обрадовался, взволновался, пригласил в комнату.

Но едва они сели, как в дверь постучали снова — явились двое местных жителей — просто так, в гости. Приезжий встал и представился им как отставной штабс-капитан Скирмунт. Он здесь проездом, остановился на постоялом дворе и вот решил зайти к господину Лаврову — познакомиться.

У гостей разгорелось любопытство, и отставной штабс-капитан стал непринужденно рассказывать о Петербурге, о загранице, где он недавно побывал. Лавров досадовал на любопытствующих гостей (поскорей бы ушли!), но старался скрыть свое нетерпение. Наконец они раскланялись, выразили горячее желание, чтобы господин Скирмунт их тоже посетил. Он пообещал зайти, но не теперь, на обратном пути... Гости ушли, и тогда он сказал:

— Я не Скирмунт, я Герман Лопатин.

Это имя Лаврову было известно: Негрескул называл Лопатина в числе своих друзей. И сразу этот молодой человек с проницательным взглядом вызвал доверие и симпатию.

— Мне поручено помочь вам бежать, увезти вас отсюда в Петербург. Вы готовы? Когда можете собраться?

— Согласен ехать хоть сию минуту, — ответил Лавров.

Нет, конечно, сразу, сию минуту, уехать было невозможно. В городке заведено было всего три почтовых тройки, нанять одну из них — значило себя выдать: Лаврова знали тут хорошо. Лошадей для проезжающих содержал также один из уездных чиновников, к нему Лавров обращался недели две назад, спрашивал, не даст ли

лошадей, если будет такая надобность, но тот уклонился от ответа — струсил, должно быть.

Так что в Кадникове нанимать лошадей нечего было и думать. Решили так: Лопатин завтра вернется в Вологду, там наймет тройку, и тогда послезавтра к вечеру, когда стемнеет, можно будет отправиться в путь.

Да, еще непременно нужно Лопатину в Вологде зайти к семинаристам, забрать у них последние переписанные рукописи Лаврова и расплатиться за работу...

Было уже поздно, когда Лопатин ушел ночевать на постоялый двор. Утром он укатил на почтовой тройке в Вологду.

В этот день Петр Лаврович и Елизавета Карловна, скрывая волнение, говорили знакомым и соседям, что всю ближайшую неделю (а наступала масленица) он намерен усиленно заниматься за письменным столом, поэтому просит его не беспокоить. И на блины просит также не приглашать.

На следующее утро Лопатин приехал на тройке, напьютой в Вологде. Весь день провел в своем номере на постоялом дворе, сказался больным и никуда не выходил. К Лаврову по его просьбе пришел цирюльник, подстриг бороду, отросшую за три года ссылки. Рыжеватая борода его заметно поседела, отчего казалась желтой. Он расплатился и сказал цирюльнику, чтобы на масленице не приходил. И молочнице Елизавета Карловна сказала, что в ближайшие дни приходить не надо. Сегодня вечером, слава богу, никаких гостей не ожидалось, у местного исправника в доме устраивалась карточная игра, и все уездное «общество» собиралось там.

Елизавете Карловне предстояло в ближайшие несколько дней не гасить вечерами свет в кабинете; пусть жандармы, прогуливаясь привычно под окнами, думают, что Лавров сидит и пишет. А пройдет несколько дней, беглец будет уже далеко, и тогда она должна будет

заявить властям об исчезновении сына. Можно было не сомневаться, что она все так и сделает...

Как только стемнело, послышался условленный стук в дверь — пришел Лопатин. Петр Лаврович был уже готов. Они вместе вышли. Улица была пустынная, тускло светились огоньки в окошках, под ногами поскрипывал снег. Лавров не пошел вместе с Лопатиным на постоянный двор, остался ждать на улице.

Вот уже тройка выехала, ямщик придержал лошадей, и Лавров тоже сел в сани.

Городок уже остался позади, когда Лопатин спохватился:

— Петр Лаврович! А пирожки!

— Что такое?

— Пирожки забыли!

— Ну бог с ними!

— Да нет, как же, Елизавета Карловна огорчится. Да и есть нечего будет, ведь в Вологде не остановимся.

— Что вы, Герман Александрович! — запротестовал Лавров. — Стоит ли из-за таких пустяков задерживаться...

Но Лопатин выскочил из саней, побежал обратно и скоро вернулся, неся в руках сверток с пирожками.

Ночью прибыли в Вологду, там все-таки пришлось остановиться на постоялом дворе.

Утром Лопатин подвязал Петру Лавровичу щеку платком и обложил ватой, что скрывало бороду и сильно изменяло наружность. Лавров должен был при посторонних делать вид, что у него болят зубы и он не может говорить, может только мычать.

Наняли почтовую тройку до Ярославля. Лавров прятал лицо в воротник медвежьей шубы.

Снова долгая снежная дорога через леса...

За Вологдой, в Грязовце, когда перепрягали лошадей на постоялом дворе, они увидели сани, в которых сидел — надо же такому случиться! — жандармский под-

полковник Мерклин, знавший Лаврова в лицо. К счастью, жандарм его не заметил. А может быть — не узнал. Проехали мимо...

За Ярославлем покатали на санях до Сергиева посада, где была конечная станция железной дороги, дорога эта строилась от Москвы на Ярославль.

Дальше ехали в вагоне поезда. Ехали до Петербурга без приключений, если не считать того, что в Москве, в гостинице, Лавров забыл свои часы.

Гермапу Лопатину было двадцать пять лет, и он уже провел несколько месяцев в Петропавловской крепости, арестованный за участие в нелегальном студенческом кружке. Позднее его выслали в Ставрополь. Там внезапно снова арестовали. Оказалось, что при обыске у его друга Михаила Негрескула было найдено его, Лопатина, весьма откровенное и неосторожное письмо. В Ставрополе под арестом его содержали без особой строгости, и в первых числах января — то есть совсем недавно — ему удалось бежать. Он прибыл в Петербург и встретился с Автономом Негрескулом, старшим братом Михаила. Встретился с Марией Петровной Негрескул, то есть с Маней. Узнал, что Лавров страшно рвется из ссылки за границу. Имея на руках документы на имя отставного штабс-капитана, Лопатин вызвался тотчас отправиться в Кадников, чтобы успокоить Лаврова и обнадежить скорым отъездом, — так он сказал Мане. На деле же решил увезти его сразу, не откладывая.

Заграничный паспорт пообещал дать Лопатину петербургский доктор Веймар. Доктор выпишет паспорт на свое имя и отдаст Лопатину — они друзья. Но Лопатин готов на время уступить эту нужную бумагу Лаврову. С паспортом Веймара Лавров проедет в Париж, оттуда перешлет его в Петербург. И тогда уже выедет за границу Лопатин, с тем же паспортом. Это решено.

Лавров с беспокойством спрашивал: а что грозит его зятю Михаилу Негрескулу? Как минувшей осенью сложились его отношения с Нечаевым? Что вообще произошло?

Лопатин все это знал и смог рассказать. Конечно, ничего общего между Негрескулом и Нечаевым нет и не было. Ведет себя Нечаев позорно. Вот, например, узнал он, вернувшись из Женевы в Москву, что приятель Негрескула в Петербурге студент Колачевский — сын богатых родителей. Узнал — и приказал одному из своих приверженцев обманом и угрозами заставить Колачевского подписать вексель на шесть тысяч рублей. Причем на векселе была заранее поставлена неверная дата, выходило, что вексель подписан Колачевским уже давно, так что не смог бы он этот вексель опротестовать. Понимаете, какие это проходимцы? Вексель, вырванный у Колачевского мошенническим способом, был передан Нечаеву. Но тут начались аресты — после убийства в парке Петровской академии. Нечаев бежал. Он не успел или не решился предъявить вексель к оплате... И, между прочим, в сентябре он вернул Негрескулу взятые в Женеве «до завтра» пальто и плед, а сюртук его все же оставил у себя. Зачем? Чтобы иметь возможность шантажировать своего недруга, «держатъ его в руках», чтобы не мог Негрескул отрицать всякую связь между ними — вот для чего!

А кого там убили в Москве?

Убили одного студента. Он сначала сблизился с Нечаевым, а затем заявил, что не намерен беспрекословно ему подчиняться. Нечаев уверил своих приверженцев, что это предатель, и вчетвером они совершили убийство... Теперь все арестованы, кроме самого Нечаева. Он опять за границей и, наверно, опять расписывает перед Бакуниным свои мнимые подвиги.

Но что же такое Нечаев?

Ему немногим более двадцати, но он, как говорится, молодой, да ранний. До того, как он стал провозглашать «народную расправу», он уже был учителем в Сергиевском приходском училище в Петербурге. Преподавал — как думаете, что? — закон божий! Так что лицемерие для него дело привычное. Он действительно ненавидит царское самодержавие, но для него цель оправдывает средства. А впрочем, черт его знает, что у него на уме! Он теперь носит синие очки — уже и в глаза ему не заглядывать...

В Петербурге шел снег. У вокзала наняли извозчика и поехали в самый центр города, на Конногвардейский бульвар, на квартиру офицера Лобова, ученика Лаврова по артиллерийской академии.

Здесь, на этой квартире, Петр Лаврович смог тайно встретиться с дочерью, старшим сыном и Еленой Андреевной Штакеншнейдер. И сколько предосторожностей пришлось ему соблюсти! Даже нельзя было самому поехать на 14-ю линию Васильевского острова, к дочери, хотя бы ради того, чтобы взглянуть на внука — малышу был всего месяц от роду. За квартирой дочери уже могли следить. Его побег из вологодской ссылки уже мог быть обнаружен...

А ведь вышло так, что он провел в ссылке ровно три года и, значит, не бросил слова на ветер, заверив дочку, что пробудет там не более трех лет.

Михаил Негрескул все еще сидел в крепости. Свиданий с женой ему официально не разрешалось, но его мать приехала из Екатеринослава и устроила эти свидания через служащего в крепости плац-майора — по двадцать пять рублей за каждую встречу. За взятку можно было устроить даже свидание в крепости! Маня поняла из разговоров с мужем, что серьезных обвинений против

него нет, арестовали его просто как одного из знакомых Нечаева, но при обыске нашли что-то компрометирующее — какую-то вещь... Все же можно было надеяться, что его отпустят. Когда будет суд — неизвестно, следствие продолжается...

Лавров сознавал, что задерживаться в Петербурге ему никак нельзя. Но еще нужно было получить заграничный паспорт — доктор Веймар его еще не успел выписать. Препятствие оказалось непредвиденным — масленица! По случаю масленицы в Петербурге были закрыты все присутственные места. Лавров прибыл в четверг, а паспорт можно было получить только на следующей неделе. Не раньше понедельника, то есть первого дня великого поста.

Но оставаться в Петербурге с каждым днем становилось опаснее. Лобов предложил отвезти его в имение приятелей в Лужском уезде, в пятнадцати верстах от железнодорожной станции в Луге. За приятелей Лобов ручался — не выдадут.

Облачился Лавров в свою медвежью шубу, спрятал лицо в воротник, и поехали на извозчике на Варшавский вокзал. Отсюда на дачном поезде — в Лугу. Там, дожидаясь лошадей, поужинали в трактире, где шел кутеж по случаю масленицы.

В имении же, куда прибыли Лавров и его провожатый, по той же причине было множество гостей, приглашенных на блины. К счастью, там никто не знал Лаврова в лицо, и он был представлен гостям под вымышленной фамилией. Впервые пришлось ему разыгрывать роль, откликаться не на свое имя-отчество...

Было условлено, что провожать его до прусской границы будет Автоном Негрескул. В понедельник, в конце дня, друзья Лобова должны привезти беглеца на станцию в Луге и купить билет. Подойдет поезд, из вагона выйдет Автоном, уже имея при себе паспорт Вей-

мара. Вместе с Лавровым вернется в вагон, вдвоем поедут дальше...

Итак, в понедельник привезли Лаврова на станцию, купили ему билет. Подошел ожидаемый поезд, но Автоном из Петербурга не приехал. Это означало, вероятнее всего, что паспорта еще нет. Трудно получить паспорт в понедельник. Не надо забывать, что понедельник — тяжелый день, особенно после масленицы, особенно для канцелярских крыс в присутственных местах.

Автоном приехал во вторник и привез — наконец-то! — паспорт. В ночь на среду выехали из имения вдвоем, на легких саниах, рассчитывая поспеть к утреннему поезду, но помешала метель — опоздали. Снова пришлось вернуться, так как на станции ожидать следующего поезда было рискованно: могли быть уже посланы всюду по железным дорогам телеграммы о его бегстве... Они приехали на станцию к следующему поезду. Что и говорить, переволновались. И вот наконец сели в вагон. Поезд тронулся...

Всю дорогу Лавров лежал в купе, лицом к стенке, притворяясь больным. Слушал бесконечный перестук колес. Молчаливый Автоном приносил ему еду из дорожных буфетов.

Уже недалеко от границы, когда поезд остановился и Автоном побежал в станционный буфет, Петр Лаврович подумал, что нечего больше опасаться и вообще — сколько можно лежать... Он встал, накинул шубу, прошел к выходу. Высунулся из двери вагона, вдохнул морозный воздух и спросил у какого-то железнодорожника, должно быть кондуктора, который час (ведь ехал без часов — свои забыл в Москве). В это время Автоном поспешно подходил к вагону. Рывком поднявшись по ступенькам, он втолкнул Петра Лавровича в вагон, и тот увидел, что Автоном смотрит на него с ужасом. В чем дело, что случилось?

Автоном, уже в купе, спросил, сдвинув брови:
— Вы заметили, к кому обратились с вопросом?
— К кондуктору, кажется...

— Это не кондуктор, это жандарм!

А он-то, по близорукости, не разглядел...

И вот уже пограничная станция Вержболово. Паспорт у него в порядке, придрататься не к чему.

Автоном Негрескул с перрона помахал ему рукой на прощанье...

На другой день Лавров послал дочери телеграмму из Кенигсберга, — разумеется, условный текст. Чтобы она не беспокоилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Казалось бы, в Париже, в огромном городе, где никому до них не было дела, ничто не мешало ему с Анной соединиться. Но в Париже, как и в Тотьме, они должны были жить врозь. В глазах любого домовладельца они оставались невенчаной парой, которую неприлично пускать на жительство в одну квартиру. Доказательством того, что они муж и жена, могла быть только общая фамилия, подтвержденная документами. Черт бы побрал эту буржуазную мораль! Кроме того, в среде довольно многочисленных в Париже соотечественников Анны встречались, кажется, большие католики, чем папа римский, и в их присутствии Анна стеснялась говорить ему «ты». Что поделаешь, приходилось жить врозь, но он надеялся, что на одной квартире с Анной будет жить его мать, как только ей удастся приехать.

Не застал он в живых Герцена, но некоторых его знакомых в Париже повстречал.

Это был, во-первых, Григорий Николаевич Вырубов, молодой философ. Из России царское правительство никогда его не изгоняло, никогда он не имел столкновений

с российской полицией, мог бы жить в Петербурге или в Москве, но предпочитал Париж. Принимал близкое участие в издании французского философского журнала и, кажется, уже забывал, что он русский. Был он состоятельным человеком, но семьи не имел. Жил в фешенебельном квартале на маленькой улице Изыщных Искусств (rue des Beaux Arts), — оба конца ее были перегорожены чугунными воротами, на ночь их запирали, — не во всякое время можно было на эту улочку попасть.

Он казался самоуверенным. Это словно было написано на его вытянутом лице...

Гораздо более располагал к себе другой знакомый Герцена, профессор Поль Брока. Это был ученый-антрополог и, кроме того, известный врач — как врача Герцен приглашал его к своей старшей дочери в те дни, когда она была в тяжелом нервном состоянии. Брока отличался огромным трудолюбием — таких Лавров особенно уважал. Брока основал в Париже Антропологическое общество. Он не раз возглашал:

— Часы говорят не «тик-так», а «fas, fas», то есть «работай, делай», — это единственное слово, которое обязательно всем и каждому знать по-латыни!

Это запоминалось, это охотно повторяли его почитатели.

В апреле 1870 года Лавров был принят в действительные члены парижского Антропологического общества как знаток естественной истории, рекомендованный профессором Брока.

Наступил май. Лавров надеялся скоро увидеть мать и тревожился, думая о том, как она перенесет дальнюю дорогу.

Но вот он получил телеграмму из Берлина — от сына Михаила, который Елизавету Карловну сопровождал. На следующий день встретил их на вокзале.

Елизавета Карловна была очень слаба. После бегства

сына из Кадникова у нее хватило самообладания и мужества держать себя так, как надо, но это ей дорого стоило...

Она рассказала, что, после того как с ним рассталась, выполняла все его инструкции, в сумерках зажигала в кабинете свечи и не спала до двух или трех часов ночи — тогда лишь решалась потушить свет. Днем она, как обычно, занималась хозяйством. На третье утро после его побега она крепко спала, часов в восемь проснулась — увидела в комнате исправника и двух жандармов. Как только открыла глаза, они грозно спросили: «Где ваш сын?» Она сумела не растеряться, ответила: «Как где? У себя». И добавила: «Если его нет, значит он вышел. Мой сын не дает мне отчета, куда он уходит». Как ее потом ни допрашивали, ничего не добились.

А потом приехал за ней в Кадников Михаил, внук, и увез ее в Петербург. В Париж удалось выехать не сразу: надо было еще доставать у германского посла в Петербурге пропуск для проезда через Германию, потому что отношения между Германией и Францией резко ухудшились — можно ожидать войны...

Елизавета Карловна была больна, измучена, но все испытания для нее остались позади, она была счастлива тем, что приехала к сыну.

В Париже она не прожила и двух недель. 1 июня тихо скончалась.

Петр Лаврович перенес ее смерть тяжело. Он остро ощутил, сколь многим ей обязан. Обязан воспитанием, нравственными устоями, всем, что от нее унаследовал как сын: характером, выдержкой, волей.

После похорон матери последовали новые хлопоты. Анна не захотела оставаться в квартире, нанятой для нее и для Елизаветы Карловны, пришлось искать другую. Он любил Анну, называл ее «*petite Majesté*» («маленькое Величество») и в бытовых вопросах всецело ей уступал.

Она по-прежнему жила отдельно. Для себя он снимал дешевую квартирку в мансарде, под крышей, в парижском округе Батиньоль, в проезде Сен-Мишель.

В Париже он рассчитывал зарабатывать на жизнь примерно так же, как в вологодской ссылке, то есть писать статьи по истории мысли, истории науки и культуры, по философии и социологии. И печататься под псевдонимами в России. Ряд готовых статей он оставил в Петербурге, привезя их с собой из Кадникова. Принятые редакцией «Отечественных записок», они печатались теперь одна за другой, почти в каждом номере журнала.

Все же его заработок был слишком ненадежен, чтобы Анна могла на него твердо рассчитывать, поэтому она решила открыть мастерскую искусственных цветов у себя на квартире. Она умела это делать и раньше, для собственного удовольствия, теперь это могло дать какие-то средства к существованию. На дверях ее квартиры написали крупными буквами: «Цветы».

В начале июля приехали в Париж Елена Андреевна Штакеншнейдер и ее мать, остановились в отеле. Приехали не прямо из России, а из Германии — лето проводили в Гейдельберге, но сумели привезти Лаврову некоторые вещи его — те, что он в Петербурге оставил, не смог с собой захватить. Этим добрым женщинами был он от души благодарен.

Стояла прекрасная летняя погода, Лавров нанимал коляску и катал обеих дам по самым красивым улицам Парижа, по его бульварам, старался их развлечь, как умел.

— Хорошо жить в Париже? — спросила Елена Андреевна.

Ему оставалось только с улыбкой подтвердить:

— Хорошо.

— Даже если в него попадешь оттуда, откуда вы попали?

— Даже если попадешь в него из Гейдельберга, откуда попали вы.

— А что если немцы разрушат Париж?

Она спросила так потому, что всеми ожидалась война, об этом писали газеты...

Но ему казалось немислимым, чтобы немцы могли дойти до Парижа. И когда мать Елены Андреевны спросила, надежны ли парижские укрепления, форты, он засмеялся и сказал:

— Успокойтесь, до Парижа немцы не дойдут.

Его больше беспокоило то, что происходило в России. Беспокоил ожидаемый судебный процесс по делу приверженцев Нечаева. Михаил Негрескул, как ему сообщали, был освобожден из крепости по состоянию здоровья, по ему был назначен — до суда — домашний арест. Письма из России доходили до Лаврова нечасто, писали ему с явными недомолвками.

Елена Андреевна, уезжая из Парижа, захватила с собой его письма в Петербург.

Когда Лавров прибыл в Париж, он первым делом отослал заграничный паспорт доктора Веймара в Петербург, чтобы Лопатин мог им воспользоваться.

Лопатин приехал, но, к сожалению, в Париже не задержался. Уехал в Англию и временно обосновался в приморском городе Брайтоне. Ему предоставлялась возможность заняться делом нужным и полезным: переводом с немецкого на русский язык уже знаменитой книги Карла Маркса «Капитал», вышедшей три года назад. В России нашелся издатель, готовый оплатить труд переводчика. За этот труд брался Бакунин, взял аванс, но не выполнил своих обязательств. Тогда перевод был предложен Лопатину. По-немецки он не говорил, но читал свободно.

Маркс жил в Лондоне, возглавляя там Генеральный

совет Интернационала — Международного товарищества рабочих. И если уж Лопатин взялся переводить «Капитал», ему было удобнее жить поблизости от автора.

«Я был уже в Лондоне,— написал Лопатин Лаврову 6 июля.— ...Итак, я отправился и сделал визит Марксу, в чем теперь нисколько не раскаиваюсь, потому что это знакомство оказалось одним из приятнейших, сделанных мною.

Во-первых, я опасался, что у меня не хватит сюжетов для разговора с этим светилом, и потом я втайне недоумевал — на каком языке, кроме языка знаков,— я могу объясняться с ним? Все эти опасения оказались напрасными: в оба моих визита (из которых последний продолжался 10 часов кряду) разговор не прекращался ни на минуту. Маркс говорит по-французски не бог знает как, то есть произносит плохо и говорит довольно медленно, вследствие чего я его понимаю отлично».

«Очень рад, что Вы сблизились с Марксом»,— ответил Лавров.

Большой неожиданностью было появление в его мансарде вологодского знакомого — Сажина.

Сажин рассказал ему подробности бегства своего из ссылки. Рассказал о том, что за минувший год успел побывать в Северной Америке, вернулся в Европу и последнее время обретался в Женеве — он стал горячим приверженцем Бакунина.

Теперь он направлялся в Англию через Париж. Собирался ради заработка поступить техником на фабрику в Бирмингеме, и, поскольку он ехал через Париж, Бакунин дал ему письмо к Лаврову для передачи в собственные руки.

В письме Бакунин заверял Лаврова, что его отношения с Нечаевым окончательно порваны: «Податель этого письма, наш общий приятель Сажин, объяснит Вам причины этого разрыва». Как объяснил Сажин, Бакунин

был глубоко потрясен, узнав, что Нечаев не только его обманывал, но еще и выкрадывал у него и у Огарева письма, бумаги — явно для того, чтобы иметь возможность их шантажировать.

Наконец-то Бакунин раскусил этого негодяя в синих очках!

Огарев, ближайший друг покойного Герцена, живет в Женеве и, как видно, во всем теперь поддерживает Бакунина. В письме своем Бакунин сообщал, что вместе с Огаревым задумал издание революционного журнала и поставил в программу «отрицание государственности во всех ее проявлениях». Иначе говоря, программа журнала была анархистской. Далее Бакунин писал: «...будем чрезвычайно Вам благодарны, если Вы согласитесь посылать нам время от времени статьи теоретические».

Лавров пожал плечами. Заметил Сажину, что взгляды его, Лаврова, совершенно расходятся со взглядами Бакунина. Однако от участия в предполагаемом журнале не отказался категорически, а сказал, что подумает и, может быть, что-нибудь напишет.

Ему прислали из Петербурга несколько вырезок из «Санкт-Петербургских ведомостей» — мелкие объявления, касавшиеся его самого: его псковское имение отдавалось в опеку, а вологодское начальство объявляло, что «безвестно отсутствующий» Лавров обязан вернуться в назначенное для него место жительства.

На адрес парижского Антропологического общества пришло ему письмо от сына Михаила — в высшей степени огорчительное. По этому письму видно было, как отделился от него родной сын...

Михаил недовольно спрашивал: почему отец не просит милости у царя? Теперь вот имение в Мелехове отдано под опеку и, значит, семья поставлена в трудное материальное положение. Почему бы отцу не обратиться

к министру внутренних дел с письмом, в котором он заверит министра, что не считает себя эмигрантом? Тогда, может быть, имение вернут его детям... Судя по этому письму, сына мало интересовали убеждения отца. Читать такое было горько. Но ответить, попытаться объяснить свои поступки и взгляды было необходимо. И Петр Лаврович отвечал:

«Я не просил милости потому, что не чувствовал себя виноватым».

Неужели сын этого не может понять?

И еще Петр Лаврович написал, обращаясь уже ко всем троим своим детям:

«Я считал безнравственным долее подчиняться мерам, которые не находил справедливыми и которые отнимали у меня возможность действовать полезно даже в скромной сфере науки...

Я остаюсь Русским в душе; расширение истины и справедливости в моем отечестве составляло и составляет мое искреннейшее желание и цель, достижению которой я готов содействовать всеми своими силами... Будьте счастливы; от всей души желаю, чтобы вы могли в продолжение всей жизни служить России в ее пределах с той любовью, которую я к ней сохраняю и здесь».

А затем, скрепя сердце, составил послание министру внутренних дел в Петербург:

«Ваше высокопревосходительство!

Я узнал случайно из газет, которые очень поздно попались мне на глаза, что вологодское начальство вызывало меня как безвестно отсутствующего и что мое дело находилось на рассмотрении Санкт-Петербургского уездного суда. Спешу уведомить Ваше высокопревосходительство, что я оставил Россию, потому что в ссылке, где я находился, я не имел возможности продолжать мои научные работы, и вторичная высылка в уездный город из губернского убедила меня, что на скорое возвращение в Петер-

бург я не могу иметь никакой надежды. Как ни несправедливо поступило со мной правительство, я не питаю никакого личного раздражения против него, остаюсь русским в душе, постараюсь не принимать никакого иностранного подданства, очень сожалею, что поставлен в необходимость оставить отечество, но не могу в него вернуться, пока я не буду иметь возможности жить в Петербурге и спокойно продолжать там мои занятия...»

В Париже 19 июля 1870 года узнали о том, что началась война. Войну против Германии объявил император Наполеон Третий. Он сам возглавил действующую армию, и, кажется, весь Париж был уверен, что великая французская армия победит.

Лавров был удручен известием о войне уже потому, что сознавал: теперь его переписка с Россией станет еще более затруднительной.

Совершенно неожиданным для парижан оказалось известие о тяжелом поражении французских войск в начале августа, Париж был ошеломлен. «Вот вам и великая армия, Герман Александрович! — с невеселой усмешкой восклицал Лавров в письме к Лопатину. — Вот вам и непобедимые войска. Если бы Вы видели, как они считали дело выигранным в субботу, как весь Париж был обманут... И вдруг вчера такой удар».

Вечером 15 августа, поднявшись по лестнице в свсю мансарду, он увидел, что в квартире определенно кто-то побывал в его отсутствие: со стены снята географическая карта, книги переложены, ящик стола выдвинут. Уж не вор ли забирался к нему? Но деньги в ящике стола были целы.

Наутро, выходя из дому, он встретил консьержа, и тот рассказал: вчера явился полицейский комиссар, сделал в квартире обыск, взял какую-то телеграмму и больше, кажется, ничего.

На следующий день Лавров был вызван в полицию. Комиссар сурово предложил ему объяснить, что за телеграмму он получал из Берлина. Это была телеграмма от сына, который вез через Берлин Елизавету Карловну.

Объяснение Лаврова комиссар счел достаточным, извинился за обыск и сослался на военное положение, наступление пруссаков и множество прусских шпионов в Париже. Кто-то донес в полицию на Лаврова — оказывается, он подозрителен тем, что странно одевается: занимаясь литературным трудом, по утрам выходит из дому одетый как простой работник (он действительно одевался попроще, когда ходил завтракать в ближайшее кафе). И вообще он, как видно, подозрителен здесь — иностранец, во время войны почему-то живущий в Париже...

Анне пришлось закрыть свою мастерскую: на искусственные цветы упал спрос.

«Теперь в Париже, где ожидают через четыре-пять дней пруссаков, порядочная суматоха», — написал Лавров 28 августа в Петербург Елене Андреевне. А ведь каких-нибудь полтора месяца назад он и представить себе не мог, что германские войска дойдут до Парижа.

На другой день он сообщал Лопатину, который переехал из Брайтона в Лондон: «Мы здесь делаем уже запасы на случай осады, и, пожалуй, следующее письмо будет уже нелегко к Вам отправить».

Тревожные наступали дни.

Друзья из Петербурга прислали наконец-то выпедший из печати небольшой томик его «Исторических писем». Книга пришла, когда он почти забыл о ней, захваченный ожиданием драматических событий во Франции, в сердце Европы. Здесь, в Париже, эту книгу почти некому было показать. Но если французам она вряд ли станет известна, то можно надеяться, что в России, прежде чем она устареет, ее прочтут...

Вечером 3 сентября в Париже узнали о сокрушительном поражении французской армии под Седаном. Это была катастрофа. Наполеон Третий подписал капитуляцию. Это был позор.

Утром 4-го толпы возмущенных парижан устремились со всех сторон к императорскому дворцу Тюильри и к Бурбонскому дворцу, где размещался Законодательный Корпус. Никто не пытался преградить им дорогу, Национальная гвардия выступила на их стороне. В течение двух часов батальоны Национальной гвардии проходили маршем на площадь Согласия, требуя низложения Наполеона Третьего и провозглашения республики. Шли с музыкой и с барабанами. Штыки сверкали на солнце, ружья были украшены зелеными ветками. Гвардейцы обламывали орлов империи со своих знамен, лавочники отколачивали орлов со своих вывесок, и все сбивали орлов с парковых решеток, ворот и оград. Полиция исчезла, попряталась. На стенах парижане писали огромными буквами: «Liberté, égalité, fraternité» — «Свобода, равенство, братство».

Вместе со всеми Лавров устремился в этот день на площадь Согласия и далее, на другой берег Сены, к Бурбонскому дворцу. Стоял, потрясенный и счастливый, на ступенях дворца и в упоении кричал:

— Да здравствует республика!

Императорской власти пришел конец.

«Вот мы и живем в республике! — радостно писал он в Лондон, Лопатину. — Вот мы и видели своими глазами великий день и эту Национальную гвардию, которая своим появлением решила судьбу государства, и падающие орлы, и все такое».

Перед Северным вокзалом вечером 5 сентября, когда уже стемнело, собралась огромная толпа: возвращался в Париж, после долгого изгнания, Виктор Гюго. В десятом

часу поезд пришел из Брюсселя. Из вагона вышел старик с белой бородкой, его приветствовали громкими криками, ему устроили оvation. Все увидели, что он взволнован до слез. Его подхватили на руки, донесли до кареты...

Великий писатель приехал сразу после крушения империи, это крушение он предрекал. Он предвидел, что Наполеон Третий — Малый, в отличие от Наполеона Первого, Великого, — сам приведет себя к позорному концу. Будучи в изгнании, Гюго написал в памфлете «Наполеон Малый»:

«Все негодные установления в этом мире кончают жизнь самоубийством.

Когда они слишком долго угнетают людей, провидение, как султан своим визирям, посылает им с немим рабом шнурок; и они лишают себя жизни».

В том же памфлете Гюго призывал:

«Нет, не позволим себе пасть духом. Отчаяться — все равно что бежать с поля боя.

Обратим взор в будущее.

Будущее! Кто знает, какие бури нас ожидают, но мы видим далекую сияющую гавань».

И вот империя рухнула и старик Гюго вернулся в родной Париж.

Не допустить прусские войска в Париж! С этой мыслью парижане теперь вступали в ряды Национальной гвардии.

Лавров сознавал, что в гвардию он не годится: староват (ему было уже сорок семь лет) и подслеповат. В Петербурге он был по чину полковником артиллерии, но в артиллерийском деле знал лишь теоретическую сторону, математические расчеты. Он даже ведь никогда сам не стрелял и лишь один раз в жизни, при обороне устья реки Наровы, видел стрельбу из орудий, да и то больше наблюдал, нежели сам действовал... Нет, какой из него артиллерист!

Но можно ли оставаться в стороне, когда дело идет о судьбе республики? Он решил пойти санитаром в походный лазарет на окраине Парижа, на линии укреплений в Булонском лесу. Решил надеть белую нарукавную повязку с красным крестом и носить раненых. А пока что сообщал Лопатину в письме: «Я сел за работу, имеющую интерес минуты: пишу очерк роли демократической прессы во Франции в драме двух последних месяцев и намерен отнестись строго к этим неумелым господам, которые не имели энергии сделать шаг вперед, даже потрясти яблоню, пока яблоко само не свалилось им в рот».

Анна Чаплицкая написала Лопатину, что ему непременно следует приехать сюда и сражаться за республику. Звал его в Париж и Лавров.

Лопатин отвечал, что приехать не сможет: «В настоящее время я утешаю себя такими соображениями: пушечного мяса во Франции и без меня довольно, а быть полезным в каком-либо другом отношении я не могу по недостатку основательного знакомства с языком и местной жизнью».

Но Лавров знал, что за короткое время своего пребывания в Париже Лопатин успел войти в одну из парижских секций Интернационала. «Ваше присутствие здесь важно было бы не как солдата, а как внушителя разумных и энергических действий в знакомых кружках,— уверял его Лавров.— Этого всего более недостает. Мне жаль, что я ранее не расширил круга знакомств и что теперь положительно рисковал бы, как никому не знакомый, быть арестованным ежедневно в качестве прусского шпиона».

Да, круг его парижских знакомств был узок, и он жалел об этом теперь. Здесь он оставался иностранцем, посторонним, и, хоть он свободно говорил по-французски, его мнение здесь ни для кого ничего не значило.

А 19 сентября в почтовом бюро он увидел объявление:

письма за границу не принимаются из-за того, что всякая связь по железным дорогам прервана. Он этого ждал, и все же новость подействовала угнетающе: значит, пока продолжается осада Парижа, он не сможет ни посылать письма, ни получать. Париж отрезан от остального мира.

Он узнал о том, что парижским секциям Интернационала прислано из Лондона воззвание Генерального совета от 9 сентября. В воззвании сказано: «...мы приветствуем учреждение республики во Франции, но в то же время нас тревожат опасения, которые, будем надеяться, окажутся неосновательными. Эта республика не ниспровергла трон, она только заняла оставленное им пустое место. Она провозглашена не как социальное завоевание, а как национальная мера обороны». Вот именно! Воззвание справедливо отмечает: «...французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния». Французским рабочим надо укрепить свои ряды, осознать, что от их силы и мудрости зависит судьба республики, «не повторять прошлое, а построить будущее».

Лавров стал посещать собрания членов Интернационала и познакомился с одним из главных его деятелей. Это был Эжен Варлен, переплетчик, красивый мужчина с заметной проседью в шевелюре и густой бородой. Еще весной его решило арестовать прежнее правительство, но он вовремя скрылся. Вернулся в Париж в день переворота, 4 сентября. Его сразу выбрали командиром одного из батальонов Национальной гвардии, сформированного в округе Батиньоль.

Теперь Лавров принимал участие в собраниях членов Интернационала уже как человек, знакомый Варлену,

а вскоре он вступил в секцию Тэрн — новую секцию Интернационала в округе Батиньоль, где он жил.

Санитара при лазарете из него не получилось — из-за его крайней близорукости и отсутствия сноровки.

Тяжелым испытанием для осажденного Парижа стала наступившая зима.

Прусские войска уже вели обстрел городских окраин. При встречах на улице и в кафе парижане открыто возмущались неспособностью правительства организовать решительное военное сопротивление врагу. Возмущались тем, что правительство заботится об интересах буржуа, но ничего не делает для простых тружеников. В первые дни нового, 1871 года на стенах парижских домов был расклеен плакат на красной бумаге. Плакат изобличал правительство, чьи нерешительность и бездействие привели страну на край гибели, и призывал к созданию избранной народом Коммуны.

В городе быстро скудели запасы продовольствия. У дверей булочных выстраивались длинные очереди, женщины и дети часами топтались в очередях на талом снегу. В лавках исчезло мясо, изредка жителям удавалось достать конину.

Не стало газа, и по вечерам не зажигались фонари. С наступлением темноты улицы пустели. Нечем стало топить, рубили на дрова последние деревянные сарай, садовые скамейки и ограды, в домах жители дрожали от холода. В своей мансарде Лавров не топил вовсе, но постоянно был озабочен поиском дров, чтобы протапливать камин в квартире Анны, и вязанки сучьев сам носил вверх по лестнице.

В своей холодной мансарде он составил пространную прокламацию на французском языке. Начиналась она так: «За дело, трудящиеся! За дело, братья по Интернационалу! За дело! Ваше дело — это воцарение истины и справедливости. Ваше дело — это братство всех тружеников

на земле...» Но, пожалуй, прокламация получалась недостаточно конкретной и выразительной...

С утра 22 января было, как и все последние дни, сыро и холодно, в небе нависали тучи. В полдень Лавров вышел из дому и услышал, как барабаны национальных гвардейцев бьют сбор. Он поспешил туда, где собиралась толпа, и узнал, что ночью парижане ворвались в Мазасскую тюрьму и освободили политических заключенных. Сейчас в Батиньоле собирался батальон национальных гвардейцев, здесь же толпились рабочие, члены секций Интернационала, на их красном знамени было начертано: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав!» Эти слова должны были напомнить правительству, что у него есть не только права, но и обязанности, а у народа есть не только обязанности, но и права!

Батальон Национальной гвардии и толпа со знаменем направились по улицам в центр города. Лавров, не колеблясь, присоединился к толпе.

На площади перед ратушей уже собралось множество людей. Все входы в ратушу оказались заперты, власти не желали вести переговоры с представителями народа. Начался мелкий дождик, но возбужденная толпа не расходилась.

Лавров стоял в десяти шагах от ограды ратуши, когда внезапно из окон ее начали стрелять в толпу. Было три часа дня. Гвардейцы, укрываясь за фонарными столбами, открыли ответный огонь по окнам ратуши. Выстрелы заглушали звон разбиваемых стекол, толпа бросилась врассыпную. Лавров укрылся в подъезде одного из домов на площади. Запахло пороховым дымом.

Стрельба продолжалась уже четверть часа. Лавров выглядывал из подъезда и видел, потрясенный, как на площади падают убитые и раненые. Раненых надо было унести! Пока не истекли кровью! Он не выдержал, выхватил из кармана платок и, размахивая платком, как

белым флагом, выскочил из своего укрытия, во весь голос закричал:

— Не стреляйте больше!

Стрельба стихла. Лавров кинулся поднимать упавших. Уже человек тридцать лежало на мокром булыжнике мостовой. И тут он увидел, что это не только убитые и раненые, но также притворившиеся убитыми старики и дети — они боялись подняться...

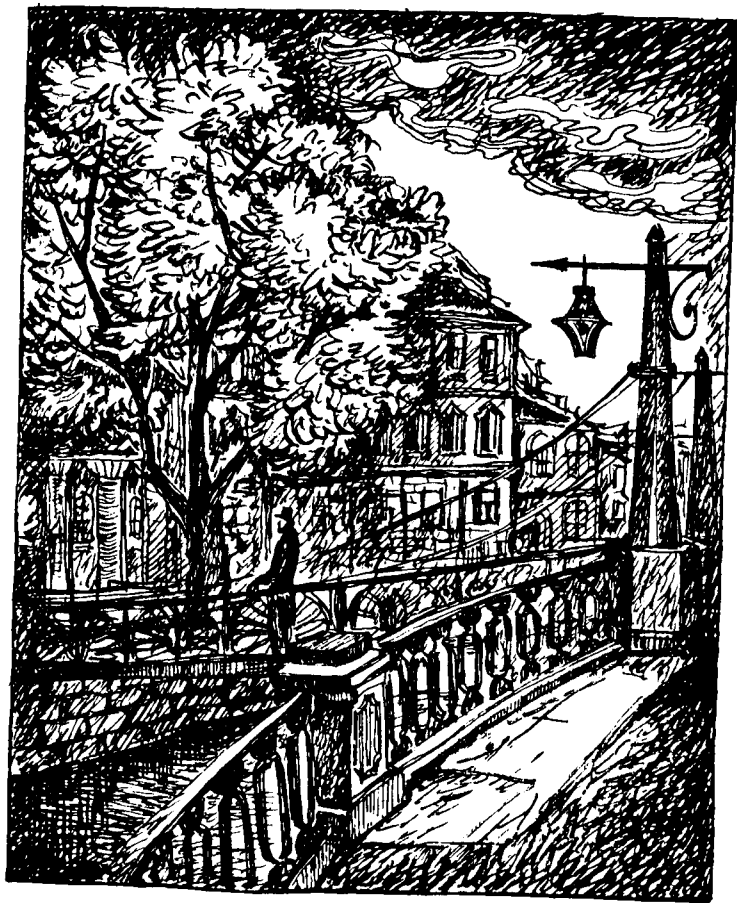
Власти, приказавшие стрелять в толпу народа, не имели права существовать!

Правительство уже явно боялось парижан больше, чем пруссаков. 28 января парижане узнали о «почетном соглашении» с пруссаками, оно было, в сущности, вовсе не почетной — позорной! — капитуляцией Парижа. Узнали: подписано перемирие на пятнадцать дней. В дни перемирия прусские войска в город не войдут, а французская армия должна сдать оружие.

Осада кончилась, и, значит, появилась возможность выходить за городскую черту. И где-то в предместьях доставать провизию. Туманным утром Лавров вместе с несколькими знакомыми парижанами отправился с пустым мешком за плечами в предместье Сен-Дени. Его знание немецкого языка помогло им пройти через позиции пруссаков. Прошли, хмураясь, мимо форта Ла Круа Бланш, над которым уже развевался германский флаг. В Сен-Дени Лавров купил, сколько мог, картофеля, луку, баранины, сыра. И принес полный мешок обратно в город на своих плечах.

Первая картофелина, которую он съел — первый раз за три месяца, показалась ему удивительно вкусной.

В эти дни, когда блокада Парижа была снята, незнакомый молодой человек диковатой паружности явился к Вырубову, на улицу Изящных Искусств. На чистом



русском языке он потребовал денег. Но кто он такой? Оказалось, это Нечаев. Надо же было случиться, что блокада застала его в Париже, теперь появилась возможность выехать, и ему потребовались деньги. Вырубов отказал наотрез. Нечаев угрожал револьвером, но стрелять не решился и ушел с проклятиями. Больше, слава богу, не приходил.

К этому времени Лавров также оказался без средств к существованию. С сентября прошлого года он не получил из России ни строчки письма и ни рубля денег.

После снятия блокады Парижа вновь стало возможно посылать письма за границу, и 1 февраля он написал Лопатину: «J'ai me flatté que cela vous fera plaisir de savoir que je suis vivant...» («Льщу себя надеждой, что Вам будет приятно узнать, что я жив...») Но очень скоро выяснилось, что не было смысла это письмо посылать, так как Лопатин находился теперь не в Лондоне, а неизвестно где. Пришло его письмо из Лондона, отправленное еще 20 ноября. «Некоторые обстоятельства принуждают меня покинуть Европу,— сообщал Лопатин.— Если бы к Вам был какой-нибудь доступ, я непременно заглянул бы к Вам... Я вернусь назад месяцев через пять-шесть и тогда, конечно, постараюсь немедленно разыскать Ваш адрес или Вас самих». С удивлением прочитав это загадочное письмо, Лавров написал в Лондон Марксу: не знает ли он, куда уехал Лопатин, и не давал ли о себе знать после отъезда?

Лавров решил поехать ненадолго в Брюссель. Подумал, что если пошлет письма в Россию не из Франции, а из нейтральной, спокойной Бельгии, они дойдут вернее. Можно было надеяться, что и денежный перевод из Петербурга, и ответные письма скорее придут на брюссельский адрес, нежели на парижский.

Выехав на поезде из Парижа, он потратил целый день, чтобы добраться до бельгийской границы: после

военных действий полотно железной дороги во многих местах было восстановлено наспех, поезд тащился медленно.

Из Брюсселя он сразу отправил письма дочери, сыну Михаилу, Елене Андреевне Штакеншнейдер и редакции «Отечественных записок» — на адрес одной знакомой дамы. За редакцией с прошлого года оставался долг в несколько сот рублей. Эти деньги его должны были выручить. В письме он напомнил о долге и предложил журналу новую статью — рассказ об осаде Парижа. К Елене Андреевне обратился с просьбой: не может ли она ему помочь в нынешних трудных обстоятельствах? Со временем он, безусловно, вернет долги.

В Брюсселе он задержался на три недели, но дождался ответных писем от сына и от Елены Андреевны. Михаил сообщил, что подал прошение о снятии опеки с имения отца. Нужда в деньгах вынудила его продать в Мелехове все движимое имущество. Что ж, должно быть, правильно поступил.

Но никакого ответа не пришло от редакции «Отечественных записок». И денег из редакции — никаких. Вероятно, его письмо где-то застряло по пути...

Елена Андреевна известила, что высылает ему в Брюссель, на условленный адрес, триста рублей. А пока что он договорился с редактором брюссельской социалистической газеты «Internationale» Сезаром Де Папом, что по возвращении в Париж будет присылать ему корреспонденции о последних событиях. Не дождавшись денежного перевода из Петербурга, он попросил аванс у Де Папа и уехал. Перед отъездом договорился, что деньги, ожидаемые из Петербурга, ему перешлют из Брюсселя в Париж.

Он вернулся в Париж вечером 10 марта. У вокзала встретились только носильщики с ручными тележками, извозчиков не появилось. Ведь почти все лошади в городе

были съедены зимой... На бульварах начинала зеленеть трава, но листья еще не распустились, деревья стояли голыми. Кое-где горели тусклые керосиновые фонари, светились окна домов, но улицы были безлюдны. Он шел по тротуарам, спотыкаясь в темноте. Спешил увидеться с Анной...

На другое утро он пришел в свою мансарду в проезде Сен-Мишель. Здесь его ожидало письмо от Маркса: «Лопатин уехал в Соединенные Штаты, и я еще не получал от него известий». Зачем понадобилось Лопатину ехать в Америку? Можно было только недоумевать...

За минувшие три недели в Париже произошли большие события. О многом Лавров уже знал из газет. Теперь узнавал подробности.

В конце февраля было официально объявлено, что 1 марта победившие германские войска войдут в Париж со стороны Булонского леса и временно займут кварталы западной части города — до площади Согласия, в том числе и главную улицу — Елисейские поля. Правительство во главе с премьер-министром Тьером заверяло, что германские войска оставят Париж «тотчас же после утверждения Национальным собранием предварительных условий мира».

Узнав о предстоящем вступлении германских войск, Национальная гвардия немедленно перевезла двести пятьдесят орудий из западной части города в другие кварталы, больше всего — на Монмартр.

В кафе «Мадрид», где собирались члены «Интернационала», Варлен говорил горячо:

— Будь что будет, но обезоружить себя без боя мы не дадим!

С утра 1 марта вдоль Елисейских полей все двери домов были заперты, магазины и кафе закрыты, жалюзи спущены. Жители этих кварталов либо оставили на время свои дома, либо заперлись.

Торжественно пройдя под Триумфальной аркой на Елисейские поля, германские солдаты и офицеры продефилировали на своих сытых конях или прошли чеканным шагом, под барабанный бой, до площади Согласия и дворца Тюильри. Красные гусары, белые кирасиры, синие баварцы, начищенные, вылощенные, в блестящих касках, должны были показать себя Парижу, по их никто не встречал.

На другой день Национальное собрание, заседавшее не в Париже, а в Бордо, приняло унижительные условия мира. 3 марта германские солдаты оставили Париж, вышли за городскую черту.

Утром 18 марта Лавров услышал из открытого окна своей мансарды внезапную стрельбу на близком Монмартре и шум уже совсем близко — с площади Клиши. Он торопливо вышел из дому и увидел, как через эту площадь беспорядочно отступают войска.

Оказалось, еще в три часа ночи они были посланы правительством Тьера на Монмартр, чтобы захватить и увезти пушки Национальной гвардии. Но когда жители Монмартра проснулись и увидели, что пушки увозят, они выбежали из домов, чтобы этому помешать. Два барабана сыграли сбор, и навстречу солдатам правительства решительно и грозно выступили национальные гвардейцы Монмартра. Солдаты явно не ожидали такого сопротивления. Многие, после недолгих колебаний, перешли на сторону Национальной гвардии. Остальным пришлось бросить пушки и бежать.

Вот этих бежавших он и видел на площади Клиши. Народ побеждает!

На улицах собирались толпы парижан — бурно обсуждали события дня. Все громко выражали свою радость: планы Тьера провалились! Долой Тьера!

Правительство Тьера покинуло столицу. Тьер переехал в близкий и безопасный для него Версаль.

Батальоны Национальной гвардии стягивались на площадь у ратуши.

Наступило 19 марта, быстро развеялся легкий расветный туман, яркое солнце заблестело на окнах домов.

На стенах расклеивались плакаты Центрального комитета Национальной гвардии — Париж узнавал, что он свободен! Ратуша была занята вчера вечером без единого выстрела.

Лавров быстрым шагом пошел к этой площади, где собирались ликующие толпы парижан. Над ратушей развевалось красное знамя.

Вернувшись к себе, он в самом праздничном настроении написал корреспонденцию в газету «Internationale»: «Итак, вот еще одна революция, и совершенно непохожая на другие... Лавочники таращили глаза при виде подписей этого ужасного Центрального комитета Национальной гвардии, который в данное время управляет Парижем. И все совершенно неизвестные люди! Швейцары делают презрительные мины, говоря своим жильцам: «Посмотрите, мадам, что это за правительство! Это смешно. Все простые люди! Бродяги! Рабочие! Да, мадам, простые рабочие!»

Лавров торжественно заявлял в той же корреспонденции для брюссельской газеты: «Все мои пожелания и пожелания ваших читателей, я уверен, сводятся к тому, чтобы победила эта республика, вышедшая действительно из народа, основанная рабочими, которые желают только справедливости и братства...»

Уже 21 марта Центральный комитет Национальной гвардии показал себя настоящим защитником парижских бедняков: издал приказ приостановить продажу вещей, заложенных в ломбард, отсрочил на месяц квартирные платежи и запретил домовладельцам выселять жильцов — впредь до нового распоряжения.

В полном порядке 26 марта в Париже были прове-

дены выборы в Коммуну. Ожидалось, что 28-го итоги выборов будут оглашены на площади перед ратушей. В этот день, вместе со многими тысячами парижан, Лавров устремился туда.

С музыкой, с красными знаменами пришли на залитую солнцем площадь батальоны Национальной гвардии. Перед ратушей была сооружена трибуна, и один из членов Центрального комитета сказал с трибуны как можно громче, чтобы все его слышали:

— Центральный комитет передает Коммуне свои полномочия. Граждане, сердце мое переполнилось радостью, и я не могу говорить речь... Дозвольте мне лишь воздать хвалу населению Парижа, показавшему миру такой великий пример!

Другой член комитета огласил список выбранных в Коммуну по всем округам. Забили барабаны, тысячи голосов радостно и торжественно запели «Марсельезу». С трибуны прокричали:

— Именем народа Коммуна провозглашена!

Всеобщий крик восторга пронесся над площадью, тысячи голосов слились в один:

— Да здравствует Коммуна!

Развевались над толпой знамена, из окон окружавших площадь домов сотни рук махали платками. И вместе со всеми Лавров распевал «Марсельезу» и кричал, потрясая кулаком:

— Vive la Commune!

Вернувшись домой, он схватил перо и написал очередное письмо в Брюссель. «Твердость Центрального комитета, его спокойствие и ум одержали верх над всеми трудностями,— торжествуя сообщал он читателям газеты «Internationale». — ...Он сумел быть твердым, не злоупотребляя своей силой и диктатурой... Если и был беспорядок на улицах Парижа, если лавки иногда вне-

запно закрывались, если происходили более или менее кровавые столкновения, то единственной причиной этих происшествий была так называемая партия «порядка». Если в данный момент, когда я вам пишу, торговля и промышленность переживают страх, дела не идут, иностранцы и трусливые люди покидают Париж и какое-то чувство общественного недомогания продолжает тяготеть над столицей, то виной всему этому является не поддающаяся квалификации позиция Версальского собрания; оно не сумело ничего предупредить, ничему помешать и не может охотно примириться с совершившимися фактами, законность которых очевидна и легализация которых дала бы внутренний мир Франции».

Лавров жаждал принять участие в работе Коммуны. Он обратился к ее руководителям с письмом: «Граждане, во Франции я чужестранец, но я член Интернационала и полностью сочувствую социальному движению, представленному Парижской Коммуной. Моя жизнь прошла в изучении, преподавании и распространении наук, поэтому я позволю себе высказать в этом обращенном к вам послании некоторые соображения по вопросам образования, которое вам следует наладить...»

Письмо его не вызвало отклика. Видимо, Коммуну захлестнуло слишком много проблем первоочередных и более важных, чем реорганизация школ..

«Прожектёр я по природе,— признавался он в письме к Штакеншнейдер,— но исполнение проектов моих обыкновенно более зависит от внешних обстоятельств, чем от меня».

Печальное письмо пришло от дочери: она сообщала о своем горе: 12 февраля по старому стилю умер от чахотки ее муж Михаил Негрескул. У него всегда были слабые легкие, заключение в Петропавловскую крепость его доконало. Когда ему по состоянию здоровья заменили

пребывание в каземате домашним арестом, было уже поздно. И ведь человек ни в чем не был виновен, его не за что было судить! А вот за то, что его несправедливо заключили в крепость и тем самым жестоко погубили, никого, конечно, судить не будут — и словно бы виноватых нет...

Прислал письмо сын Михайл. Он написал, что теперь, пожалуй, было бы лучше всего, если бы Петр Лаврович взял дочь и ее ребенка в Париж. Такое же мнение высказала в письме к нему Елена Андреевна. Казалось бы, они совершенно правы, но... Сможет ли он дочь и внука содержать? Вот сейчас он получил наконец триста рублей из Петербурга от Елены Андреевны, а когда еще редакция «Отечественных записок» решится выслать ему деньги, заработанные в прошлом году, — неизвестно. «Тяжело мне чувствовать, что я теперь вкушаю самую горькую сторону жизни эмигранта, жизнь подачками, когда я могу и хочу работать», — написал он Елене Андреевне. И как тут ему звать дочь в Париж? «Я счел бы себя вправе призвать к себе молодую женщину лишь тогда, когда бы я мог ей предложить удобные средства к жизни». И неизвестно, как бы здесь повела себя Маня, когда бы узнала, что отец ее фактически женился вторично. «Не имею ни малейшего основания думать, что Маня легко бы оставила кружок друзей и знакомых, с которыми сжилась, для той, довольно одинокой, жизни, которую я веду, и для тех людей, которых я здесь знаю. Она никогда не выражала желания разделить мою участь... Если бы она пожелала приехать ко мне, вопрос был бы иначе поставлен». Это главное. Маня сама не проявила желания приехать к нему. Может быть, потому, что он жил в беспокойном Париже? Но он и не собирался искать для себя за границей более спокойного убежища!

«В настоящую минуту, — написал он Елене Андреевне, — мне тяжело было бы уезжать из Парижа уже и

потому, что здесь началось движение, которое имеет громадный интерес. В первый раз на политической сцене не честолюбцы, не болтуны, а люди труда... Существующее в Париже правительство честнее и умнее, чем какое бы то ни было пред этим... Если оно падет, то реакция неизбежна, и тогда, может быть, мне невозможно будет оставаться в Париже. Если оно восторжествует, то едва ли война с Германией не начнется сызнова...» — Что бы ни случилось, он, Лавров, не останется безучастным свидетелем событий.

Вырубова он с осени видел редко. Обладавший некоторыми познаниями в медицине, Вырубов еще в октябре был принят, как врач, в походный лазарет Красного Креста. Хирургических операций он делать не мог, но со всем остальным вполне справлялся, раненых поступало немного. Лазарет разместился в недавно построенных бараках на юго-западной окраине города, на правом берегу Сены, в Пасси.

Как только к власти в Париже пришла Коммуна, главный врач лазарета перебрался в Версаль и оставил Вырубова своим заместителем. Вырубов не намерен был покидать Париж. К Коммуне он отнесся с недоверием, но согласился предоставить лазаретные фуры многочисленному отряду коммунаров, когда они решили идти походом на Версаль, чтобы разгромить ненавистное правительство Тьера.

На рассвете 3 апреля почти шесть тысяч человек выступили из Парижа тремя колоннами. Вырубов с его лазаретными фурами следовал за колонной, которая двигалась к Версалью по дороге через Нейи и Нантерр. «Вид этого странного войска,— рассказывал потом Вырубов,— с военной точки зрения был поразительный: тут не было ни рот, ни батальонов, а густая, пестрая толпа, которая кричала и пела. Многие офицеры были вооружены ружь-

ями, кто мог добыть себе лошадь, ехал верхом... В середине колонны, в изящной коляске, запряженной парой красивых коней... главнокомандующий...» Это был Бержере. До недавнего времени типографский служащий, он вовсе не был военным. Но он отличился при захвате ратуши 18 марта и вот стал одним из генералов Коммуны.

Колонна во главе с Бержере должна была на пути к Версалю обогнуть выстроенный на холме форт Моп-Валерьен.

«Как только мы подошли,— рассказывал потом Вырубов,— к тому месту, где дорога, поворачивая под прямым углом, образует полукруглую обширную площадку, с бруствера Моп-Валерьен, до которого не было и версты, послышался выстрел, зашипела граната и разорвалась в самой середине этой движущейся массы; за ней через короткие интервалы посыпались другие... С криками «измена!» весь наступавший отряд пустился бежать, одни — по направлению к Версалю, другие — назад, в Париж. Не прошло и получаса, как на площадке осталась только коляска «генерала» с убитыми лошадьми, двое-трое убитых и несколько раненых, покинутое оружие, почему-то снятое с передка, да мы с нашими лазаретными фурами... Крепость продолжала стрелять по беглецам».

Как же такое могло произойти? «Оказалось,— объяснял Вырубов,— что все «думали», «предполагали», «слышали», что гарнизон не будет стрелять по красному знамени, и на этом шатком основании бросились вперед...» Выяснилось уже на другой день: весь этот поход был предпринят вопреки предупреждениям многих членов Коммуны, видевших, как плохо подготовлено это наступление на Версаль.

Поражение 3 апреля было для Коммуны тяжелым нравственным ударом. Бержере был снят. На посту коменданта укрепленного района Парижа его заменил профессиональный военный, окончивший Академию Гене-

рального штаба в Петербурге, польский политический эмигрант Ярослав Домбровский.

С ним Лавров познакомился еще в июле прошлого года, на именинах Анны Чаплицкой, — Домбровский оказался в числе ее гостей.

Квартиру Анны нередко посещали польские эмигранты. Однажды Лавров разговорился там с Домбровским и еще с одним поляком, который рекомендовался как «профессор польского искусства». Разговор шел по-французски, но вот Домбровский, обращаясь к Лаврову, заговорил по-русски, и тогда профессор демонстративно вышел из комнаты: он не желал присутствовать там, где слышал русскую речь. Подобное русофобие в глазах Лаврова, конечно, было дикостью... Но с проявлениями антагонизма национального приходилось считаться.

Парижане относились к иностранцам без враждебности, но с недоверием, и Домбровскому коммунары не без колебаний поручили оборону западного предместья Парижа — Нейи. Не без колебаний, потому что — не француз...

Версальцы упорно атаковали Нейи, и тут особенно упорную оборону сумел организовать Домбровский. Вырубов потом рассказывал, что Домбровский просил устроить перевязочный пункт и правильные рейсы санитарных карет, чтобы вывозить раненых с линии огня. Вырубов должен был поехать посмотреть, выполняли ли эта просьба. Рвалась шрапнель, ему пришлось пробираться вдоль стен. Увидев Домбровского — как потом оказалось, в первый и последний раз — Вырубов им восхитился: среди штабских, едва научившихся обращаться с оружием, он был здесь единственным настоящим военным.

Другим настоящим военным среди генералов Коммуны оказался соотечественник Домбровского Валерий Врублевский. Он возглавил оборону на юго-западе, и его правый фланг смыкался с левым флангом Домбровского.

Проезд по железной дороге был свободен, и вот снова приехал в Париж и явился к Лаврову Сажин. Ради конспирации он именовал себя на французский лад — Арман Росс. Он говорил, что хочет принять непосредственное участие в защите Парижской Коммуны.

Военная слабость Коммуны становилась очевидной. Лавров был этим страшно удручен. Все более убеждался, что вряд ли коммунары смогут устоять без помощи извне. Он решил поехать в Брюссель и в Лондон, чтобы призвать Генеральный совет Интернационала организовать возможное содействие коммунарам из-за границы. Об этом он сказал Варлену и его товарищам. Получил от Коммуны заграничный паспорт. Никаких иных документов у него не было.

Сажину он предложил поселиться в его мансарде в проезде Сен-Мишель. Обратил его внимание на консьержа — преданного сторонника Коммуны, на которого можно было положиться. Сказал также, что в случае необходимости Сажин может укрыться в лазарете у Вырубова, и дал адрес.

Сажин проводил Лаврова и Анну Чаплицкую на Северный вокзал.

За чертой города поезд остановился: полицейские и таможенники версальского правительства производили досмотр. Офицер полиции увидел бумаги Лаврова и возмущился:

— Это что за паспорт?

— Я иностранец, эмигрант,— сказал Лавров.— Я жил в Париже. Мне понадобилось отправиться в Лондон. Для этого требуется нынче паспорт...

— Но он визирован не законным правительством, а мятежниками!

— А чем же я виноват, что законное правительство убежало из Парижа?.. Не правится вам мой паспорт, так дайте другой, настоящий.

Пропустили...

В Брюсселе редактор газеты «Internationale» Сезар Де Пап, узнав, что Лавров намерен ехать в Лондон, 25 апреля передал ему свое письмо к Марксу.

«Пересылаю Вам настоящее письмо, — писал Де Пап, — через одного из наших добрых друзей, члена парижской секции Тэрн, гражданина Лаврова, характер которого, обширные познания и большую преданность Интернационалу, в частности, и социальному прогрессу вообще, мы оценили во время его пребывания в Бельгии».

Анна предпочла остаться в Брюсселе, и он поехал в Англию один. Сначала в портовый город Антверпен, оттуда на пароходе — в Лондон.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Скажите, пожалуйста, не странная ли это судьба? Чуть-чуть не полвека сидел человек сиднем и не думал и не желал оставлять Петербурга. И вот, когда он поседел, судьба швыряет его сначала в глубину России, потом на берега Сены» — так писал Лавров Елене Андреевне Штакеншнейдер 5 мая 1871 года, через неделю после своего приезда в Лондон. — «Конечно, я оставил Париж не потому, что меня испугало его настоящее положение, но я надеялся быть более полезным моим тамошним приятелям, находясь здесь... Борьба Парижа в настоящую минуту — борьба историческая, и он действительно находится теперь в первом ряду человечества».

Он уже посетил в Лондоне Карла Маркса, представился, передал письмо Сезара Де Папа из Брюсселя. Рассказал, что знал, о критическом положении Парижской Коммуны, окруженной врагами со всех сторон. Маркс горячо сочувствовал Коммуне и пристально следил за событиями.

Лавров узнал, что еще зимой Маркс получил письмо от Лопатина, который отправился, как следовало догадаться, не в Америку, а в Россию. Это было тайной, ее нельзя было разглашать. Завершение работы над переводом «Капитала», в этих обстоятельствах, Лопатин уступил в Петербурге другому переводчику. Только что Маркс получил из Петербурга письмо: «Наш общий друг», то есть Лопатин, «находится сейчас в очень тяжелом положении», значит, арестован...

Трагическими были новости из Франции: войска версальского правительства вторглись в Париж, коммунары воздвигали на улицах баррикады — груды булыжника, поваленные повозки, мешки с песком. Коммунары героически сражались, но силы были слишком неравны. Погибали под пулями и те, кого Лавров близко знал: 23 мая был смертельно ранен Домбровский, 28-го расстрелян версальцами Варлен. В тот же день версальцы подавили защиту последней баррикады на улице Рампонно.

Из Лондона 1 июня Лавров послал телеграмму Арману Россу, то есть Сажину, спрашивал: жив ли он? Сажин отвечал также телеграммой: жив и завтра уезжает из Парижа. С отъездом ему приходилось, наверное, спешить...

В Лондоне Лавров жил на квартире Анатолия Николаевича Давыдова. Это был член Интернационала, молодой, бородатый, лысоватый человек в очках. Он служил в одесском Русском обществе пароходства и торговли, был агентом общества в Лондоне.

Обедали они обычно вдвоем, где придется. 2 июня завернули пообедать в гостиницу «Этуаль», и там к Давыдову подошел его знакомый — тощий, чахоточного вида брюнет — один из деятелей польской эмиграции, владелец антикварной лавки граф Потоцкий. Этот граф на аристократа совсем не был похож, скорее — на оборотистого дельца. Но в разговоре заявлял себя республикан-

цем и демократом. После обеда он увязался за ними и весь вечер просидел на собрании друзей у Давыдова.

К ночи мнимый граф Потоцкий вернулся к себе. Жил он на Бедфорд-сквер, возле Британского музея, в доме, где над его антикварной лавкой виднелась надпись крупными буквами «Albert». Это был его другой псевдоним, коммерческий — неудобно же писать на вывеске такую аристократическую фамилию, как Потоцкий. А на самом деле носил он фамилию Балашевич и уже не первый год был агентом Третьего отделения в Лондоне.

Он поднялся в свою квартиру на втором этаже, над лавкой. Заперся, зажег свечу. И сел писать очередное донесение в Петербург.

«Сюда прибыл из Парижа полковник Лавров,— сообщал Балашевич,— и сегодня мы обедали с ним в отеле l'Etoile. Он живет пока с Давыдовым в Langham. Сегодня вечером на квартире Давыдова было значительное собрание членов и агентов Internationale... Все они в ужасном отчаянии по поводу уничтожения коммунистов. Лавров в особенности желает, дабы организовать секретные общества и перебить всех держащих бразды правления во Франции. Он весьма умный, дальновидный и энергичский. Он пробыл всю осаду в Париже, работая в обществе Internationale. Несмотря на все меры, уже до ста человек коммунистов прибыло в Лондон... Один только Лавров не отчаивается и надеется, что дела поправятся».

В брюссельской газете «Indépendance belge», в номере от 26 мая, Лавров мог прочесть открытое письмо Виктора Гюго. Старый писатель уже два месяца находился в Брюсселе. Он заявил на страницах газеты, что, не одобряя действий руководителей Парижской Коммуны, приемлет ее принципы. Теперь он возмущен отказом бель-

гийского правительства предоставлять убежище комму-
парам.

Гюго написал:

«Я предлагаю побежденным убежище, в котором им
отказывает бельгийское правительство.

Где? В Бельгии.

Я оказываю Бельгии эту честь.

Я предлагаю убежище в Брюсселе.

Предлагаю убежище в доме № 4 на площади Бар-
рикад».

Это был его адрес. Он поступал как благородный че-
ловек.

А дня через два в той же газете можно было про-
честь о том, что произошло в ночь с 27 на 28 мая. В эту
ночь Гюго из открытого окна своего кабинета на втором
этаже услышал: кто-то постучался у дверей дома, внизу.
Гюго подошел к окну и спросил: «Кто там?» Незнакомый
голос ответил: «Домбровский». И сразу же тяжелый ка-
мень ударил в стену возле окна. Гюго посмотрел из окна
вниз и увидел в темноте небольшую толпу. Все понял и
стал закрывать окно. В этот момент брошенный из толпы
булыжник разбил стекло, неизвестные закричали: «Долой
Гюго! Смерть ему!» Кто-то пытался вскарабкаться по
стене, кто-то пытался выломать дверь...

Так враги Коммуны ответили на открытое письмо писа-
теля. А вслед за тем бельгийские власти потребовали,
чтобы Гюго покинул пределы страны...

Преследуемые правительством Тьера коммунары и их
семьи тайно прибывали в Англию.

12 июля Лавров получил записку от Маркса:

«Дорогой друг!

Не будете ли Вы так добры прийти к нам пообедать
в ближайшее воскресенье в 5 часов вечера?

Вы встретите у нас некоторых из наших парижских
друзей».

Парижским друзьям пужно было всячески помочь. И тем, кто бежал в Англию, и тем, кто остался во Франции. Лавров решил возвратиться в Париж. Он попросил Германа Юнга, секретаря Геперального совета Интернационала и часовщика по профессии, пересылать ему из Лондона письма, если они еще будут сюда приходить. Друзья из Интернационала достали ему паспорт на чужое имя, и он отправился обратно во Францию.

«Третьего дня я приехал из Лондона весьма благополучно, если не считать сильной качки на море и неприятного дождя, когда я садился на пароход и сходил с парохода,— сообщал он 27 июля в письме к Елсепе Андреевне Штакеншнейдер.— ...Парижа я еще почти не видел. Развалины есть, но не очень уж значительные. В разговорах все посдержаннее. Журналы хуже, чем когда-либо: плоскость невообразимая. Но посмотрю еще. Где мои прежние приятели, оставшиеся в живых? Не знаю даже, куда обратиться, чтобы узнать о них. Все места прежних собраний заперты».

В доме № 10 в проезде Сеп-Мишель, куда он вернулся, исчез консьерж — арестован версальцами. Осталась жена с детьми...

Лаврову передали письмо из России, от старшего сына, посланное еще в июне. Боже мой, что это было за письмо! Михаил словно обитал на другой планете, настолько он был далек от всего, чем жил его отец. Волновала ли сына судьба Парижской Коммуны? Думал ли он о будущем России? Вряд ли. Судя по письму, он озабочен был лишь одним: как бы ему стать законным владельцем имения в Мелехове. Он сообщал, что министр внутренних дел получил прошлогоднее — такое вынужденное! — письмо Петра Лавровича из Парижа. «Но оно никакого значения не имеет,— недовольно замечал сын,— так как... получено не через посольство, т. е. не законным

путем, и имеет характер вполне частный, так как рука не засвидетельствована».

О бюрократы, бюрократы!

«Далее ты мне написал письмо, но из этого письма я никакого употребления сделать не могу, потому что оно скорее может принести вред, чем пользу». — Должно быть, Михаил даже не создавал, как больно будет отцу читать такое письмо. — «Дело в том, — рассуждал сын, — что ты считаешься безвестно отсутствующим, и надо сделать так, чтобы твое местожительство сделалось бы официально известным и чтобы тебя *по адресу* вызвали бы обратно в Россию и, не получив от тебя согласия в шестимесячный срок, выгнали бы навсегда из пределов государства и, лишив прав, похоронили бы тебя политически». — Подумать только: с подобной перспективой сын не только мирился, но видел в ней выход из положения! И вот почему: «Тогда мы сможем быть введены во владение имуществом уже никому не принадлежащим, так как ты уже будешь считаться умершим, а до тех пор ничего сделать нельзя. Ты жив и, следовательно, можешь пользоваться всеми гражданскими правами». — Что за чушь! Но следующая фраза говорила уже о поразительной глухоте Михаила к слову, о его душевной глухоте. Он написал буквально так: «Но тебя необходимо умирить и для этого необходимо тебе посоветоваться в посольстве. Ради бога, сделай все от тебя зависящее; ну, если дело не выгорит, что ж делать...»

А о том, что действительно могло интересовать отца, Михаил сообщил предельно кратко и сухо: «Маня в Екатеринославе. Автоном умер». И больше ни слова ни о Мане, ни о бедном Автономе, который в прошлом году с такой самоотверженностью сопровождал Петра Лавровича до прусской границы...

Нет, не пойдет он в посольство, не дождется от него Михаил подобного унижения.

Удрученный письмом сына, он взялся за доставленные почтой русские газеты. Развернул — и увидел подробное сообщение о процессе в Москве. Наконец-то слушается дело об убийстве студента Иванова в парке Петровской академии, на скамье подсудимых — соучастники... Вот речь адвоката Спасовича... В ней, спасибо ему, сочувственно упомянут Михаил Негрескул — «человек весьма замечательный, находившийся в весьма дурных отношениях с Нечаевым и с которым, вероятно, случилось бы в Петербурге то же самое, что с Ивановым в Москве, если бы он стал противодействовать планам и намерениям Нечаева». — Несомненно! Было бы именно так, если бы раскрытие убийства Иванова не заставило Нечаева бежать за границу. Интересно знать, где этот негодяй сейчас. Месяца три назад Давыдов рассказывал, что Нечаев ныне живет в Лондоне, ни с кем из членов Интернационала не встречается и будто бы работает наборщиком в какой-то типографии. В последнее не верилось, так как английским языком он до приезда в Лондон, конечно, не владел. Из Парижа Нечаев уехал, говорят, за месяц до провозглашения Коммуны. Не исключено, что Лавров даже видел его на улице в Париже или в Лондоне. Видел и, не зная в лицо, спокойно прошел мимо...

В дни Коммуны Лавров сокрушался, что у него так мало знакомых среди коммунаров, теперь это позволяло ему оставаться в тени, его имя не всплывало на судебных процессах. Только вот в мэрии Батиньоля показываться было нельзя: там могли встретиться люди, видевшие его в той же мэрии в дни Коммуны.

Теперь он выполнял последний долг перед Коммуной — помогал Генеральному совету Интернационала устраивать тайные побег за границу тем, кто принужден был скрываться от преследований. При этом необходимо

было избегать лишней переписки, а если уж приходилось что-то доверять бумаге, конспирация обязывала не называть имен.

Однажды — это было 20 августа — он отправлял письмо Герману Юнгу через надежные руки и поэтому решился написать в открытую: «Дорогой Юнг! Вчера вечером в Лондон уехал некто, снабженный моей маленькой запиской карандашом в качестве рекомендации к Вам, но я не указал ни его, ни своего имени; я хочу подтвердить Вам сегодня, что Леже, человек, которого я знаю с давних пор, действительно был одним из самых надежных и самых решительных членов Интернационала еще до Коммуны и отдавал последней все свои силы. Я всячески рекомендую его Вам, так же как и Вашим друзьям в Лондоне». То есть Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

Потом он узнал, что коммунары Леже, парижский механик, благополучно добрался до английских берегов.

Полиция Тьера разыскивала в Париже генерала Коммуны Врублевского. Однако, не особенно таясь, он оставался в городе до начала сентября, когда ему передали — через Лаврова — паспорт на чужое имя. Фотографии на паспорт не полагалось, но внешность Врублевского была известна французской полиции, известна была и особая примета — следы оспы на лице. Несмотря на это, Врублевскому удалось беспрепятственно выехать в поезде с Северного вокзала, не задержали его и на бельгийской границе. Он прибыл в Брюссель, где остановился на несколько дней. Там оказать ему какое-то содействие могла Анна Чаплицкая. О том, что он добрался до Лондона, Лаврова известил в письме Энгельс.

Когда приходилось отправлять письмо с обычной почтой, нужно было прибегать к иносказаниям. Так, Лавров написал Энгельсу 29 сентября: «Только что у меня был один человек, который дней десять не мог меня найти, теперь он предъявил мне карточку своей торговой фирмы

на имя Трибер и клочок бумаги с моим адресом, написанным двумя почерками, один из них показался мне очень знакомым, почерком одного из моих друзей». Адрес был написан как будто рукой Маркса, но Лавров усомнился: может быть, почерк подделан? Незвестный попросил дать ему гравюры, то есть — на их условном языке — паспорта. Лавров осторожно ответил, что сейчас «гравюр» у него нет, и предложил зайти еще раз. А сам немедленно написал Энгельсу: «Если Вы мне сообщите хорошие сведения об этой торговой фирме, я, возможно, сумею раздобыть для нее кое-какой товар, но это не будет товар высшего качества... В данный момент почти ничего нельзя сделать в Париже. Во-первых, потому, что нет денег». Можно было не объяснять, что чиновникам, выписывающим паспорта, за каждый незаконный паспорт надо платить, никто из них не станет рисковать бесплатно. Еще одна трудность: «Моих прежних посредников больше здесь нет... Я сделаю все, что смогу, но старания одного лица очень мало что дадут в таком деле, которое требует главным образом коллективных усилий».

О визите неизвестного он сообщил также Юнгу. Письмо это взялся доставить надежный человек. Поэтому Лавров без иносказаний написал о неизвестном: «Если это человек, который действительно направлен ко мне друзьями, то следовало бы дать ему настоящий пароль, вместо того чтобы он приходил просить у меня гравюр. Поэтому я решил, что не следует заходить слишком далеко с ним, прежде чем я не получу некоторых сведений о нем, и тотчас же написал Энгельсу, от которого с нетерпением ожидаю ответа. К тому же в настоящий момент я могу достать паспорта, на которые нельзя слишком рассчитывать».

Энгельс ответил из Лондона: «Что касается фирмы «Трибер», то она вполне честна и надежна, так что Вы можете поставлять ей *товары* без малейших опасений...

К тому же у нее имелся хороший выбор гравюр тут же, на месте. В настоящее время мы испытываем некоторый недостаток в этом товаре и не можем сейчас его поставлять».

Из Лондона помочь не могли, и Лаврову пришлось отдать одному из преследуемых свой собственный паспорт. Другого паспорта он в этот момент не смог достать.

«Вот теперь и живу без бумаги, что в настоящую минуту во Франции плохо»,— сетовал он в письме к Штакеншнейдер.

Он с беспокойством писал Энгельсу 9 ноября:

«Только вчера я видел одного человека, который 5-го этого месяца получил письмо из Лондона. В нем говорится, что Врублевский испытывает крайнюю нужду: ему нечего есть, он заложил свое последнее пальто и заболел. Я слышал, что он и раньше здесь, в Париже, лишенный средств существования и больной, никогда никому не показывал своей нужды, скрывая ее из гордости. Я прошу Вас повлиять также на тех лиц, которые могут это сделать, чтобы они уделили немного внимания этому человеку, имеющему, по всем данным, большие заслуги. Если он болен, надо, чтобы кто-нибудь его навещил. Если у него нет средств, необходимо сделать все, чтобы помочь ему, не ожидая, пока он обратится с просьбой о помощи. Мне сказали, что он скорее умрет, чем поступит таким образом. Вчера здесь провели сбор пожертвований для него, и на этих днях ему пошлют немного денег...»

«О Врублевском мы уже получили сведения,— отвечал Энгельс из Лондона.—...Мы сделали все, что было в наших силах, но из-за упрямого и болезненно гордого характера этого человека нам пришлось действовать очень осторожно; тем не менее мы полагаем, что нам удалось добиться хотя бы того, что он по крайней мере не нуждается в самом необходимом».

Главное, Врублевский был уже недостижим для поли-

ции Тьера и, значит, спасен. А во Франции тысячи арестованных коммунаров еще ждали решения своей участи. Держали их в плавучих тюрьмах — понтонах, причаленных к берегу моря.

Свое письмо к Штакеншнейдер 25 ноября Лавров заканчивал так: «Пишу сегодня немного, потому что очень тороплюсь. Надо ехать по одному делу заключенного инсургента на понтонах, и еще много других дел скопилось сегодня».

Три дня спустя под Парижем был казнен один из военных руководителей Коммуны — Россель. И суд, и сообщение о казни произвели на Лаврова самое тяжелое впечатление. Перед судом Россель дрогнул. Попытался оправдаться, заявив, что служил Коммуне в надежде, что восстание коммунаров поведет к возобновлению войны с прусскими захватчиками. Написал покаянные письма. Но это его не спасло.

В тот самый день, когда в газетах было объявлено об этой казни, Лавров получил приглашение на обед к профессору Брока — по случаю основания антропологического журнала. Потом он рассказывал в письме к Штакеншнейдер: «Если Вас поразило убийство Росселя и других, то можете судить, что меня здесь это взволновало еще сильнее. За три дня перед тем, в небольшом кружке, меня уверяли, что не посмеют. Я доказывал, что может быть и точно не решатся, но посметь могут, и если посмеют, то никто не двинет пальцем. Посмели — ничего». А тут ему прислали приглашение на торжественный обед: «Я был так расстроен, что не хотел идти, но потом подумал, что стоит посмотреть французов (и еще из лучших) в интимной беседе в подобный день. К 7 часам я успел несколько поостыть. Прихожу. Разговоров было много, веселых, серьезных, и остроумных, и умных, люди были весьма недюжинные, причин не быть откровенными не было. И что же? Никто не гово-

рил о страшной новости, которая только что стала известна тому несколько часов. Я почти уверен, что едва ли кто думал об этом... В сущности смерть Росселя показала, что он был вовсе не то, что о нем думали. Слабенькая душа, пуждавшаяся в молитвах и излияниях, когда надо было играть историческую роль. И пошляки приятели его еще потащили в печать немедленно то, что следовало сжечь или припрятать. Но как же не напечатать интересный фельетон. Журналу прибавится подписчиков. Продастся лишняя тысяча экземпляров. Два су, помноженных на тысячу,— это сумма. В воскресенье я встретил какого-то молодого журналиста и, по праву варвара, разругал-таки их прессу». Ну, что еще можно было рассказать в письме из Парижа? «Погода петербургская. Холод. Снег на всех улицах. Недостает саней... Сегодня вечером камин был не топлён, и теперь пишу в холодной комнате. Ноги и руки совсем мерзнут».

Уже наступил декабрь. Он ждал возвращения Анны в Париж.

Наконец она вернулась, подруга сердечная, королева души его, «маленькое Величество»...

На улице Шоссе д'Антэн снял он квартиру, где они смогли поселиться вдвоем. Анна была снова рядом, и он почувствовал себя тут по-настоящему дома.

Квартира помещалась в «антресоле» (в Петербурге сказали бы — в бельэтаже). В этом же доме Анна снова открыла свою мастерскую искусственных цветов. В Париж она вернулась, имея надежный паспорт на имя Элен Вандаль, и это имя теперь написали на вывеске. Его помощником и красильщиком цветов стал польский эмигрант Станкевич, весьма деловой человек, он жил в Париже под именем Жан Блон.

В мартовский день 1872 года в квартиру на Шоссе д'Антэн явились неожиданные гости из России — трое незнакомых молодых людей: рослый и представительный

Александр Криль и его жена — из Петербурга, с ними вместе — помещик (вернее, сын помещика) Павел Байдаковский из Черниговской губернии.

Лавров пригласил их в кабинет. Преодолев первое смущение, молодые люди стали восторженно говорить о его «Исторических письмах» (псевдоним не скрыл его авторства, оно уже было известно многим), заговорили о том, какое сильное впечатление произвели «Исторические письма» на мыслящих читателей в России. Читали он в журнале «Дело» критическую статью, которую написал известный ему Шелгунов? В ней замечательно сказано, что автор «Исторических писем» — человек, «живо чувствующий в прошедшем настоящее и в настоящем будущее». Да, именно так! И вот теперь они трое — не только от своего имени, но также от имени их единомышленников и друзей — хотят предложить ему, Лаврову, предпринять издание за границей русского революционного журнала. Такой журнал необходим, его ждут. А если журнал окажется не под силу, то хотя бы сборники статей, корреспонденций из России. Вспомним «Колокол» — Герцен подал великий пример. Но Герцена нет в живых. Бакунин подорвал свой авторитет, проявив неразборчивость в выборе друзей — когда сблизился с Нечаевым. Среди русских общественных деятелей за границей лишь один человек вызывает полное доверие читателей в России, этот человек — он, Лавров.

Молодые люди сказали ему:

— Мы надеемся на вас.

Он поднялся с кресла взволнованный, они тоже встали, и он протянул им руки.

Да разве он мог отказать! Сегодня, как никогда прежде, он почувствовал, что жизнь его имеет высокий смысл. Он нужен России, о нем помнят, его слово не осталось гласом вопиющего в пустыне. Теперь вот ему предлагают издавать русский революционный журнал.

С чего же начать? Криль и его жена просили составить программу журнала — они отвезут ее в Петербург и там распространят в кругу передовой интеллигенции. Байдаковский заявил, что готов субсидировать журнал из собственных средств, — он, видимо, был человеком состоятельным.

К сожалению, все трое не называли имен возможных авторов журнала, живущих в России. Лавров подумал, что молодые люди, должно быть, считают себя не вправе разглашать имена литераторов, желающих печататься в революционном журнале тайно. Как выяснилось в разговоре, жена Криля, Софья, — родная сестра радикального публициста Петра Ткачева — уже три года он сидел в тюрьме. Можно было предположить, что один из возможных инициаторов — Ткачев...

Подумали о названии будущего журнала. Оно было выбрано сразу — «Вперед!».

Он представлял себе дело так: ныне русских литераторов, настроенных революционно, не удовлетворяют скудные возможности легальной печати, и вот они организовались для политической борьбы с помощью печатного органа за рубежом. Но никто из них не хочет или не может стать эмигрантом и тем самым отрезать себе пути возвращения в Россию. Они намерены нелегально, не открывая своих имен, печатать статьи по русским вопросам в будущем революционном журнале за границей и надеются, что его сможет издавать Лавров.

Значит, программа журнала должна соответствовать чаяниям передовых русских публицистов. Он знал их наперечет — по их опубликованным статьям: Шелгунов, Ткачев, Михайловский... Вот если бы еще Чернышевский мог войти в число будущих авторов журнала «Вперед!»... Ах, если бы! Но он был уже сослан в дальний угол

Сибири, в Виллюйск, и на его участие нельзя было надеяться.

Лавров решительно написал в программе, что журнал «Вперед!» будет бороться против несправедливости существующего общественного строя, а не против отдельных личностей.

Нужно было со всей определенностью отмежеваться от нечаевских методов, и он отметил в программе: «Средством распространения истины не может быть ложь».

Далее он указал на неизбежность революционной борьбы — независимо от того, стремимся мы к ней или нет. Написал: «Мы не призываем русский народ к мщению за тысячелетнюю эксплуатацию, не желаем новой удачной пугачевщины; напротив, мы первые готовы проповедовать примирение с прошедшим, если это прошедшее готово уступить лучшему будущему. Но мы считаем крайне невероятным, чтобы подобные уступки совершились добровольно в достаточно широких размерах; история не представляет никогда ничего подобного, и потому, желая мирного разрешения вопросов, мы все-таки говорим читателю: если оно невозможно, то готовьтесь к борьбе, как бы тяжела она ни была, скольких бы жертв ни стоила; готовьте к ней народ русский, так как может случиться, что ему предстоит лишь силою завоевать свое будущее, а оно должно быть завоевано».

Эту программу Криль и его жена увезли с собой в Петербург.

Байдаковский остался в Париже и вскоре привел к Лаврову и представил своего земляка Сергея Подолипского, молодого крепыша с едва пробивавшимися усами и бородой. Оказалось, это сын известного поэта пушкинской поры Андрея Подолинского (отец был жив, но стихов давно уже не писал и был прочно забыт читателями).

Сергей Подолинский рассказал Лаврову, что окончил Киевский университет по естественному факультету и

теперь приехал в Париж — заниматься в высшей Медицинской Школе. Он только что узнал об идее создания революционного журнала и горячо желает содействовать. Для начала готов проехать в Цюрих: там, в университете и в Политехникуме, множество студентов из России. Среди них он сможет найти желающих принять участие в работе редакции будущего журнала, трудиться в будущей русской типографии.

Но согласятся ли они оставить Цюрих? Все-таки наиболее подходящим местом для издания революционного журнала представлялся Лаврову не Цюрих, а Лондон. Ведь там обосновался Генеральный совет Интернационала, там образовался центр революционной эмиграции европейских стран...

В мае Подолинский и Байдаковский выехали в Цюрих. Лавров решил отправиться в Лондон и договорился с Подолинским, что будет ждать его там. Дал ему адрес Германа Юнга.

В Лондон Лавров прибыл 5 июня, и очень скоро Юнг передал ему письмо из Цюриха. Подолинский сообщал: «Только что возвратился я с вокзала, куда проводил Байдаковского, который поехал в Россию на Вену и Львов... Просил меня написать Вам, что он привезет три тысячи рублей собственных денег и что, по его мнению, можно начать с этой суммой». Далее в письме сообщалась неприятность: Криль и его жена «были дважды напрасно обысканы, раз на границе, другой — в Питере. Затем он был вызван в III отделение и подробно допрошен. Ему показали письмо, в котором говорится об издании и о том, что Криль должен везти в Россию программу, Вами написанную, и тому подобные вещи».

Это означало одно: молодые люди не умели держать язык за зубами и в кругу парижских знакомых разболтали (может быть, «под строгим секретом») свои планы. Не годились они в конспираторы!

В июле он получил большое письмо от одного из редакторов «Отечественных записок» Елисеева. Не из России: сейчас Елисеев отдыхал на курорте с минеральными водами — в Бад-Киссингене, в Германии, поэтому письмо его пришло в Лондон с обычной почтой.

Елисеев писал: «Незадолго до моего отъезда за границу один умный и подающий большие надежды в будущем молодой литератор, мне близкий, сообщил мне по секрету, что за границей основывается издание, к участию в котором приглашают и его, но что он затрудняется и недоумевает о характере издания, судя по лицам, в нем участвующим». — Видимо, тут подразумевались литераторы, к которым обращался Криль. — «Во-первых, все эти лица крайне разношерстные по воззрениям; во-вторых, каждое из них по одной странице будет узнано очень многими в России... Впрочем, они могут быть полезны для издания... В этом смысле, согласно слову Спасителя: кто не против нас, тот за нас, никто не может быть пренебрегаем... Если бы во главе этого издания становились Вы, то я Вам решительно бы это отсоветовал. По моему мнению, Вам всеми силами следует добиваться возвращения в Россию. Появление Ваше там и основание Вами там же литературного органа принесло бы великую пользу правильному движению. Сколько я понимаю, Ваша репутация никогда не стояла в России так высоко, как теперь, и я думаю, что ничье слово для толпы не может иметь столько весу для разогнания разных сов, гарцующих теперь в литературе, как Ваше. Говорю Вам это совершенно искренно. — Что же делать теперь? — спросите Вы. Потерпите немного и делайте то же, что делали доселе. Правительство, видимо, Вами довольно. Оно ведь ожидало, что, выехав за границу, Вы начнете действовать, как Герцен. Вы, между тем, сидите себе совершенно спокойно». — Так могло казаться со сто-

роны! И ведь Елисеев его хвалил, по Лавров подобную хвалу мог воспринять только лишь как серьезный укор!

Он ответил Елисееву, что на участие в новом издании смотрит как на свой долг. Конечно, он надеется вернуться в Россию, но просить милости у царского правительства никогда не станет.

Елисеев прислал еще одно письмо. Он предупреждал, что участие кого бы то ни было в новом издании тайной оставаться не сможет, люди не умеют хранить секреты. «В обыденной жизни каждая зарождающаяся мысль или намерение разбалтываются немедленно и делаются всем известными, и притом всегда с бесчисленными украшениями... Один из членов нашей редакции, вскоре после вашего выезда за границу, рассказывая где-то в дружеском кружке о Вашем бегстве, между прочим сказал, что редакция заплатила Вам за статьи незадолго перед этим 600 р. Недели через две или три после этого вдруг я слышу от одного господина рассказ, который был рассказываем уже на большом вечере, как редакция «О. з.» устроила Вам бегство».— Тогда, видать, Елисеев был страшно обеспокоен — ожидал, что подобный слух принесет редакции «Отечественных записок» новые неприятности...

«Человек, написавший или переведший какую-нибудь запрещенную статью, предполагает уже, что он спас Россию, и никак не может просто и спокойно относиться к этому факту. Ему уже кажется, что он что-то совершил, и это так написано у него на лице, пока он не опростается перед кем-нибудь, т. е. не расскажет своей тайны».— Елисеев писал это с иронией и даже, кажется, с раздражением.— «Еще одно: Вам скажут, что с материальной стороны издание будет обеспечено. Не полагайтесь на слова. Когда игроки садятся играть в карты, то требуют, чтобы каждый играющий положил известную сумму денег на стол. Это может быть и не очень деликатное тре-

бование, но основанное на глубоком познании слабости человеческой природы».

Вот это последнее замечание Елисеева было, как это ни печально, вполне здравым, но не мог же Лавров требовать деньги на стол...

Он знал Елисеева как человека умудренного жизненным опытом и, что называется, тертого, но принять его позицию означало сложить руки и ждать у моря погоды, дождинка в четверг. Нет, с подобным скептицизмом жить — дышать нечем!

Удручали его и последние письма Елены Андреевны, ее нападки на Парижскую Коммуну. На ее представление о коммунарах явно влияли статьи в реакционных газетах, где о коммунарах писалось как о жадных до денег грабителях. Такое представление надо было решительно опровергнуть. Не называя по имени бывшего коммунара Лео Франкеля, эмигранта из Венгрии, и Врублевского, Лавров привел их в пример: «...опишу Вам положение двух из них: один был министром Коммуны, имел сотни тысяч в руках; я хожу иногда по утрам в воскресенье к нему на чердак, где он спит, работает среди разных химических частей и ведет переписку с далекими странами. Всю неделю он работает на фабрике, и потому видеть его нельзя. Другой, бывший главнокомандующий целого отдела армии, защищавшей Париж, лежит больной от старых ран, и между тем, когда я был у него последний раз, он говорил мне, что, не имея возможности более платить за квартиру, отныне будет бродить, проводя где день, где ночь. Он тоже имел в руках огромные суммы. Судите, как хотите, а для меня эти люди стоят уважения: они имели хорошее и крепкое убеждение; сделали для него, что умели, без всяких эгоистических расчетов, и, несмотря на удары судьбы, идут все решительно по той дороге, которую им указало их убеждение».

В следующем письме к нему Елена Андреевна пыта-

лась объяснить свое отрицательное отношение к Коммуне. Написала, что, судя по газетам, не все коммунары были такие бессребреники, как его друзья, которых он привел в пример, были среди них и сомнительные личности. Коммунары в Париже взяли на себя ответственность, которую не смогли оправдать, и вообще она лично больше не верит, что бесчисленные жертвы и кровавые потрясения могут оказаться оправданными. Все бесполезно.

«Можно укрепить знания, но веру укрепить нельзя,— сухо отвечал ей Лавров,— поэтому, если Вы потеряли веру в самую возможность лучшего строя общества, достигнутого путем бесчисленных жертв и кровавых потрясений, то я не в состоянии укрепить этой веры». Что же касается парижских коммунаров, то ведь они сделали что могли. У них было слишком мало времени, чтобы лучше продумать свои действия. «И разве союзников в такую минуту можно выбирать? Разве не неизбежно интриганы, воры, спекуляторы втираются в подобных случаях всюду, и втираются тем в большем числе, чем больше личностей воздерживается от участия в движении, боясь запачкаться. Все это фатально; все это было и будет во всех революциях... Не надо и бранить очень людей, которые решились взять власть в трудную минуту... Это были люди мысли и дела. Одни погибли, как Варлен, другие работают на чердаках, как Франкель».

Нет, не бесполезны такие жертвы, такая жизнь.

До него дошли слухи из России о каком-то «екатеринославском деле» — в августе прошлого года у кого-то там был обыск и кого-то выслали, и как будто бы его дочь Маня была в этой истории замешана...

И вот теперь письмо от Мани было первым, что передал ему из рук в руки Подолинский,— вечером 12 августа он приехал в Лондон. Письмо не имело обратного



адреса и было написано... в декабре. Как же долго оно путешествовало по рукам!

«Теперь я в Питере, но ненадолго,— писала Маня.— На рождестве уезжаю на юг по совету доктора и если отпустят власти, то летом буду у тебя».— Ну вот, лето уже подходило к концу, она не приехала, значит, власти не отпустили...— «Нисколько не сомневаюсь, что тебе интересно знать подробности моего так называемого екатеринославского дела, по так как последствия его очень грустны и мне вообще неприятно о нем вспоминать, то постараюсь объяснить тебе все вкратце. Когда я приехала к моей свекрови на хутор в двух верстах от Екатеринослава, меня приняли очень хорошо, тем более, что она сама упрашивала меня к ней приехать погостить лето и даже, если я сошлусь с ее младшим сыном, а моим деверем. Начались сцены материнской ревности, вообще сцены и т. д. Я нашла, что я человек свободный и вовсе не обязана выносить неприятности. После одной из очень крупных сцен я взяла и ушла в город с этим самым сыном. Нашелся там его приятель, некто Ортынский, человек очень порядочный, а следовательно очень бедный. Я ему предложила поселиться с нами. Поселились втроем. Хуторские взбеленились, преследовали нас, и в особенности сына, угрозами смиренным домом и т. п. Жили мы очень скромно. Приходили к нам гимназисты и один студент... Пели малороссийские песни и — больше ничего».— Ну, это, вероятно, не совсем так — умалчивает Маня о чем-то, конспирации ради или ради того, чтобы отца не слишком беспокоить...— «Вдруг обыск, за ним другой. Думала я ехать на днях в Петербург, но с нас взяли подписку о невыезде. Хуторские опешили и обещали хлопотать и оставить нас в покое, когда это дело кончится. Тянулось оно ровно два месяца. Наконец пришла отсюда секретная бумага с предписа-

нием препроводить Ортынского немедленно в Киев к родителям, Эммануила Федоровича (моего деверя) на хутор к родителям. А мне приказано через три дня выехать из Екатеринослава и не возвращаться туда... Больше всех пострадал Ортынский. На днях его выслали из Киева в Вологду... Из-за чего это все, мы никто не знаем... Сынишка мой еще у свекрови. Проездом я его возьму. Он славный мальчишка».

Письмо это ужасно расстроило Петра Лавровича. Расстроило не только известием об арестах. Письмо было написано в таких странных выражениях... Она не написала, что полюбила своего деверя, ее ровесника, написала: «сошлась»... Вот так, просто-напросто! И куда ей писать ответ — неизвестно. В Петербург? Или в Екатеринослав?..

Когда он отложил письмо в сторону и немного пришел в себя, Подолинский приступил к своему рассказу — уже на совсем другую тему.

Рассказ его был совершенной неожиданностью. Как выяснил Подолинский, вовсе не от литераторов пришел к Лаврову призыв издавать революционный журнал. Инициатива целиком принадлежала студенческим кружкам в Петербурге и в Москве. Будущий журнал, как заверял Подолинский, с энтузиазмом поддержат также многие русские студенты в Цюрихе.

В первый момент Лавров несколько растерялся. Его представление о русских литераторах, мечтающих о заграничном журнале, оказалось совершенным заблуждением. И на этом заблуждении он уже мысленно строил, как воздушный замок, будущий журнал...

Так что же — отказаться от планов издания? Нет, это невозможно. Нельзя же обмануть чаяния тех, кто обратился к нему. Ведь он сам в «Исторических письмах» печатно заявлял: «Отойти в сторону имеет право лишь тот, кто сознает себя бессильным». И не имеет он морального права отойти в сторону теперь. Особенно

после того, как печавские методы бросили теперь на русское революционное движение...

— Кстати, где теперь Нечаев?

Подолнский рассказал, что Нечаев сейчас живет в Цюрихе. Он очень приметлив: носит синие очки, клеенчатую фуражку и клеенчатый плащ. Постоянно держит в кармане револьвер и, ложась спать, кладет его под подушку. Серьезного влияния на студентов Нечаев, к счастью, не имеет. Теперь за ним в открытую стала охотиться швейцарская полиция.

Через несколько дней после этого разговора с Подолнским Лаврову бросилось в глаза газетное сообщение из Цюриха: Нечаев арестован. Полиция схватила Нечаева в саду дешевого ресторанчика: он едва успел сесть за столик, как ему сцепили руки наручниками. Увели в тюрьму, а оттуда под охраной отправили в Россию — он выдан как уголовный преступник...

Жалости к Нечаеву Лавров не испытал, но был удручен согласием швейцарских властей выполнить требования царского правительства. Чего доброго, согласятся выдать и других беглецов...

Подолнский уехал в Париж и намерен был в ближайшее время съездить домой, в Россию.

Петр Лаврович не был склонен к откровенности во всем, что касалось его личной жизни. О своих отношениях с Анной предпочитал никому без необходимости не рассказывать, не писать.

До сих пор эта поздняя любовь Лаврова скрыта от нас покровом тайны.

Неизвестно, по какой причине Анна Чаплицкая в начале августа 1872 года поехала из Парижа в Брюссель. И дальше, в город Вербье, на востоке Бельгии, и в Голландию. А в середине сентября где-то в Голландии (он так и не узнал, в каком именно городе) она внезапно

умерла. Отчего — неизвестно. И ведь ей было всего тридцать два или тридцать три года!

Совершенно чужие люди, путешественники из России, оказались в эти последние дни рядом с ней. Вещи ее и бумаги они переслали Лаврову в Лондон. Можно предположить, что из Голландии — на пароходе — в Лондон был перевезен и гроб с ее телом, потому что 22 октября, то есть месяцем позже, Лавров признавался в письме к Штакепшнейдер: «...есть в Лондоне одно место, которое имеет для меня печальную притягательную силу. Туда никто, кроме меня, не пойдет, потому что я один его знаю, и если бы даже я поселился вне Лондона, то посещать его я должен». Если тут речь идет не о могиле Анны Чаплицкой, то о чем?..

Несчастный, опустошенный, вернулся он из Лондона в Париж в начале октября. Вещи Анны отослал ее матери в Варшаву. Мастерскую искусственных цветов передал в полное владение Станкевичу. Правда, не смог это юридически оформить, так как не имел нужного документа — свидетельства о смерти Элеи Ваудаль, то есть Чаплицкой.

Осенний Париж был для него пуст, и вечерами в квартире на Шоссе д'Антэн он оставался наедине со своим горем. И не было возможности одолеть тоску задушевной беседой — не с кем было ее вести. Заглушать тоску вином не умел — никогда его не тянуло к вину...

Неожиданное письмо получил он от Александра Линева, товарища по ссылке, — с ним виделся последний раз при отъезде из Тотьмы... Теперь Линева писал — кто бы мог подумать! — из Цюриха: «Многоуважаемый, дорогой Петр Лаврович! Как видите, мой жребий брошен: я тоже эмигрант! Мое 6½-летнее терпение ни к чему не послужило; все мои надежды об освобождении, мечты о возможности окончить свое образование и сдать экзамен

систематически рушились...» — А ведь у Линева проявлялись несомненные технические способности, из него мог выйти прекрасный инженер. Но вот и он бежал через прусскую границу — «перешагнул шлагбаум неподалеку от Эйдкунена». Теперь готовился к необходимому вступительному экзамену в цюрихский Политехникум.

В ответном письме Лавров от души поздравил его с благополучным прибытием, выразил надежду на скорую встречу. И, конечно, не мог не известить о смерти Анны Чаплицкой.

Пришло еще письмо от сына Михаила из Воронежа. Теперь он, оказывается, жил там. Занял место «кассира по выдаче товаров» на железнодорожной станции, получает семьдесят рублей в месяц, имеет на станции бесплатную казенную квартиру. Надеется, что через год-два эту службу сможет оставить. На что рассчитывает потом — не написал. Скорее всего, надеется найти себе место, где жалованье побольше... Извещал в письме о младшем брате своем Сереже: «Сережа не выдержал экзамена в гимназии и вышел оттуда». — Не выдержал экзамена в гимназии! Петр Лаврович не верил своим глазам, читая письмо: подумать только — его сын не выдержал! Какой стыд... Теперь, значит, Сережа приехал к старшему брату в Воронеж и, наверно, тоже будет служить на железной дороге. Вот, собственно, и все их новости. — «Что делается в Петербурге, я совершенно не знаю», — написал Михаил. Должно быть, он этим не особенно интересовался...

Конечно, Петр Лаврович не стал сообщать сыну о смерти Анны. А вот Елене Андреевне 30 октября написал так, что многое можно было прочесть между строк: «Стараюсь работать, и, пока глаза не утомляются, все хорошо еще или, по крайней мере, сносно. Помогают к стати и разные соотечественники и соотечественницы, бог знает откуда налетевшие и налетающие в Париж и

являющиеся в мою маленькую компату. Их дела большею частью развлекают или отвлекают. Но ужаснее всего улицы, где все углы полны воспоминаниями. Если бы я по очепь уж выработал в себе скептицизм и умственную критику, я совершенно уверен, что стал бы теперь спиритистом и был бы гораздо более счастлив и доволен, чем теперь. Но и для этого нельзя уступать единственного достоинства человека — трезвой мысли. А признаюсь, иногда хотелось бы... Когда я разбираю то, что я чувствовал, думал и делал эти полтора месяца, то сознаю, что поступал в значительной доле так, как надо бы поступать, если бы я верил в бессмертных духов и душ, видящих нас, слушающих нас и могущих быть довольными или недовольными тем, что мы делаем, могущих страдать или радоваться... Впрочем, перестаю. Вы не можете себе представить, как меня волнуют, раздражают эти немногие строки, которые я пишу Вам одной, пишу намеками, и которые так хочется писать. Но к чему? надо отвыкать...»

«Известие о смерти Анны Павловны меня глубоко опечалило,— написал ему Линеv.— Много, много постаралась эта энергичная и великодушная женщина, и не одно доброе слово будет произнесено ее знакомыми в память о ней».

Приехал в Париж Сажин.

Он пришел к Лаврову и мог, наконец, рассказать о последних днях, проведенных им в Париже после подавления Коммуны. Тогда проводились повальные обыски целых кварталов и массовые аресты подозрительных лиц. Консьерж дома в проезде Сен-Мишель, вскоре сам арестованный, успел предупредить Сажина о предстоящем обыске. Сажин укрылся в лазарете у Вырубова, трое суток провел там. Затем благополучно уехал с Лионского вокзала в Цюрих.

В Швейцарии Сажин вернулся в ряды приверженцев Бакунина, это было неудивительно. Страшно, что он и с Нечаевым остался накоротке — несмотря ни на что! Арестованный в Цюрихе Нечаев почему-то именно Сажину послал записку из тюрьмы — поручил ему весь свой архив, оставленный в Париже у некоей мадам Клеман. Ранее Нечаев даже показывал Сажину опись этого архива, где, между прочим, хранились письма, выкраденные у Огарева и Бакунина. Вот какое доверие Нечаева заслужил Сажин! Но почему? Что между ними общего?.. Вопрос оставался без ответа, но столь явное доверие Нечаева к Сажину Лаврова насторожило.

Ради нечаевских бумаг Сажин приехал теперь на несколько дней в Париж. Уже узнал из адресной книги, что в городе проживает не одна сотня лиц с фамилией Клеман. Обойти самому всех мадам Клеман в Париже, конечно, было трудно, и он попросил Лаврова принять участие в розыске. Бумаги Нечаева, несомненно, стоило найти и сохранить, поэтому Лавров согласился этим заняться. Взял на себя поиски в округе Батиньоль.

На второй день в одном из переулков возле театра Одеон нужную мадам Клеман разыскал Сажин. Он заплатил ей по счету триста франков — денежный долг Нечаева. Забрал все его бумаги и сложил в чемодан, а книги, журналы и газеты — в два мешка. Решил сразу увезти с собой в Цюрих чемодан, с мешками же можно было не торопиться.

Лавров также собирался в Цюрих и согласился захватить мешки — отправить со своим багажом, когда поедет.

В Цюрихе он хотел познакомиться с русскими студентами и найти среди них единомышленников, будущих друзей. В том, что найдет, не сомневался.

Сомневался он лишь в возможности начать издание журнала в ближайшее время: не было средств. Подолип-

ский съездил в Россию и теперь сообщал из Цюриха: «Самым скверным вопросом остается все-таки вопрос денежный». Байдаковский подвел: он, оказывается, обещал три тысячи, которых еще не имел и только рассчитывал получить — неизвестно, каким образом, но расчеты его не оправдались. Петербургский студенческий кружок обещал собрать в ближайшее время тысячу триста рублей и предлагал с этой суммой начать.

Пора было отправляться в Цюрих. Все толкало его туда: мысли и заботы о будущем журнале, его нынешняя одинокая жизнь в Париже, где он так редко видел друзей, а изо дня в день встречал одного Станкевича, совершенно, в сущности, постороннего человека, поглощенного одной мыслью: как бы подзаработать...

Лавров признавался в письме к Елене Андреевне Штакеншнейдер: «...до сих пор меня не могли удовлетворить никакие отвлеченные отношения с читателями, которых я не знаю и не вижу. Они могли составить долю, даже весьма значительную, моей жизни, но я пужался в *живых* товарищах жизни, симпатии которых или, по крайней мере, сочувствие моей мысли я мог бы видеть, слышать, ощущать».

В другом письме к ней он пожаловался на холодность дочери: так редко пишет...

«Вы ее плохо знаете,— ответила Елена Андреевна.— Она прежде всего Ваша дочь, т. е. у нее та же закваска. Она обложила себя льдом, а внутри горячо...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поезд привез его в Цюрих в холодный ноябрьский день. На вокзале встречали его Подолинский, Линева и еще незнакомые молодые люди — цюрихские русские студенты. Такие хорошие молодые лица... Крепкие пожатия рук... Лаврова приветствовали радостно, шумно. Подхватили его багаж.

Вышли с вокзала, в нанятом экипаже покатали по каменной мостовой. За мостом через быструю реку Лиммат въехали в правобережную часть города на пологом склоне горы Цюрихберг.

Лаврову показали огромное, на вид мрачноватое здание — Политехникум. А где университет? Оказалось, университет отдельного здания не имеет. Лекции для его студентов читаются в аудиториях Политехникума...

Выше и выше в гору поднимался экипаж, и взгляду открывались вдали снежные вершины Альп. Открылось и заблестело Цюрихское озеро. Видно было, что черепичные крыши старого города потемнели от времени и даже кое-где поросли травой.

Сразу за городской чертой началось предместье Готтинген. Осенние листья слетали с деревьев на мостовую. Экипаж остановился возле дома, где Лаврову, как желанному гостю, уже приготовили комнату при русской студенческой библиотеке. Здесь его встретили студенты-медики Валерьян Смирнов и его невенчанная жена Розалия Идельсон. Они вдвоем ведали библиотекой. Смирнов, щедушный и экспансивный молодой человек с курчавой светлой бородкой и живыми глазами, представился как горячий сторонник будущего революционного журнала «Вперед!».

Выгрузив с помощью молодых друзей свой багаж, Лавров отделил два мешка Сажина — с книгами, журналами и газетами. Отправил их с посыльным. Тут же выяснилось, что Сажин известен в Цюрихе только под именем Арман Росс и никому не открывает своей подлинной фамилии. Лавров этого не знал и невольно разгласил секрет.

Сажин-Росс возглавлял в Цюрихе круг бакунистов. Говорили, что авторитет у него среди русских студентов большой. С этим придется считаться, если ставить себе задачу объединить их вокруг нового издания...

Программу журнала размножили литографским способом — потрудился петербургский кружок. Литографированные экземпляры программы уже были доставлены в Цюрих. Лавров взял один экземпляр и сам пошел к Сажицу.

Сажин принял его сухо. Поблагодарил за привезенные мешки с книгами. Листы программы журнала взял, по так небрежно, что можно было понять: он вовсе не ждет, что написанное Лавровым может оказаться для бакунистов приемлемым.

Лавров был раздосадован. Но, прежде чем уйти, спросил Сажина, как тот собирается использовать печаетевский архив.

Ответ был самым неожиданным. Сажин спокойно заявил, что бумаги Нечаева он сжег. Но почему? Потому что вместе с приятелями решил: хранить их незачем. Что же он обнаружил в этих бумагах? Ну, во-первых, сотни полторы или две карточек — целый каталог всех известных Нечаеву русских революционеров. На одной стороне карточки были зашифрованы фамилия, имя, отчество, иногда и кличка, на другой — без всякого шифра приводилась полная характеристика этого человека — с точки зрения Нечаева. По характеристикам можно было расшифровать имена без особого труда. Легко представить себе, какую ценность имели бы эти карточки для Третьего отделения. Просто клад! А еще были письма, выкраденные Нечаевым из письменных столов Бакунина и Огарева. В том числе — письма Герцена и Тургенева. Но Сажин и его приятели не питали почтения к этим именам, письма Герцена и Тургенева также бросили в огонь. Что и говорить, нигилисты!

Для через три Лавров решился зайти к Сажину снова — со всей определенностью выяснить, что думает тот о программе «Вперед!» после того, как ее прочел. Должен же он был ее прочесть!

— Знаете, Петр Лаврович,— без обиняков сказал ему Сажин,— нам вообще говорить не о чем. Мы друг друга не поймем. У нас нет общих точек для разговора.

Вот так. Говорит: «Мы друг друга не поймем»,— и понимать не желает...

— Ведя с вами переговоры, я, конечно, разумею не вас лично, а то направление, которое вы представляете,— хмуро проговорил Лавров.

Сказал, что он готов к совместной работе в журнале с Бакуниным и его сторонниками, готов согласовать с ними программу...

Сажин замотал головой. Ответил, что не стоит подробно разбирать предлагаемую программу и пытаться согласовать ее. Все равно к соглашению не прийти.

Продолжать удручающий этот разговор не имело смысла, оставалось только раскланяться.

Лавров вернулся в Париж в начале февраля 1873 года. Вернулся на несколько недель, решив к весне окончательно расстаться с Парижем и перебраться в Цюрих. Надеялся, что весной можно будет наконец приступить к изданию журнала. Такой надежный человек, как Ливнев, обещал помочь в деле создания типографии. Приобрести печатный станок было нетрудно, труднее — достать русский шрифт.

Теперь уже было ясно, что на поддержку цюрихских бакунистов рассчитывать не приходится. Программу «Вперед!», далекую от анархистских идей Бакунина, Сажин-Росс воспринял как совсем не революционную. Но если бы только Росс! Выяснялось, что многим цюрихским студентам программа эта показалась сухим теоретическим трактатом. Видимо, в самом деле ей не хватало страстности, категоричности — всего того, что свойственно натурам увлекающимся, молодым... В Цюрихе Лавров напечатал — в более категорических выражениях — второй вариант программы. Надеялся, что выправленный текст ее

привлечет к журналу больше сторонников... В декабре устроили встречу: Лавров, Смирнов, Подолыпский — с одной стороны, Росс и его друзья-бакунисты — с другой. Лавров заявил, что готов на дальнейшие коррективы в программе, но поставил условием: редактировать журнал будет он сам. Росс настаивал на разделении редакции между обеими сторонами. Разделить редакцию значило допустить Росса на роль второго редактора. Ну уж нет, на это Лавров согласиться не мог. Разошлись, никакого соглашения не достигнув...

Сейчас, в Париже, он принялся писать третий, окончательный вариант программы — уже без оглядки на предполагаемых союзников. А еще он должен был подготовить важнейшие статьи для первого тома «Вперед!».

Его пригласил к себе Вырубов. От имени Ивана Сергеевича Тургенева и от своего имени попросил рассказать им о планах будущего издания: слух о нем уже распространился. С Тургеневым еще в Петербурге Лавров был пемного знаком. Можно сказать, шапочно знаком.

Он пришел на улицу Изящных Искусств, и в роскошном кабинете, увешанном картинами, его принял Вырубов. В черной шелковой «профессорской» ермолке этот русский парижанин казался старше своих лет, но, как видно, этого и хотел: возраст придает солидности... Пришел Тургенев, седой и удивительно красивый; он был одет с величайшей аккуратностью, его белая сорочка была безукоризненно свежей. Расположились в креслах, Вырубов повел разговор.

Лавров охотно рассказал о программе журнала, о своих будущих сотрудниках, цюрихских студентах. В чем он видит свой нравственный долг? В том, чтобы оправдать доверие русской интеллигентной молодежи, ищущей путей к революции и пришедшей за советом к нему...

В светло-серых глазах Тургенева поблескивала явная

заинтересованность. Он выразил желание съездить в Цюрих и поближе познакомиться с передовой русской молодежью. Он обдумывал новый роман.

Несколько дней спустя, когда Лавров уже готовился к отъезду, консьерж передал ему записку, оставленную Тургеневым: «Был у Вас, но, к сожалению, не застал Вас дома. До свидания в Цюрихе!»

Лавров покидал Париж. Квартиру оставлял Станкевичу. Оставлял вместе с мебелью, за которую Станкевич обязался в течение двух лет выплатить триста франков. Издателю революционного журнала никак нельзя было деньгами пренебрегать.

Из письма Подолипского он узнал, что получены деньги, собранные петербургским и киевским студенческими кружками, — более пяти тысяч франков. Из них две тысячи предстоит уплатить за типографию — наборные кассы, печатный станок и русский шрифт. Все это Линеv уже мог приобрести в Женеве...

Вернувшись в Цюрих, Лавров написал 30 марта Вырубову: «Я поселился на горе, с которой очень красивый вид на озеро и дальние горы». В солнечные дни сверкали белизной снежные вершины с синими тенями. Ниже — зеленели луга и леса. Берег озера отражался в его спокойном зеркале. Воздух был чист и свеж.

Весеннее солнце слепило глаза, блестел подсохший гравий на тротуарах, вот-вот готовы были лопнуть почки на деревьях, в окнах домов сияли вымытые стекла, переливаясь всеми цветами радуги...

Двухэтажный деревянный дом на склоне Цюрихберга, в предместье Флюнтерн, где он теперь жил, назывался Форстхауз (Дом лесничего), но был окружен не лесом, а виноградником. В этом же доме занял комнату и его молодой друг Валерьян Смирнов.

Линеv привез из Женевы печатный станок и наборные кассы, их поставили в полутемном сарае возле

Форстхауза. Вскоре, попутно осваивая типографскую работу, отпечатали программу журнала.

Листы программы, еще пахнущие типографской краской, раздавали студентам в Цюрихе. Ее посылали в Петербург и по многим другим адресам.

Текст программы гласил:

«Будущий строй русского общества, осуществлению которого мы решили содействовать, должен воплотить в дело потребности большинства, им самим сознанные и понятые. При малой грамотности и при неподготовленности большинства мы не можем обратиться прямо к нему с нашим словом. Мы обращаемся с ним к той доле цивилизованного русского меньшинства, которая понимает, что будущее принадлежит народу.

...Лишь уясняя народу его потребности и подготавливая его к самостоятельной и сознательной деятельности для достижения ясно понятых целей, можно считать себя действительно полезным участником в современной подготовке лучшей будущности России.

Лишь тогда, когда течение исторических событий укажет само мигу переворота и готовность к нему народа русского, можно считать себя *вправе* призвать народ к осуществлению этого переворота.

...И теперь призываем всех сочувствующих нашей программе с нами — ВПЕРЕД!»

За время отсутствия Лаврова в Цюрихе разгорались жаростные споры между его сторонниками и сторонниками Бакупина. И не только из-за идейных разногласий. Лавровцы противились настойчивому стремлению Сажина-Росса играть руководящую роль в кругу студентов и даже в студенческой библиотеке. А в этой библиотеке уже накопилось несколько тысяч томов на русском, французском и немецком языках, и можно было прочесть едва ли не все напечатанные сочинения Герцена и Бакупина.

Росс однажды громогласно заявил: «До сих пор в библиотеке без моего ведома даже чернильницы не покупалось — так было раньше, так останется и впредь!» Эти его претензии на право распоряжаться вызвали бурные возражения. Лавровцы организовали свою библиотеку отдельно. Смирнов отказался ведать библиотекой, он желал целиком посвятить себя подготовке издания «Вперед!».

С огорчением и досадой Лавров замечал, что отношения в студенческой среде все более обостряются. Однажды, возвращаясь к себе в Форстхауз, он услышал крик: «Смирнова убили!» Ошеломленный, он ускорил шаг, затем побежал. Его увидел студент Кулябко-Корецкий и крикнул: «Смирнов жив, спешу за доктором!»

Смирнов лежал дома, его лицо было в ссадинах и кровоподтеках. Оказалось, у него произошел крайне резкий разговор с одним из друзей Росса, человеком вспыльчивым да еще к тому же склонным к горячительным напиткам, который схватил щуплого Смирнова за волосы и стал бить лицом об пол, пока тот не потерял сознание. Это было ужасно. Даже если в споре Смирнов был неправ, избивать его — значило воскрешать нечаевские методы расправы с несогласными. Друзья его не сомневались, что избиение подстроено Россом как месть за то, что Смирнов, прежде примыкавший к бакунистам, покинул их ряды. Доказать это никто не мог, но, по всей видимости, так оно и было...

Исправленный текст программы «Вперед!» Лавров считал своим долгом послать Бакунину, который жил в итальянской части Швейцарии, в Локарно. Послал и письмо. В письме рассказал, что пытался договориться о сотрудничестве с группой лиц, именующих себя друзьями Бакунина, но успеха не добился. И теперь даже очень рад, что не добился, — после прискорбного происшествия

в последние дни. Эти люди, возможно, попытаются противопоставить Бакунина Лаврову и его молодым помощникам, по он, Лавров, хотел бы верить, что пет ничего общего между цюрихскими бакунистами и Бакуниным, именем которого они прикрываются.

А 15 апреля Лаврову передали записку: Бакунин извещал, что прочел его письмо и сегодня прибыл в Цюрих. Предлагал встретиться. Лавров послал ответную записку — пригласил его к себе в Форстхауз 16-го днем. Хотел, чтобы столь важная встреча состоялась при свидетелях, и пригласил также двух молодых своих сторонников: Николая Кулябко-Корецкого и князя Александра Кропоткина.

И вот Бакунин пришел — грузный, с растрепанной седой гривой, в рубашке с расстегнутым воротом. И хотя Лаврова тоже ростом бог не обидел, Бакунин оказался выше на полголовы. Пришел он, опираясь на сучковатую палку, шумно дыша, в сопровождении двух молодых бакунистов (однако Росса он все же с собой не позвал). Поздоровались, обнялись по русскому обычаю, и Лавров сказал, что давно желал познакомиться. Они сели рядом на диване, молодые люди расположились на стульях.

Бакунин отдышался и начал разговор. Сиплым басом сказал напрямик, что путь, предлагаемый Лавровым, это путь медленный, долгий и потому для него, Бакунина, неприемлемый. Тем не менее нужно стремиться к обоюдному согласию. Для борьбы с общим врагом, царизмом, необходимо объединение сил.

Лавров ответил, что уже искал путей к сближению, но группа Росса предъявила претензии, на которые не имеет морального права. Теперь же, после избиения Смирнова, он, Лавров, не считает возможным действовать совместно с группой, прибегающей к столь диким методам политической борьбы. Бакунин нахмурился и прервал

его — заявил, что обвинения против Росса и его группы в предумышленном нападении на Смирнова неосновательны. Лавров с этим не согласился. Его тут же с убежденностью поддержал Александр Кротоцкий.

О чем еще было говорить? Распрощались, и Бакунии сразу уехал из Цюриха.

Странно получалось: еще не приступив к изданию журнала, лишь огласив свою программу, Лавров уже слышал нарекания со всех сторон. Одним его намерение представлялось недостаточно смелым, другим — напротив, чем-то самоубийственным.

Елене Андреевне Штакеншнейдер казалось, бедной, что, взявшись издавать зарубежный журнал, он подставляет голову под неизбежный удар со стороны царского правительства и, значит, приносит себя в жертву... Страхи свои она высказала в письме — нужно было убедить ее, что она ошибается! Ведь он просто не имел нравственного права отказаться от предложения издавать «Вперед!». «Хотя тогда (это было год тому назад), — признавался он в ответном письме, — я имел и личную жизнь, крепко сросшуюся со мною, хотя я знал, что много неприятностей, расстройств в этой жизни, и расстройств материальных, принесет мне решимость моя. Я чувствовал, что должен идти, и пошел не колеблясь». Надо же быть последовательным! Нельзя, написав «Исторические письма», напомнив другим об их общественном долге, самому отсиживаться в стороне!

«Между тем рухнуло у меня под ногами все, все, что составляло мою личную жизнь», — он этого не скрывал в письме. Но это не значило, что жизнь потеряла смысл. Остался перед ним его общественный долг...

В прошлом году Александр Критель сообщал о соглашении Михайловского писать статьи для журнала «Вперед!». Но вот пришло от Михайловского письмо — не из

Петербурга, а из Вены, без оглядки па почтовую цепзуру и совершенно откровенное.

Он утверждал в письме: «...Заграничный журнал, особенно теперь, должен быть, по моему мнению, блистателен или его вовсе не должно быть. Вы пользуетесь превосходной репутацией в известной части русского читающего общества, не говоря уже о том, что никакая партия не может отрицать Вашего таланта, глубокомыслия и обширности Ваших знаний. Это дает Вам положение очень выгодное, но и очень ответственное. Поставив неудачно на карту свою репутацию, Вы проиграете не только ее, а и много чужого имущества. И тогда жди опять времени и людей. Зная наличные силы литературы и зная, что из этих крохотных сил в заграничный журнал можно привлечь только ничтожную долю, и притом далеко не самых лучших, я относился к Вашему плану скептически. Однако свое согласие дал».

Теперь же он, выходит, передумал...

«Мало того,— писал он далее,— в горькую минуту, тянувшуюся, впрочем, не одну минуту, я решил было эмигрировать и пристроиться к Вам окончательно и бесповоротно. Мысль эту я бросил по многим причинам, из которых некоторые расскажу. Во-первых, вышеизложенное, т. е. бесполезность и пожалуй даже вредность такого поступка... Потом общие основания, по которым эмигрировать вообще не легко. Потом частности, вроде возмутительной истории Смирнова: жить в такой мерзости противно и, во всяком случае, для этого нет надобности уезжать из России, где эта мерзость не так больно и оскорбительно колет глаза. Потом чуть ли не самое важное. Мои литературные заметки создали мне положение... Ко мне лично и письменно обращаются молодые люди с изложением своих сомнений и за разрешением разных близких им вопросов. От этого положения я, во-первых, не откажусь ни за что в мире, а во-вторых, сомнения и

вопросы таковы, что, поскольку я вообще могу помочь тут, я могу делать это в русском журнале, а поскольку не могу вообще — не могу и в заграничном. Я не революционер — всякому свое».

Значит, на Михайловского тоже не приходилось рассчитывать. Ну, бог с ним. Но почему революционный журнал должен быть «блистателем»? Он должен быть полезен! И разве он, Лавров, ставит на карту свою репутацию? Оставаясь искренним и честным, он никак не может ее запятнать!

Об этом он несколько сердито написал в ответном письме и отправил его на венский адрес. И уже думал, что Михайловский больше не откликнется, когда пришло второе письмо:

«Опять запаздываю ответом, многоуважаемый Петр Лаврович, потому что уезжал на несколько дней из Вены и Ваше письмо пришло без меня.

Между нами вышло маленькое недоразумение. Говоря, что заграничный журнал, и особенно теперь, должен быть блестящим или его вовсе не должно быть, я имел в виду *блеск* не в специально литературном отношении. Это, конечно, дело второстепенное, хоть и далеко не лишнее значения. Я говорил, что журнал должен быть блестящим по своему внутреннему достоинству. И если он таким не будет, он будет не только не полезен, будет вреден, потому что даст случай порадоваться или поскалить зубы одним и разочароваться другим.

В этом смысле я и говорил о значении и ценности Вашей репутации. Какие у Вас данные, не считая Вашей высокоуважаемой личности в пользу того, что журнал будет действительно хорош? Наш посредник склонен смотреть на вещи в розовом свете».

Ну, возможно, Криль склонен видеть вещи в розовом свете, но видеть все в черном свете будет ли верной?

Михайловский сомневался, что Лавров найдет сотрудников в России:

«...Надеюсь, Вы не мечтаете направлять на путь истинный правительство. Остаются две цели: место, где можно вволю наплакаться и насмеяться, для одних и повелительное наклонение для других.

Первых Вам придется искать и организовать с большим трудом, потому что готовый человек — писатель — к Вам не пойдет. Я первый не пойду, пока я живу в России. Легко сказать: высказывайте, что в вас накопело, выкрикивайте, что в вас наболело. Как будто человека, к которому пригляделись, не узнают с первого десятка строк и не упрячут в тундры сибирские...

Что касается до повелительного наклонения, то молодежь его очень ждет, и голос *Вперед*, как бы он ни устроился, если только Вы будете вести его, будет иметь большой вес».

Значит, все-таки признаёт полезность будущего издания — и на том спасибо...

Итак, предстояло собственными силами вести журнал. Без содействия бакунистов — слева, либеральных российских литераторов — справа. Будущих авторов журнала оставалось искать рядом — среди своих молодых сторонников в Цюрихе. Они, конечно, многого дать не смогут, так что придется в основном заполнять журнал самому. Собственными статьями. Но взялся за гуж — не говори, что не дюж.

На улицах Цюриха русские студенты обращали на себя внимание: ходили с папиросами в зубах, одетые нарочито небрежно, в косоворотках и тужурках, в высоких сапогах, в каких, без сомнения, никто из швейцарцев не стал бы ходить по улицам. Девушки были коротко подстрижены, юбки на них — короче, нежели принято, — это был вызов консервативным нравам...

На Платтевштрассе русские студенты общими усилиями устроили свою кухмистерскую с дешевыми обедами, где обслуживали все по очереди. Сложились и купили в рассрочку (благо потребовался очень небольшой вступительный взнос) деревянный, сильно запущенный дом. В верхнем этаже разместились жилые комнаты, в нижнем — библиотека, читальня, столовая и зал для собраний, где было поставлено пианино.

В этом «русском доме» студенты могли жить по пять-шесть человек в одной комнате и вести шумные споры до глубокой ночи (строгие швейцарские хозяйки в своих домах такого не допускали).

Возле дома был сад с ветвистыми старыми деревьями. Для русских студентов сад сразу стал постоянным местом встреч, особенно по вечерам, когда сходились тут любители хорового пения. Человек двадцать — тридцать собирались в круг, Линев дирижировал, и все пели — увлеченно, чувствуя себя словно бы дома, на родине, — «Вниз по матушке по Волге», «Ах вы сени мои, сени», «Эй, ухнем» или украинские «Виють витры» и «Гречаники».

Для всех желающих Лавров вызвался читать лекции — о роли славян в истории мысли, о роли христианства в истории мысли, об истории мысли вообще. Слушатели собирались заблаговременно в зале для собраний и пели «Марсельезу» под аккомпанемент пианино. Когда он приходил, пение прекращалось, молодые люди рассаживались, и он вслух излагал свои мысли, говорил час или два. Предложил и начал было читать курс высшей математики, которую в свое время преподавал в Артиллерийской академии. Он убежден был, что математика нужна всем: она приучает логически мыслить, а тот, кто умеет мыслить логически, не станет поступать очертя голову... Но оказалось, что молодежь, захваченную проблемами социальными, увлечь математикой трудно. Тут число его слушателей с каждым разом таяло, и, когда их осталось

трое, огорченный лектор сам предложил занятия прекратить.

Так как он плохо видел, особенно в темноте, обычно его кто-нибудь вечером провожал из Форстхауза в «русский дом» и обратно. Беседуя с провожатыми, он пытался выявить возможных будущих авторов журнала, предлагал им что-нибудь написать.

Провожавший его однажды Кулябко-Корецкий смущенно отвечал, что он очень польщен предложением, но его останавливает неуверенность в своих силах. Лавров на это заметил, что главное — иметь мысли в голове, заслуживающие опубликования, а ошибки и промахи может исправить редактор. Тогда Кулябко-Корецкий рассказал, что приехал он в Цюрих для того, чтобы пополнить свои знания по социологии, теперь слушает лекции в университете. Он уже кончил курс в другом университете — в Киеве, был затем следователем по уголовным делам. После трех лет практики подал в отставку, потому что судебное ведомство оказалось гнилым болотом...

— Вот и попробуйте изложить ваши впечатления и ваши выводы, — предложил Лавров.

Все чаще он приглашал студентов к себе пить чай. Приглашал на откровенный разговор. Раз в неделю приходило человек восемь — десять, поначалу почти все они чувствовали себя на этих чаепитиях несколько скованно. Девушки определенно скучали. Он не умел зажигать, как Бакунин, — слишком трезво смотрел на жизнь...

Получил письмо от Тургенева, отправленное из Парижа в воскресенье 1 июня: «В среду я выезжаю отсюда в Баден, а в субботу или в воскресенье — объявлюсь в Цюрихе, где, конечно, буду иметь удовольствие видеться с Вами».

На очередном чаепитии у Лаврова собрались «фричи» — студентки, прозванные так потому, что жили в доме некоей госпожи Фрич до того, как переселились в

«русский дом». Это были сестры Фигнер, Софья Бардина и другие. Лавров решил сообщить им приятную новость: Цюрих посетит Иван Сергеевич Тургенев в ближайшие дни. Знаменитый писатель собирает материал для задуманного романа и хочет познакомиться с русскими студентами и студентками. Лавров с улыбкой добавил, что он хотел бы представить писателю девушек, здесь присутствующих.

Неожиданно все они сердито закричали, замахали руками, объявили, что не желают подобных смотрин и к Тургеневу ни за что не пойдут.

Не надо было их предупреждать... О своем досадном промахе и о непредвиденной реакции русских студентов Лавров считал долгом сообщить писателю в Баден-Баден — в осторожных выражениях, разумеется.

Тургенев ответил 9 июня: «...я третьего дня приехал сюда и нашел Ваше письмо. Очень благодарен Вам за память, но в Цюрих я не поеду. Из собственных выражений Вашего письма я должен заключить, что мне ничего бы не удалось увидеть — особенно в течение тех двух, трех дней, которые я бы там провел... Я еду в Карлсбад, а через 6 недель назад во Францию (через Баден)».

Он оказался чрезвычайно чувствителен к намекам Лаврова, что студентки в Цюрихе могут встретить его несколько холодно. И не приехал.

Зато приехал любопытствующий Вырубов. Он явился в Форстхауз вечером, попал как раз в тот пазпачепный день недели — журфикс — когда студенты без особого приглашения приходили к Лаврову в гости. На сей раз тут было многолюдно и накурено, табачный дым клубился в воздухе несмотря на открытые окна, говорили все разом, и постороннему трудно было разобрать, о чем речь. Лавров же был доволен, что студенты у него в гостях перестали чувствовать себя стесненно. И терпел табачный дым, хотя сам не курил.

Наутро Вырубов пошел завтракать в студенческую столовую. Потом заметил Лаврову, что кормят тут невероятно дешево, но кухня очень плоха. Лавров же находил, что кухня вполне удовлетворительна. Объяснил: студенты живут бедно и не позволяют себе никаких излишеств.

Ни с кем тут близко не познакомившись, Вырубов уехал. Отъезд его никого не огорчил. Лавров очень жалел, что не приехал Тургенев...

Никто в Цюрихе не знал, что 14 июля 1873 года Петру Лавровичу исполнилось пятьдесят лет. Он никому об этом не сказал и этот день никак не отметил.

Почта доставила в Цюрих из Петербурга номер «Правительственного вестника», где было напечатано поразившее всех распоряжение. Этот номер студенты принесли Лаврову, и он прочел:

«Легкомысленная пропаганда некоторой части нашей журналистики, ложное понимание назначения женщины в семье и обществе, увлечение модными идеями — все эти причины более или менее влияют на громадный сравнительно наплыв русских женщин в Цюрих. Коповоды нашей эмиграции ловко пользуются всеми обстоятельствами и, увлекая молодых, неопытных девушек в вихрь политической агитации, губят их безвозвратно. Правительство не может допустить мысли, чтобы два-три докторских диплома могли искупить зло...»

С каким пренебрежением это сказано — «два-три докторских диплома»! В то время как на медицинском факультете занимаются десятки русских студентов! В то время как в России лишь с прошлого года существуют высшие женские медицинские курсы!

Так какое же зло не могут искупить докторские дипломы? А вот какое: «...зло, происходящее от правствен-

ного растления молодого поколения...» Клевета! Правительство позволяет себе клеветать!

«Вследствие сего правительство заблаговременно предупреждает всех русских женщин, посещающих Цюрихский университет и Политехникум, что те из них, которые после 1 января будущего 1874 года будут продолжать слушание лекций в этих заведениях, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение и дозволение которых зависит от правительства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение».

С газетой в руках Лавров пошел в «русский дом». Здесь созвали экстренное собрание студентов.

На собрании он произнес гневную речь. Заявил:

— Русский император взял на себя ответственность за ограбление сотни молодых женщин, захотевших учиться, чтобы жить не за счет своих отцов и мужей, а на свои труды.

Он обращался к студенткам:

— Императорская власть, разоряющая Россию, ограбила и вас. Это печально для вас, однако вы в этом случае можете утешиться мыслию, что разделяете эту участь со всем русским народом. Но вам ваше заботливое правительство постаралось нанести еще другой удар: оно не только разорило вас, оно пыталось вас опозорить. Оно пред всем светом обвинило вас в «правственном растлении»... Мы не спрашиваем себя вовсе: с чего это взяли? Потому что ложь есть обычное орудие притеснителей народов. Мы спрашиваем только: для чего русскому правительству понадобилась такая позорная и гнусная клевета?.. Где суд, который бы принял обвинение в клевете против власти, стоящей над всяким судом, над всяким законом? Пусть помнят ваши оскорбленные отцы и братья, друзья и мужья, что лишь бесправие русской земли позволило русскому царю безнака-

запно оскорблять доброе имя сотни молодых женщин!

Эту речь немедленно отпечатали в виде листовки. Листовку распространяли где только могли.

Цюрихские студентки были возмущены и вместе с тем растеряны: никого не радовала перспектива получить диплом, который не будет признаваться в России.

В конце июня пришло из Карлсбада письмо от Тургенева: «Любезнейший Петр Лаврович, я только сегодня получил присланный на мое имя лист, озаглавленный: «Русским цюрихским студенткам». Хотя Вы не подписали своего имени, но нет сомнения, что этот благородный и исполненный достоинства протест вышел из-под Вашего пера».

Значит, можно догадаться о его авторстве по стилю: письма, прекрасно!

Лавров послал в Карлсбад напечатанную отдельно программу журнала «Вперед!». Тургенев ответил 13 июля: «Уважаемый и любезный Петр Лаврович, прошу извинения в том, что не тотчас ответил на Ваше письмо, сопроводившее присылку программы будущего журнала. Жизнь на водах тем и глупа, что ничего не делаешь целый день, а всегда некогда. Начну с того, что весьма желаю быть подписчиком, серьезным, платящим подписчиком, Вашего журнала... Программу Вашу я прочел два раза со всем подобающим вниманием: со всеми главными положениями я согласен — я имею только одно возражение... Мне кажется, что Вы напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов, либералов и даже называете их врагами».

Да, действительно, он на них нападал. Потому что конституционалисты и либералы стремились лишь внести какие-то улучшения в существующий в России строй, Лавров же был убежден: царское самодержавие надо сломать, уничтожить вовсе.

«Пора русскому народу свести счеты с самодержав-

ным императорством», — заявлял он теперь в статье, предназначенной для первого тома «Вперед!». Ведь это при неограниченной власти династии Романовых, за два с половиной века, русская нация расслоилась — на большинство, обреченное на невежество, и меньшинство, отдалившееся от народа. Лавров напоминал о том, о чем уже прежде писал Герцен в книге «О развитии революционных идей в России», но считал общей виной династии Романовых то, в чем Герцен винил более всего царя Петра. Герцен писал: «Тем, что Петр I окончательно оторвал дворянство от народа и пожаловал ему страшную власть над крестьянами, он поселил в народе глубокий антагонизм, которого раньше не было, а если он и был, то лишь в слабой степени. Этот антагонизм приведет к социальной революции, и не найдется в Зимнем дворце такого бога, который отвел бы сия чашу судьбы от России».

Не найдется в Зимнем дворце такого бога... И Лавров утверждал: «Единственное добро, которое может сделать русскому народу самодержавное императорство, это — перестать существовать».

Материал для журнала подбирался. В первом томе «Вперед!» составилсЯ раздел информационный: «Что делается на родине» и «Летопись рабочего движения». Остальной текст был написан наполовину самим Лавровым, наполовину его молодыми друзьями: Смирновым, Подолинским, Кулябко-Корецким.

Линев стал метранпажем маленькой типографии в сарае. Здесь, под его строгим руководством, набирали девушки, «фричи», около четырехсот страниц первого тома «Вперед!». Самой энергичной и деятельной была Софья Бардина. К своему труду наборщицы относились — это было видно — с истинным воодушевлением, вечерами они с песнями уходили из типографии домой.

Они трудились в типографии, хотя швейцарское лето манило в горы и на озеро. На берегу озера в Цюрихе, по традиции, устраивались симфонические концерты, студенты брали лодки напрокат, подплывали поближе и слушали, опустив весла.

Почти для всех русских студенток это лето в Цюрихе становилось последним: угроза, прозвучавшая со страниц «Правительственного вестника», вынуждала их перебираться в другие университеты, в Берн и в Париж. Родители и родственники в письмах своих предлагали возвращаться домой, так как поплыли слухи, что вообще никакие дипломы европейских университетов признаваться в России не будут.

Молодое русское население в Цюрихе заметно поредело уже в августе: уезжали не только студентки, но и студенты. Опустел «русский дом». Он перешел к новому владельцу. Две русских библиотеки остались почти без читателей. Теряло смысл и пребывание в Цюрихе редакции «Вперед!». Первый том уже был отпечатан в типографии.

Однажды, ближе к осени, заботы по делам журнала заслонила внезапная радостная весть: приехал в Цюрих Герман Лопатин!

Живой, здоровый, обросший бородой, с необычайными рассказами о своем отважном путешествии в Сибирь, куда поехал, чтобы освободить и увезти Чернышевского, сосланного в Виллюйск. В эту невероятную даль Лопатин все же не добрался: был арестован в Иркутске, сидел в тюрьме, бежал, отправился на лодке по таежной Ангаре, где преодолел бурные пороги, но был схвачен, возвращен в Иркутск, бежал снова, добрался до Томска, там снова был арестован и возвращен в Иркутск, и все же опять бежал, в крестьянской одежде, проехал

в обратном направлении, с востока на запад, через всю Сибирь...

Да, Вилъюск это не Кадников, и, как теперь Лопатин понимал, у него было слишком мало шансов вывезти Чернышевского благополучно. Ну, предположим, смог бы добраться до Вилъюска, но обратно — не одну неделю пришлось бы потратить на путь вверх по Лепе, все это время побег Чернышевского не мог оставаться незамеченным, а впереди еще оставались бы тысячи верст пути...

Лавров уговорил Лопатина написать для журнала «Вперед!» несколько очерков о Сибири, о том, что видел и слышал: о жизни ссыльных, о тяжелом положении рабочих на приисках. А еще Лавров уговаривал его остаться пока в Цюрихе, но Лопатина неудержимо тянуло в Париж. Потому что из Петербурга в Париж он прибыл не один, а вместе с молодой миловидной женщиной — встретил ее в Петербурге, по возвращении из Сибири, влюбился... Эту женщину, Зину Корали, Лавров знал: минувшей весной его познакомили с ней в Париже, летом она успешно сдала экзамен в парижскую Медицинскую Школу, а осенью решила съездить домой, в Петербург.

Лопатин собирался еще побывать в Лондоне — познакомиться с Марксом. Лавров посоветовал ему предупредить Маркса о своем приезде письмом. Попросил выяснить возможности переезда типографии в Лондон, дал адреса Юнга и Врублевского. Выразил самую горячую надежду, что в дальнейшем Лопатин поселится в Лондоне и примет участие в работе редакции «Вперед!».

Лопатин уехал. Из Парижа сообщил, что узнал адрес контрабандиста в Кенигсберге, этот контрабандист переправляет тюки с книгами через границу и, конечно, сможет переправлять тюки с пачками журнала «Вперед!». Кроме того: «...если у Вас не найдется в С.-Петербурге

никого, кто бы вызвался ходить на железную дорогу получать тюки, то я достану Вам на время такого человека».

В следующем письме из Парижа Лопатин написал: «Ты победил, галилеянин! Другими словами: радуйтесь, Петр Лаврович: я достаточно наказан за то, что не послушался Вашего доброго совета и не предупредил Маркса о своем приезде. Оказывается, как раз накануне моего прибытия в Лондон он выехал с Гусси в Йоркшир, частью для поправления собственного здоровья, главным же образом для поправления здоровья дочки, которая что-то шибко разболелась. Я не пожелал преследовать его так далеко и через двое суток повернул оглобли назад. Вчера я вернулся в Париж совершенно распротуженный... По что касается до Ваших поручений, т. е. до собраний разных сведений и справок, то они выполнены мною довольно удовлетворительно... Юнг дал мне рекомендательную записку к хозяину типографии, чтобы я мог посмотреть собственными глазами помещение... Что же касается справок о цепях, то я предпочел собрать их через Врублевского, так как он говорит по-русски».

Лавров спрашивал Лопатина в письме: «могли бы Вы что-нибудь заключить об отношении Маркса к нам?.. Не видали ли Вы Энгельса? Им обоим был послан журнал, и для меня весьма интересно знать, как они к нему относятся».

Лопатин отвечал по поводу первой книги «Вперед!»: «Энгельс еще не успел прочесть ее, хотя она лежит у него на столе на виду. Насколько я мог понять, он и Маркс относятся с большим уважением и симпатией к Вам лично как к человеку; по им кажется, что Вы вносите в политику какой-то философский эклектизм, распространяющийся и на партии, и на людей. Причины такого мнения слишком понятны».

Да, конечно. Ему так хотелось объединить всех про-

тивников самодержавия в единую силу, что он готов был вести переговоры с ними всеми...

Это не означало, что он мог соглашаться с либералами, с теми, кто убеждал себя, что революционный путь безумен и безнадежен. Такой взгляд необходимо было решительно опровергнуть на страницах «Вперед!».

Нет, заявлял Лавров в своей новой статье «Потерянные силы революции», безнадежны и поэтому безумны попытки либералов опереться на закон и действовать на легальной почве. Он обращался к ним: «Одно из двух: или деятельность ваша и ваших товарищей будет так ничтожна, так микроскопична, что ей мешать не будут, потому что она никому заметна не будет, или она вызовет преследования». Да, вызовет, потому что для законченных приверженцев самодержавия *«всякая»* попытка поднять народ в общественном или умственном отношении есть попытка, прямо враждебная существующему порядку, попытка революционная. Для них вы такой же враг, как и мы, даже враг более неприятный, потому что мы, если попадемся, то немедленно подходим под определенный пункт закона, и расправа с нами коротка; против нас нужны только доносчики. С вами же приходится справляться вне закона. Оно, конечно, все равно. За беззаконием никогда в русском царстве дело не стояло, по уже придумывание повода, одного повода, составляет некоторый труд, сам по себе неприятный. Как бы то ни было, ваше осторожное удаление из своей среды всех революционных элементов, ваше тщательное старание остаться на легальной почве несколько не охраняет вас от преследования наиболее умных дельцов из нашей администрации: они будут вас преследовать, как преследуют наших союзников...»

Эту статью Лавров определил во второй том «Вперед!».

В середине декабря вернулся из поездки домой, на

Полтавщину, а затем в Петербург Николай Кулябко-Корецкий.

Еще в августе, перед отъездом из Цюриха, он зашел в Форстхауз и сказал Лаврову, что попытается книги свои и бумаги переправить через границу в Россию с помощью контрабандистов. Если опыт окажется удачным, можно будет воспользоваться тем же путем для переправки журнала «Вперед!».

Теперь он вернулся и рассказал: по приезде из Цюриха на австрийскую пограничную станцию Подволочиск он отправился на постоянный двор, а по-местному — в корчму, и откровенно сказал корчмарю, что ему нужно переправить через границу чемодан с книгами, за это он готов дать вперед двадцать пять рублей. Корчмарь отнесся к предложению как к делу обычному и через полчаса прислал дюжего молодого еврея, который без лишних слов забрал чемодан и двадцать пять рублей, пообещав завтра вернуть чемодан по другую сторону границы, по не в пограничном Волочиске, а немного дальше, на станции Проскуров. Все так и вышло. В Волочиске таможенники напрасно рылись в багаже Кулябко-Корецкого, а в Проскурове на перроне он получил от контрабандиста свой чемодан с книгами.

Воодушевленный удачей, он теперь готов был повторить путешествие через границу Австро-Венгрии и России — между Подволочиском и Волочиском, и его нагрузили двумя тюками нелегальной литературы весом более десяти пудов. В основном это были экземпляры первого тома «Вперед!».

Прошло несколько дней, и в Цюрих поступили плохие вести: Кулябко-Корецкий в дороге заболел воспалением легких; уже больной, он сдал оба тюка контрабандисту в Подволочиске, но договорился, что за книгами в Волочиск придет кого-нибудь другого. Добравшись до Киева, он послал в Волочиск младшего брата, а тот не

только не привез тюки, но был задержан полицией в Волочиске и через неделю возвращен в Киев под стражей. Тут его отпустили, по оба тюка с книгами надо было считать пропавшими. До слез было досадно.

Теперь наиболее деятельный член кружка лавровцев в Петербурге, студент-медик Лев Гинзбург, поехал договариваться с контрабандистами в Кенигсберг.

Для второго тома «Вперед!» Лавров писал еще статью о страшном голоде в Самарской и других губерниях. Писал о голоде, вызванном не только неурожаем, но и непосильными податями, выкупными платежами, то есть платой за освобождение крестьян от крепостной зависимости, причем неурожай не освобождал их от платежей. Он собирал материал по крупицам — из русских газет, журналов, официальных отчетов — и старался показать, какое бедствие скрывают сухие цифры... Царское правительство ничего не делает для облегчения тягот народа, писал Лавров. Оно, как вампир, сосет его кровь, и вот почему: «Ему необходимо громадное войско. Ему необходимо многочисленное чиновничество. Ему необходимо восточное великолепие двора и царской семьи. Оно перестанет быть первостепенным хищником в ряду мировых хищников, если оно сделает экономную па войске. Оно рухнет через несколько лет, если уменьшит расходы на чиновников и на жандармов, на сыщиков и на палачей».

Ну, а что же предпринимает в борьбе с голодом русское общество? Ведь масштабы этого бедствия достаточно известны. Однако, судя по всему, для реальной помощи голодающим не предпринимается почти ничего. В чем же причина такого бездействия? Лавров отвечал: «...в отсутствии у нас всякой инициативы и в привычке, освященной веками, чтобы за нас и другие думали и другие делали».

Как же трудно это преодолевать!

За несколько дней до нового, 1874 года в Форстхаузе, где уже поставлена была рождественская елка, появился Петр Никитич Ткачев. Этот молодой, но уже известный публицист отсидел около четырех лет в тюрьме, затем был выслан в свой родной город Великие Луки — и оттуда бежал за границу. Ныне Ткачев готов был отправиться в Лондон и там присоединиться к редакции «Вперед!». Если учесть, что авторов журнала можно было счесть на пальцах одной руки, участие известного публициста представлялось чрезвычайно желательным.

Но больше всего Лавров хотел, чтобы к редакции присоединился Герман Лопатин. «Вы меня очень обрадовали, подтвердив, что Вы переезжаете в Лондон, — написал ему Лавров 2 января. — У меня была темная боязнь, как бы Вы не остались в Вашем прелестном, скверном Париже...»

Все-таки Лопатин оставался единственным человеком, который мог его избавить от чувства одиночества...

«Тоска нестерпимая, — признавался Лавров в письме к Лопатину 30 января. — Единственное спасение — работа, но глаза не позволяют работать сплошь, да и мысль не машина...»

Наконец был подготовлен к печати второй том. Можно было покидать Цюрих. Выехали на поезде вчетвером: Лавров, Смирнов с женой и восемнадцатилетняя Варя Переяславцева. Эта девушка приехала из Воронежа в Цюрих учиться, но как раз в этот момент стало известно о предупреждении царского правительства цюрихским студентам. Ее старшая сестра занималась в Цюрихском университете уже год. А Варя вообще не захотела поступать в этом году ни в какой университет, решила стать наборщицей в типографии «Вперед!». И упросила Лаврова взять ее в Лондон.

По дороге остановились в Париже, где их встретили Подолинский и Лопатин, отвезли в гостиницу.

Подолинский был теперь студентом парижской Медицинской Школы, там же учились две подруги: Зина Корали и Надя Скворцова. Оказалось, ныне в Медицинской Школе занимается пять русских студенток и четыре англичанки, а француженок — ни одной...

Узнав, что Тургенев в Париже, Лавров послал ему записку — написал, что хотел бы встретиться. И Тургенев пришел к нему в гостиницу на улице Гей-Люссак. Это было 20 февраля 1874 года.

Тургенев жадно расспрашивал о цюрихской молодежи, об ее участии в подготовке революционного издания, хотел знать подробности, обстановку. Лавров с готовностью отвечал на все вопросы, и Тургенева особенно взволновал его рассказ о русских студентках, об их самоотверженном труде в типографии, о том, что революционному делу они отдают не только свое время и свой труд, но и те небольшие деньги, которые получают из дому.

Тургенев вызвался помогать изданию «Вперед!» ежегодным взносом в пятьсот франков. Первые пятьсот франков — на 1874 год — он передал уже на другой день.

Из Цюриха в Париж переслали Лаврову письмо из России — от дочери.

«Живу я опять на хуторе у родных, — писала Маня. — Вот уже более года, как сошлась с братом моего покойного мужа. Сегодня десятый день, как я встала после родов — у меня славенькая девочка». А еще сообщала, что младший брат Сережа остался в Воронеже у старшего брата.

Как же оба сына оказались далеки от отца... Сознать это было так горько... Но разве он в свое время, в Петербурге, не пытался влиять на них, не давал им книги, достойные прочтения, наталкивающие на серьезные раздумья? Или он все-таки недостаточно уделял времени и внимания своим сыновьям?

По теперь даже просто поговорить с ними не было возможности. Хотя бы просто поговорить...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Полковник Лавров в Лондоне. Он уже нанял дом и покупает мебель», — доносил в Петербург агент Третьего отделения Балашевич-Потоцкий. Он писал это донесение вечером 7 марта, в своей квартирке на втором этаже дома на Бедфорд-сквер.

Сегодня, как обычно, весь день провел он в своей антикварной лавке. Неожиданно зашел Лавров. Оказалось, он сегодня первый раз по возвращении в Лондон заглянул в библиотеку Британского музея, а сейчас, выйдя из музея на Бедфорд-сквер, увидел знакомую вывеску и решил зайти. Балашевич приветствовал его как старого знакомого: рад видеть, надолго ли к нам в Лондон? Лавров ответил, что, видимо, надолго, он уже нанял дом — не сказал, где именно, и вот ищет мебель подешевле, но не знает, где ее приобрести. Балашевич выразил готовность узнать и пригласил Лаврова в один из ближайших дней отобедать с ним в ресторане.

Лавров обещал — и пришел. За обедом не удалось Балашевичу склонить его к откровенности, не помогло и вино — Лавров выпил совсем немного. После обеда Балашевич вернулся домой и, не откладывая, составил донесение: «...Во время обеда за стаканом вина он объявил нам, что эту пропаганду он принял по желанию его друзей в России, которые составляют правильно организованное общество... По его предложению мы подписались и заплатили десять фунтов для образования фонда, расписку перешлем в будущем письме. Полагаю, что эту сумму благоволите мне возвратить».

Он не сомневался, что вернут, иначе пожалел бы свои десять фунтов. В прошлом году, когда он послал Лаврову

в Цюрих не десять, а сто пятьдесят фунтов в фонд помощи журналу «Вперед!», эту сумму, без малейших возражений, Третье отделение Балашевичу возместило. А когда Лавров прислал ему в Лондон 1-й том «Вперед!», Балашевич, естественно, переправил журнал кому следует — в Петербург.

Он мечтал разбогатеть. Ради этой цели годились любые средства. И вот на первом этаже дома, в лавке, он приобретал и перепродавал всякие антикварные товары, а на втором этаже, за письменным столом, он тайно продавал сведения. То и другое старался продать подороже. Ему удалось добиться, чтобы Третье отделение платило не двадцать фунтов в месяц, как раньше, а тридцать. Доход от лавки был не столь регулярным, но существенным. Он хорошо разбирался в нумизматике, она была его давним увлечением, он знал цену старинным монетам...

Дней десять Лавров у Балашевича не появлялся, затем прислал письмо: «Не удивляйтесь, что я так давно не был у Вас. Пришли вещи и книги из Цюриха. Я целые дни раскладываю, разбираю... Хотел вчера и сегодня быть у Вас, но приехали новые члены колонии. Жду и еще... Сегодня, вероятно, получу книги и завтра, может быть, привезу несколько экземпляров».

Назавтра он, действительно, привез и бережно разложил на столе экземпляры второго тома «Вперед!». Балашевич обещал распространить — и в тот же день отправил экземпляр Третьему отделению. Пусть ценят его расторопность! А 3 апреля смог еще донести: «П. Лавров сообщил мне вчера следующее: на австрийской границе задержано несколько тюков с книгами. Транспорт, высланный через Пруссию, получен в России».

Вырубов получил 27 марта в Париже такое письмо: «Два мои приятеля и сотрудника, оба эмигранты, Ливнев и Соловьев, проезжая через вашу проклятую Фран-

цию, отослали свои паспорта, взятые из Цюриха, обратно из Парижа, были арестованы в Дьеппе, как мне сейчас сообщила дама, с ними ехавшая, назвались фальшивыми именами Ивана Инокова и Александра Вахтеля, вследствие растерянности, и должны были остаться там. Как их выручить? Помогите. Вы знаете кое-кого в вашей проклятой республике, может быть Ваше заступничество помогло бы. Ваш *П. Лавров*».

Следом пришло второе письмо: «Сейчас имею телеграмму от Линева из Дьеппа: они арестованы и отвезены в Париж. Там Вам легче будет помочь. Я рассчитываю на Вас. Телеграфируйте, если можно что сделать».

Вырубов отправился в префектуру полиции.

Выяснил, что Линева и Соловьев, новый наборщик типографии «Вперед!», уже здесь, они посажены в тюрьму при парижской префектуре. Оказалось, как раз в эти дни ожидался проезд в Англию русского царя — по случаю свадьбы герцогини Эдинбургской. Поэтому в северных портах Франции, в том числе в Дьеппе, было установлено наблюдение: полиция остерегалась именно русских революционеров. В Дьеппе комиссар полиции заметил на причале двух молодых людей, говоривших на незнакомом языке, и спросил их фамилии. Вместо того, чтобы сразу ответить, они стали переговариваться на своем языке, словно бы не зная, какими фамилиями назваться. Наконец имена и фамилии были произнесены. Комиссар потребовал паспорта. Ответили, что паспорта в сундуке, а сундук уже в трюме парохода. Комиссар потребовал достать этот сундук и открыть. Нашли паспорта, по — не на те фамилии... Комиссар приказал обоих арестовать и телеграфировал в министерство внутренних дел. Оттуда последовал приказ доставить арестованных в Париж.

Вырубову разрешили с ними встретиться, и он удостоверил личности обоих. Предложил шефу сыскной полиции выпроводить их из Франции на казенный счет. Тот

заявил, что арестованы молодые люди за собственную глупость и что подобных политических деятелей он еще никогда не видал. Сказал, что их, конечно, выпустят в скором времени.

Письмо от Лаврова получил в Париже также Подольский. 31 марта он отправился в префектуру и добился свидания с арестованными — на двадцать минут. Оба они были страшно удручены происшедшим, говорили, что содержат их скверно и обращаются с ними грубо. Между прочим, их в тюрьме снимали фотографическим аппаратом в профиль и анфас.

А 3 апреля министр внутренних дел постановил выслать Линева и Соловьева за пределы Франции. Но не в Англию, а назад в Швейцарию. Их вывезли в Женеву...

Оттуда уже, кружным путем, через Германию и Бельгию, они прибыли наконец в Англию.

Балашевич-Потоцкий сообщил в Петербург приметы Александра Линева: «росту относительно высокого, немного косоглаз, с рыжей бородой, лет около тридцати».

Дом был напаят Лавровым на холмистой северной окраине Лондона, в Холловэе, на тихой улице Морэй Род. Рядом уже начинались поля. Дом был обычный лондонский — из красного закоптившегося кирпича, неприметный, узкий, втиснутый в ряд других, трехэтажный (вернее, четырехэтажный, если считать нижний, полуподвальный этаж). В каждом этаже было всего по две комнаты: одна — окнами на улицу, другая — окнами в сад во дворе. У входной двери вместо звонка — молоток, чтобы стучать, — так уж принято. Лавров занял комнату во втором этаже, окнами в сад.

Освещение было газовое: в каждой комнате вечерами зажигался газовый рожок.

Прибыли и поселились в доме также Лопатин и Тка-

чев. — можно было порадоваться укреплению сил редакции. По Ткачев очень быстро всех разочаровал.

При первом распределении работ для третьего тома «Вперед!» он такие выдвинул требования, такие претепзии, что сразу стала ясна невозможность совместной работы. Ткачев не принимал самую программу журнала, который представлялся ему — по первым двум томам — вовсе не революционным, поскольку к немедленному восстанию не призывал. Непонятно было, на что он рассчитывал, соглашаясь принять в журнале участие. Ткачев потребовал права решающего голоса в выборе статей, права контроля над общим направлением журнала, причем он намерен был самолично вносить поправки и изменения в тексте печатаемых статей. Когда Лавров сказал свое решительное «нет» и остальные члены редакции его поддержали, Ткачев заявил, что покидает Лондон. Последние дни перед отъездом он встречался с членами редакции только за обедом — в столовой на нижнем, полуподвальном этаже. Встречались, разумеется, холодно.

Когда он уезжал, Лавров, Лопатин и другие пришли проводить его на вокзал и были неприятно удивлены, увидев на вокзале Сажина-Росса. Лавров знал, что Сажин еще в ноябре перебрался в Лондон и привез с собой печатный станок, заведенный им еще в Цюрихе. Но встретить его здесь ни разу не довелось. На прощанье Сажин и Ткачев расцеловались — кажется, даже демонстративно.

Не остался в Лондоне и Лопатин, этого можно было ожидать. Как и предполагал Лавров, немоготу оказалось Лопатину жить здесь, когда Зина, любовь его, жила в Париже. Но он обещал свое неизменное и всяческое содействие журналу «Вперед!».

Из Парижа Лопатин сообщил: Ткачев, можете себе представить, ничего не говоря Лаврову и его сотрудникам, напечатал у Сажина в Лондоне брошюру «Задачи

революционной пропаганды в России (Письмо в редакцию журнала «Вперед!»)».

«Почему Вы не написали, что в брошюре Ткачева? ругательства? инсинуации? простая полемика? — спрашивал Лавров в письме к Лопатину. — Так как он, вероятно, не пришлет нам ее, то прошу Вас достать хоть на время. Что за трусливая и подлая натура!»

Лопатин брошюру прислал.

Что же писал Ткачев, обращаясь как бы к редакции «Вперед!», но рассчитывая, безусловно, на гораздо более широкий круг читателей?

«Народ действительной революции — это бурная стихия, все уничтожающая и разрушающая на своем пути, действующая всегда безотчетно и бессознательно. Народ *вашей* революции — это цивилизованный человек, вполне уяснивший себе свое положение, действующий сознательно и целесообразно, отдающий отчет в своих поступках, хорошо понимающий, *чего* он хочет, понимающий свои истинные потребности и свои права, человек принципов, человек идей».

Ну, во-первых, Лавров не мог согласиться с определением, что такое действительная революция. Безусловно, он никогда не призывал к разгулу стихий. Не призывал к революции бессознательной.

«Насильственная революция, — писал Ткачев, — тогда только и может иметь место, когда меньшинство не хочет ждать, чтобы большинство само сознало свои потребности, но когда оно решается, так сказать, *навязать* ему это сознание».

«Навязать!» Вот они, диктаторские замашки!

Ткачев обращался к нему, Лаврову, хотя и не называл его по имени: «...вы говорите: подождите, потерпите, не бросайтесь в борьбу, сначала поучитесь, перевоспитайте себя».

О боже, неужели это говорит *живой* человек *живым*

людям? Ждать! Учиться, перевоспитываться! Да имеем ли мы право ждать?»

Ткачев был убежден, что народ уже готов к революции, пусть даже к бессознательной. «И если он в действительности не делает ее, если он в действительности с ослиным терпением продолжает нести свой мученический крест...» — Вот где прорывалось диктаторское высокомерие — терпение народа он называл «ослиным»! — «...то это только потому, что в нем забита всякая внутренняя инициатива, что у него нехватает *духа* самому выйти из своей колени...» Революционерам же прежде всего необходима вера в свое революционное призвание. Каждый, кто старается эту веру расшатать, — враг революции. «А между тем, — Ткачев опять же явно обращался к Лаврову, — вы именно и действуете в этом смысле. Не имея в себе той веры, которая нас одушевляет, вы хотите отнять ее и у молодежи».

Да нет же, он, Лавров, выступает только против веры безотчетной и бессознательной! Причислить его к врагам революции может только тот, кто хочет его намеренно оскорбить!

«Убедить человека в несправедливости и нелености основ исторического общества еще не значит сделать его революционером, — писал далее Ткачев. — Только очень немногие люди живут «по принципам», у большинства же практическая деятельность не находится ни в какой непосредственной зависимости от теоретического мирозерцания... Конечно, это весьма печально, но тем не менее это факт, который не решится отрицать ни один человек, живущий среди живых людей, а не бесплотных призраков собственной фантазии».

Так что же, значит, и нечего призывать людей жить «по принципам»?

«Вы уже примирились с мыслью, — обращался к нему Ткачев, — что нужно ждать, пока «течение исторических

событий *само укажет* минуту», пока «свет знания и понимание своих прав и потребностей» не пробьется сквозь толстую, непроницаемую стену народного невежества. Ну что же, ждите и философствуйте!

Но мы не можем и не хотим ждать!»

Свой ответ Лавров начал писать сдержанно: «...Нет, я не стану нападать на личность автора брошюры. Я искренно желаю ему успеха в борьбе с общим врагом. Я беру только слова его так, как они сказаны».

Он последовательно опровергал утверждения Ткачева, будто революцию нечего подготавливать, надо только подтолкнуть. Если революция не подготовлена, она будет подавлена! У всех на памяти пример Парижской коммуны...

И, уже не выдерживая спокойного тона, Лавров со всей запальчивостью написал: «Вы *не можете* ждать? — Слабонервные трусы, вы *должны* терпеть, пока не сумели вооружиться, не сумели сплотиться, не сумели внушить доверия народу! — Вы *не хотите* ждать? Вы не хотите? Право? Так из-за вашего революционного зуда, из-за вашей барской революционной фантазии вы бросите на карту будущность народа?»

Каждый вправе ставить на карту собственную жизнь, но ставить на карту будущность народа не вправе никто.

«Надуть всех для собственной выгоды, подчинить всех, захватить все для себя одного, высказывать в пламенной речи, в красноречивой газетной статье принципы, над которыми сам смеешься; быть адвокатом чего угодно для достижения личной цели — все это были естественные приемы общества, испорченного в самых своих основах каждой личной обогащения и лицемерием буквы закона.

Но именно это начало иные представители революционных стремлений вздумали внести в новое, социальное общество, основанное на солидарности...

Эти люди пользовались раздражением приверженцев

нового строя против несправедливости старого и выставили начало: все средства годны для борьбы. В эти *годные* средства они включили обман товарищей по делу, обман народа, которому они будто бы служили...

Редакция «Вперед!» с самого начала признала, что истина и солидарность нового социального строя не может быть основана на лжи и лицемерии, на эксплуатации одних другими, на игре принципами, которые должны лечь в основание нового строя, на овечьем подчинении кружков нескольким предводителям».

Напести удар по брошюре Ткачева было тем более необходимо, что русской революционной молодежи она могла показаться убедительной. Судя по письмам из Парижа, брошюра Ткачева произвела сильное впечатление на «фричей» — девушек, перешедших из Цюрихского в Парижский университет. Подолинский 10 мая сообщил из Парижа: «Сегодня мы с Г. А., — то есть Подолинский и Лопатин, — дали сильное сражение «фричам» по поводу брошюры Ткачева и надеюсь, что не совсем безуспешно. К сожалению, Ткачева не было, а мы желали дать сражение в его присутствии...»

Подолинский покидал Париж: он кончил курс в Медицинской Школе, долгое пребывание за границей стало его тяготить — потянуло на родину. Он ведь совершенно легально пребывал за границей и так же легально мог вернуться в Россию.

Куда-то уехал из Лондона Сажин-Росс.

Ответ Лаврова на брошюру Ткачева отпечатали также в виде брошюры, в двухстах экземплярах, и разослали в разные города России, Франции, Швейцарии — всем, кто, наверное, прочел брошюру Ткачева и, значит, должен был узнать ответ.

В этой полемике Лаврова поддержал Энгельс, на газетных страницах он отзывался о Ткачеве совершенно беспощадно.

Отклики на полемику доходили еще долго — до конца года. Прислала письмо Лаврову родная сестра Ткачева Софья Крыль: «Недавно мне попалась брошюра брата, которая глубоко огорчила меня и возмутила до глубины души». Одним из последних запоздавших откликов оказалось письмо Тургенева: «В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы; но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтоб можно было медленно и терпеливо готовить нечто сильное и важное... Им кажется, что медленно готовят только медленное — вроде постепенной реформы...»

В доме на Морзй Род Лавров ежедневно вставал в шесть утра, когда все еще спали, надевал халат и до завтрака писал статьи на самые разные темы для российских журналов, это была работа для заработка.

В восемь утра внизу слышался гонг — это Гертруда, очень исполнительная и опрятная немка, нанятая в прислуги, а вернее — хозяйка дома, оповещала всех, что чай готов. Лавров аккуратно складывал бумаги на письменном столе, надевал повседневный (и единственный) костюм и спускался в нижний, полуподвальный этаж, где полчаса все оживленно беседовали за чаем. Затем наборщики поднимались в комнату на верхнем этаже, где стояли наборные кассы, а он возвращался к себе и принимался за очередную статью для нового тома «Вперед!».

В полдень снова раздавался гонг. Это означало, что в столовой всех ожидал второй завтрак — английский ленч. После ленча Лавров читал письма и газеты, пришедшие с утренней почтой. Редакция получала множество газет на разных языках, и, конечно, с особым вниманием и с тревогой прочитывались известия из России... Затем Лавров писал письма, правил корректуру. Если оставалось время — ложился вздремнуть перед обедом, так как обедали по-английски поздно, в шесть часов. После обеда и до поздней ночи, с небольшим перерывом

на вечерний чай, он трудился над своей «Историей мысли», требовавшей еще многих лет усидчивой работы. Уже не раз он спрашивал себя: сможет ли все, за что взялся, довести до завершения, до конца? Приходило в голову сравнение с моряком, который взялся переплыть океан: конечно, переплыть можно, но переплывет ли он? — вот вопрос...

Из дому он почти не выходил. Изредка ездил в омнибусе в центр Лондона — посещал библиотеку Британского музея. Гулять он не ходил никогда, считая прогулки бесполезной тратой времени. И никто в редакции «Вперед!» не позволял себе никаких развлечений: на это не было ни времени, ни денег.

Приехал еще один наборщик — недавний студент юридического Политехникума Дмитрий Рихтер, добродушный молодой человек маленького роста, с длинными светлыми волосами, очень скоро прозванный здесь Дупечкой. Первый наборщик, Соловьев, имел далеко не столь ласковое прозвище — Саламандра, он как-то не умел сдружиться с остальными и один из всей редакции жил не в общем доме, а отдельно.

У Смирнова и Розалии Идельсон здесь в июне родилась дочь.

«Бэби восхищает всех, на нее не пасмотрятся, о ней рассказывают чудеса, — с шутливой усмешкой писал Лавров Лонгатино. — ...Линев столярничает, Варвара корректуру держит, Саламандра набирает, Дупечка и то, и другое, и третье делает, я пишу для настоящего печатания, Смирнов пишет для будущего печатания».

Готовые экземпляры журнала паковались в тюки, до Кенигсберга шли обычной почтой, а там их брали контрабандисты.

Но вот в конце июня пришло чрезвычайно огорчительное письмо от петербургского кружка: «Тюки мы получили своевременно, но, не имея возможности вскрыть

их на месте получения, мы отвезли их домой. Дома вместо товара мы нашли в них тряпки. На железной дороге из тюков товар был выкраден... На след выкраденного мы напали, и оно почти уже было в наших руках, по скотина, скупившая украденное, уничтожила их по трусости. Можете себе представить, в каком мы были бешенстве... В любой газете (в первых числах июня) вы можете найти известие о поимке огромной шайки, занимавшейся выкрадыванием товаров между Динабургом и Островом».

Следом за этим письмом приехал на несколько дней из Петербурга в Лондон Лев Гинзбург. Он рассказал о прискорбном происшествии подробнее. Выкрадено было из двух тюков более двухсот экземпляров второго тома «Вперед!». Должно быть, воры пронюхали, что в тюках пересылается контрабанда, и предположили, что это кружева, или шелк, или что-нибудь в этом роде. Подменили два тюка заранее приготовленными тюками с тряпками и всяким мусором. Обнаружив с несомненным разочарованием, что контрабандой пересылаются не шелк и не кружева, а какие-то журналы, сбыли их по дешевке перекупщику краденного, а тот продавал их в Динабурге на базаре. Кое-что разошлось между динабургскими гимназистами, а часть журналов, по слухам, просто пошла на обертку — в листы из журнала заворачивали селедку и соленые огурцы. Как только слух об этом дошел до Петербурга, на место выехал Гинзбург, чтобы выручить хотя бы часть украденного, но перекупщик уже раньше сообразил, что продает нелегальную литературу, и поспешил уничтожить все, что осталось...

С начала лета до лондонской редакции «Вперед!» стали доходить известия, что множество революционно настроенных молодых людей, главным образом студентов, разъехалось из Петербурга и Москвы по российской провинции. Руководило ими жгучее стремление всколых-

нуть крестьянскую Россию на борьбу с царским самодержавием. Они, как говорилось, пошли в парод.

Стремление это нельзя было не поддержать, но ведь в народ пошли молодые люди, имевшие о деревне самые общие, если не самые смутные представления,— по плечу ли им та огромная задача, которую они себе поставили?

Из Петербурга Лаврову писал письма Александр Кропоткин. Он вернулся из Цюриха в Петербург, потому что брат его Петр был арестован, как участник кружка революционных пропагандистов, и посажен в Петропавловскую крепость. Александр Кропоткин решил, что нельзя оставлять брата в беде, и теперь хлопотал за него, где мог и как мог. Письма в Лондон он посылал на условленный адрес, по с прямым обращением «Петр Лаврович», то есть мало думая о конспирации.

Так вот, Александр Кропоткин утверждал, что призывать революционную молодежь к обретению знаний ныне бесполезно. Откровенно и напрямик писал он Лаврову: «Какие там знания, когда их все равно не приобретут по лепи, по отсутствию энергии ума, по молодости лет и т. д. Слава богу, если хоть что-нибудь кое-как прочтут... К сожалению, история создается и будет еще долго создаваться не умом, а глупыми башками и страстью. Ну и пусть себе действуют. Помогайте разрушать, а что будет, посмотрим. Конечно, ничего путного; но, вероятно, будет лучше нынешнего».

В письме этом слышались отголоски мнений Бакунина и Ткачева. Хотелось тут же возразить! «Глупыми башками и страстью» можно только принести себя в жертву!

«Получил письмо от Кропоткина и нахожусь в необходимости послать немедленно ответ»,— написал Лавров Лопатину в Париж. Ответное письмо, написанное в Лондоне, ради конспирации предпочел он отослать из Парижа и поручал Лопатину вложить это письмо в конверт,

«попросив милых дам начертать адрес — и на волю аллаха».

Из России уже сообщали о многочисленных арестах. В июле прошел в Москве судебный процесс по делу «долгушинцев» — участников кружка Долгушина. Как теперь стало известно, они начали тайно печатать революционные брошюры и прокламации еще в прошлом году. Поселились в Звенигородском уезде Московской губернии, принялись читать прокламации неграмотным крестьянам и чуть ли не сразу были кем-то выданы полиции. Теперь суд приговорил их к каторжным работам на срок до десяти лет.

Таким понятным, но таким губительным было петерение молодых революционеров! Совершенно необходимо довести это до сознания всех, кто теперь шел в народ...

«Раздавать брошюры незнакомым или малознакомым людям из простонародья, идти с проповедью революции или реформы, социализма или простой ассоциации к людям, которые вам не доверяют и не могут доверять, это — безумие, это — игра в пропаганду, игра в то дело, которое вы считаете своею святынею, — так написал Лавров по поводу процесса долгушинцев. — Те, которые вам говорят, что народ готов для революции, для вашей пропаганды, — бессовестно лгут вам. Страдание и притеснение не есть еще готовность восстать. Но если бы народ и был уже теперь готов восстать, то он готов был бы восстать по зову *своего брата*, мужика, но для *вашей* пропаганды, для пропаганды незнакомого человека «из бар» он никогда не был бы готов; вас он выдал бы становому и жандарму накануне собственного восстания... За *своего* человека они постоят, *своего* человека они не выдадут. Для прочной пропаганды надо осмотрительно и обдуманно готовить себе почву в народе...

Для осужденных, для пострадавших у нас нет укора. Они самоотверженно пошли по тому пути, который ука-

ывало им убеждение. Они поступили, как казалось им лучше, как умели. Они ошиблись и пострадали за свои ошибки. Поклон вам, мученики за убеждение, несмотря на ваши ошибки».

Эти его слова были напечатаны в третьем томе «Вперед!».

Контрабандисты на прусской границе заламывали слишком высокую цену, и в редакции решено было попытаться наладить переправку своих изданий через румынскую границу, через пограничную реку Прут. Отправили несколько тюков с третьим томом «Вперед!» в румынский город Яссы. Там эти тюки должен был взять свой человек...

Все это доставило редакции немало волнений. В сентябре Лавров жаловался в письме к Лопатину: «...транспорт давно (с конца июля) лежит в Яссах, но никто его не спрашивает, цена за пролежку растет и, чего доброго, нам его пришлют обратно, взяв с нас деньги за двойной путь по Европе и за пролежку». Такая перспектива особенно удручала потому, что с деньгами в редакции было туго, едва сводили концы с концами.

К счастью, вскоре пришло известие: транспорт изданий получен и уже переброшен через Прут.

Тогда же из письма Лопатина Лавров узнал, что из Парижа в Петербург собирается съездить ненадолго Зина. Он сразу написал письмо непосредственно ей. Называя ее, конечно, по имени-отчеству, Зинаидой Степановной, изложил свои просьбы и поручения. Во-первых, напоминал: «...будьте крайне, крайне, крайне осторожны». Просил повидаться с Гипзбургом или с Кулябко-Корецким, подтвердить им, что, как они знают, в лондонской редакции безденежье полное и, если так будет продолжаться, придется остановить печатание журнала «Вперед!». Просил узнать, есть ли надежда получить гонорар за уже

напечатанные (без его имени, разумеется) разные статьи в прогорающем журнале «Знание» и согласится ли принимать статьи под псевдонимами редактор журнала «Дело» Благосветлов. В конце письма попросил: «Повидайтесь со Штакеншпейдер, скажите ей, что я ее обнимаю от всей души, что мне очень тяжело, что я не могу переписываться с ней, очень боюсь ее компрометировать и, при настоящем положении дел, не решаюсь писать откровенных писем».

Педели через три после того, как Зина выехала в Петербург, от нее пришел перевод на две тысячи рублей Надежде Скворцовой — пакопец-то! Это были деньги, собранные петербургским кружком лавровцев для редакции «Вперед!».

«Очень благодарен Зинаиде Степановне за хлопоты о журнале и обо мне», — написал Лавров Лопатину. В другом письме к Лопатину попросил: пусть Зина возьмет приложенную к этому письму записку и сама отпесет по указанному адресу князю Александру Алексеевичу Кропоткину. «Очевидно, письма к нему из Лондона не доходят, — с досадой отмечал Лавров, — так как я два раза ответил, а он опять спрашивает. Еще. Он устроил с «Делом», значит, и это кончено. Теперь надо узнать, что желательно «Отечественным запискам»?» — То есть, что бы он мог для них написать? Пояснил: «...лучше, если бы они давали мне русские книги для разбора».

Заработок был необходим! Нужно было уменьшить зависимость редакции от материальной поддержки небогатого петербургского кружка. Все свои гонорары Лавров предназначал на расходы редакции и типографии. Жаль, что этих гонораров не могло хватить на все расходы.

На очередные переговоры с контрабандистами в Кенигсберг поехал из Парижа Лопатин — переправлялся тираж брошюры Лаврова «О самарском голоде».

Зина задерживалась в Петербурге. Лаврова это весьма беспокоило, он не был уверен, что она в безопасности. Тем более, что недавно его известили: у Гинзбурга на квартире был обыск (правда, ничего не нашли). Письмом в Кенигсберг Лавров предупреждал Лопатина, что сейчас ему было бы крайне рискованно переходить границу.

Наконец пришло успокоительное известие, что Зина вернулась в Париж.

В доме на Морэй Род все были озабочены болезнью Вари Переяславцевой. Стоял промозглый, пропахший дымом и гарью лондонский ноябрь; мисс Барбара, как ее называли на английский лад, катастрофически худела, кашляла, и Смирнов, хоть и недоучившийся на медицинском факультете, но сведущий в медицине, быстро понял, что у нее чахотка. Конечно, от нее это пытались утаить, ее успокаивали.

Что можно было предпринять? Отправить ее домой, в Россию, в Воронеж, представлялось делом очень простым: падо было списаться с родными, обо всем предварительно договориться... Пока Смирнов лечил мисс Барбару домашними средствами, как умел.

Собрался покидать Лондон Дунечка Рихтер. Он честно сказал товарищам, что ему тут стало скучно, что его жизнь в Лондоне слишком однообразна и вот его «потянуло на простор». Он решил вернуться в Цюрих оканчивать учение в Политехникуме. Охотно согласился быть в Цюрихе доверенным агентом редакции «Вперед!». Обещал сообщить о болезни Вари Переяславцевой ее старшей сестре, которая и теперь училась в Цюрихском университете.

Он оставил Лондон второго декабря.

Варя Переяславцева уже почти не вставала с постели. Вечером седьмого декабря она сказала, что хочет повидаться с сестрой. Линеv накинул плащ и отправился в

телеграфное бюро — послать старшей Переяславцевой телеграмму и деньги на проезд из Цюриха в Лондон. Варю напоили чаем, она сказала, что ей очень хочется спать, и легла...

Когда Линеv вернулся, удрученный тем, что телеграфное бюро оказалось закрыто за поздним временем и он не смог отправить телеграмму и деньги, — Варя уже уснула. Уснула навсегда...

Этого ожидали, хотя, может быть, не так скоро. Смерть ее подействовала на всех угнетающе.

Когда наступила ночь и Лавров остался один в своей комнате, при голубоватом свете газового рожка, он не мог писать, не мог отвлечься. В камине догорел кокс, от окна дуло, и от сознания, что в комнате над ним лежит мертвая девятнадцатилетняя девушка, становилось еще холоднее. Наверно, вообще не следовало везти ее в этот сырой Лондон, надо было решительно сказать «нет», когда она просила взять ее сюда. Но кто мог знать!..

Паутро явился какой-то судебный чиновник, сурово заявил, что для выяснения причин смерти назначается следствие. Английский врач не приглашался к больной, таким образом ее болезнь не была засвидетельствована врачами, теперь Лавров и Смирнов должны предстать перед судом присяжных.

В назначенный день пришли они в суд. Оба уже достаточно хорошо говорили по-английски, в переводчике не нуждались. Отвечая на вопрос, каким образом мисс Переяславцева оказалась в Лондоне, Лавров рассказал, что она должна была оставить Цюрих, так как из этого города выгоняло русских студенток русское правительство...

— Вы, верно, хотите сказать: швейцарское правительство, — заметил судебный чиновник.

— Я хочу сказать именно то, что я сказал.

Англичане очень удивились. Пришлось Лаврову изло-

жить все подробно, но, кажется, присяжные все-таки не вполне уяснили себе, как это царское правительство могло предъявить студенткам такой ультиматум и как это его послушались.

Лавров и Смирнов давали показания под присягой. Суд признал, что смерть Переяславцевой наступила после тяжелой болезни и никто в этой смерти не виновен.

А на душе все же оставалось ощущение какой-то своей вины...

С нового, 1875 года решили преобразовать свой регулярный журнал в газету. Газета должна выходить 1 и 15 числа каждого месяца. Первый номер газеты могли выпустить 15 января.

Об этом Лавров сообщил перед Новым годом в письме к Лопатину, а в ответ получил сообщение, которому никак не хотелось верить.

Русский политический эмигрант Элпидин, имевший свою типографию в Женеве, в личном разговоре убедил Лопатина, что Лавров до сих пор в Лондоне имел дело не с графом Потоцким, а с сыщиком Балашевичем, получающим ныне тысячу франков в год от Третьего отделения. Это раскрылось так: в Женеве живет некто Бутковский, недавно Элпидин встретил его, совершенно пьяного, в каком-то женевском кафе и сказал ему, что он прохвост. «Нет, я не прохвост,— ответил Бутковский, с трудом ворочая языком,— я агент Третьего отделения собственной его величества канцелярии!» Элпидин его раззадорил: «Врете, докажите!» Тогда Бутковский спяну показал бумагу, из которой, между прочим, явствовало, что прежде он был помощником другого агента, Балашевича, когда тот, под именем графа Потоцкого, жил в Париже. То есть еще до того, как обосновался в Лондоне.

Теперь Балашевича-Потоцкого в Лондоне уже не было. Только что, 23 декабря, он уехал в Ниццу, так как

чувствовал себя нездоровым и подозревал у себя чахотку. Антикварную лавку свою он закрыл.

Сведения Эллидина представлялись Лаврову неправдоподобными. Он написал Лопатину: «О Потоцком скажу, что он весьма возможно Балашевич, даже что он деньгу наживает всячески, но что он не шпион, это наверно. Если бы он был шпион, то многие наши были бы захвачены, так как он был одним из наших адресатов, по все корреспонденции на его имя, как и все письма, доходили и писавшие не тропуты. Я получил чрез него, я думаю, писем двадцать из России, если не более».

Но затем Лопатин сообщил ему об аресте в Петербурге Александра Кропоткина.

«Ваши известия о Кропоткине меня очень изволновали,— отвечал Лавров,— хотя я тут ни при чем. Я *никогда* не подписывался даже буквою *Л* в письмах к нему, из Лондона посылал ему письма разве 3 месяца тому назад. Последнее письмо было послано ему из Лейпцига, предыдущее из Страсбурга (и получено)».

Не знал он, что лондонский адрес некоего Томпсона, предложенный ему Балашевичем-Потоцким еще в апреле, был ловушкой Третьего отделения. Этот адрес, не предвидя опасности, Лавров дал Александру Кропоткину, когда тот уезжал из Цюриха в Петербург.

Ответные письма Кропоткина Лаврову шли по этому адресу и всякий раз прочитывались в Третьем отделении. Но не конфисковывались. Конфисковать письмо означало подвести Балашевича: шпион должен был оставаться в революционных кругах вне подозрений. Балашевич из Лондона подтверждал: «Лавров постоянно получает письма по известному адресу». Ни одно письмо, посланное на имя Томпсона, не пропадало, и в глазах Лаврова это подтверждало надежность адреса, да и самого «графа Потоцкого»...

Когда же Балашевич оставил Лондон, в Третьем от-

делении решили, что корреспондентов мнимого Томпсона больше незачем щадить. Очередное письмо Кропоткина по этому адресу было прочитано в Третьем отделении и уже не отослано. Кропоткин был арестован. Ловушка захлопнулась...

В конце мипувшего года арестован был далеко не один Александр Кропоткин. Из России сообщали, что арестованы почти все пошедшие в парод...

И, пожалуй, самым впечатляющим в газете «Вперед!», в первых же ее номерах, оказался раздел «Что делается на родине», где сообщалось об арестах и обысках в Петербурге и в Москве — все, что становилось известно в редакции. Маркс, которому Лавров посылал все номера «Вперед!», написал ему в феврале: «Что меня более всего заинтересовало, так это статьи «Что делается на родине».

Революционная газета, кажется, была пужнее, чем когда-либо прежде. Когда набирали первый номер, очень хотели выпустить его точно в намеченный срок. Набирали на четырех кассах. Наборные гранки Липев, как метранпаж, вставлял в специальные формы, и два новых наборщика отвозили их на ручной тележке в центр Лондона, на Флит-стрит, в типографию газеты «Daily News» («Ежедневные новости»). В этой типографии по договоренности с редакцией «Daily News» за определенную плату печатался теперь весь тираж газеты «Вперед!», и отпечатанные листы ее отвозились на тележке обратно в Холловэй. Перед выходом первого номера Липев не спал две ночи, по этот номер вышел точно 15 января.

Редакция и паборня работали как часы. Лишь один раз едва не опоздали с выходом номера из-за того, что умерла, не дожив до году, маленькая дочка Смирнова. Лавров не мог не упомянуть о смерти ребенка в письме к Лопатину: «...это маленькое существо расстроило

все дела. Я теперь вовсе не знаю, какую программу будет иметь № 8, да и самому очень трудно работать в хлопотах, среди расстроенных существ, рядом с горем, которому ни помочь нельзя, ни облегчить...

В зимнее время смеркалось рано. За окном падал мокрый снег. Видно было, как дымят трубы домов, и лишь падающий снег очищал воздух от сажи.

Он узпал из письма Лопатина, что тот серьезно простудился, и немедленно ответил: «пахожу весьма скверным, что Вы вздумали хворать. Это к лицу старикам, подобным мне, да хилой молодежи вроде *новейшего* поколения. А Вам недозволительно быть даже нездоровым. Надеюсь, что к получению этого письма Вы исправите этот недосмотр в своей натуре, в которой должны существовать лишь совершенства».

Огорчало не только нездоровье Лопатина — это пройдет! Огорчало, что ради хлеба насущного Лопатин занят ныне почти исключительно переводами с иностранных языков и не находит дела более значительного — себе по плечу. «Ваша обязанность, во имя Вашего таланта, Вашего характера, Вашей личности вообще, быть в первых рядах *деятелей*, — написал ему Лавров. — ...Терять время на второстепенные дела, когда есть исторические, — непростительно».

Но и самому некуда было деваться от второстепенных дел.

Вот ныне редакцию «Вперед!» нужда заставляла перебраться в более дешевый дом по соседству, и он опять вспомнил о своей мебели, оставленной в Париже, в квартире на Шоссе д'Антэп. Эта мебель так пригодилась бы для нового дома, избавила бы редакцию от дополнительных затрат. Кроме того, с этой мебелью у него были связаны воспоминания об Анне Чаплицкой...

Пришлось письменно просить Лопатина, чтобы зашел на Шоссе д'Антэн к Станкевичу.

Лопатин рассказал в ответном письме, что Станкевич ему заявил: «Дайте мне адрес Петра Лавровича, я сам напишу ему... Он смотрит на дело исключительно со своей стороны и не хочет взглянуть на него с моей. Пока мы не столкнемся между собою, я не могу выдать вам ничего». Попросту говоря, он не хотел возвращать мебель. И платить за нее не хотел. «Я вручил ему Ваш адрес (которым он, конечно, никогда не воспользуется) и откланялся,— написал Лопатин.— Мебель Вашу видел: она в превосходном состоянии: ни одного пятнышка ни на столе, ни на зеленой обивке дивана...»

На эту мебель пришлось махнуть рукой.

Никак не удавалось выкроить время, чтобы съездить на другой конец огромного Лондона, в Гринвич, где пыне поселился старый Огарев. Чтобы добраться в омни-бусах из Холловэя в Гринвич и вернуться обратно, потратить нужно было несколько часов, а свободных дней у редактора газеты «Вперед!» не было.

Наконец он как-то в субботу выбрался в Гринвич.

Он нашел маленький коттедж с известным ему номером, постучал у входа дверным молотком. Ему открыла незнакомая женщина, с виду лет примерно сорока пяти, и провела в кабинет. Огарев поднялся навстречу, протянул слабую руку. Они уселись в креслах, и Лавров окинул взглядом стены, увешанные портретами, акварельными миниатюрами, дагерротипами. Множество лиц напоминало об ушедшей эпохе, почти никого из них уже не было в живых, и Лавров подумал, как печально жить старику среди этих портретов.

Конечно, висел на стене и портрет Герцена. И вспомнился Лаврову другой портрет Герцена, конфискованный полицией девять лет назад — в его прежнем кабинете с окнами на Фурштатскую...

Огарев сказал, что его почти всегда можно застать

дома. Болезнь не позволяет ему надолго отлучаться. Его опекает, спасибо ей, добрая подруга, англичанка, единственный близкий человек — это она открыла дверь, когда Лавров постучался у входа. Ради нее Огарев поселился теперь в Англии.

Вспомнилось, как в прошлом году российские газеты напечатали грозное обращение к девятнадцати подданным империи, незаконно проживающим за границей, в том числе Бакунину, Огареву, Лаврову, Лопатину, Ткачеву, Смирнову, Сажину. Им официально объявлялось, что в течение шести месяцев они обязаны вернуться, в противном случае пусть пеняют на себя: придется отвечать по всей строгости законов. Но можно было не сомневаться, что если они подчинятся и вернутся, то с ними также церемониться не будут и отправят на жительство куда-нибудь в глушь, под полицейский надзор. Поэтому угрожающий газетный окрик не подействовал...

Лавров сказал, что будет очень рад, если Огарев сочтет для себя возможным сотрудничать в газете «Вперед!». Старый поэт не только согласился, но прямо-таки воспрянул духом. Видно было, что он чрезвычайно утешен таким предложением...

К вечеру Лавров вернулся к себе в Холловэй.

На другой день получил письмо:

«Истинное спасибо Вам за посещение, Лавров. Оно мне снова дает надежды на деятельность. Тотчас после Вашего посещения, кажется, совладал с поэмкой, которую Вам и посылаю. Если думаете, что можно напечатать, напечатайте...

Ваш новый старый друг *Огарев*».

Читая новые стихи Огарева, Лавров вдруг сам загорелся желанием написать что-то важное и насущное в стихотворной форме.

Он сочинил «Новую песню». Показать товарищам по

редакции свое стихотворение стеснялся. Поэтому придумал такой ход: послал его Лопатину и в сопроводительном письме попросил: «...откройте прилагаемый листок, спишите, что там заключается, и пришлите мне как бы полученное Вами от лица, требовавшего безусловного молчания, для «Вперед!». Пришлите в письме, которое можно было бы в случае чего показать другим. Вещь недостаточно удовлетворительная, чтобы сознаться...»

На прилагаемом листке Лопатин мог прочесть эту вещь — «Новую песню» Лаврова, чье имя, как автора стихотворения, должно было остаться тайной. Начинаясь «Новая песня» так:

*Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог.*

А в конце рефреном звучали строки:

*Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!*

Мог ли Петр Лаврович предполагать, что эти строки станут «Рабочей Марсельезой», которую будут петь по всей России годы спустя...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В дом на улице Эвершот Род в Холловэе редакция газеты «Вперед!» перебралась в мае 1875 года. И здесь на каждом этаже было только по две комнаты: окнами в сад и окнами на улицу. Дом был теснее прежнего, зато дешевле, и сад во дворе оказался больше и лучше — вид из окна радовал глаз. Особенно сейчас, когда по-весе-

ему ярко зеленела листва, потеплело и окна можно было держать открытыми.

В соседнем переулке, застроенном сараями и копиями, нанят был сарай с верхним освещением — застекленной частью потолка. В сарае поставили паборные кассы.

Летом Лопатин снова нелегально отправился в Россию.

Первое же его письмо к Лаврову из Петербурга больно ударило известием об Александре Алексеевиче Кропоткине: «...князя А. А. выслали в Минусинск Енисейской губернии. Все вышло *из-за его письма к Вам*, перехваченного на почте, и из-за его дерзких ответов...»

А в сентябре Лопатин сообщил, что перехваченное письмо Кропоткина было отправлено по адресу: Mr. Thompson, care of Mr. Albert, то есть «М-ру Томпсону через м-ра Альберта». «Обстоятельство это не лишено значения», — замечал в письме Лопатин. Ведь Альбертом назывался на почтовых конвертах мнимый Потоцкий... Значит, все-таки этот проклятый адрес подвел Кропоткина! Значит, гнусный провокатор обвел Лаврова вокруг пальца... Вот уж — век живи, век учись...

Вести из России были угнетающими: аресты молодых революционеров следовали один за другим.

Протянуть братскую руку тем, кого преследуют! Убеждающим словом поддержать в них сознание своей правоты!

Со всей горячностью написал Лавров статью «Новый разгул сыщиков»:

«Мы надеемся, мы уверены, что социально-революционное движение в России перешло уже тот фазис, когда арест двух-трех десятков лиц мог остановить его. Оно пустило корни, которых уже не вырвать сыщикам, и *теперь* преследования могут лишь *усилить* его.

...Да, русские капиталисты и купцы, русские чиповники и сыщики, столпы и державные эксплуататоры русской империи, и у вас загорелась почва под ногами...

Что вы можете противопоставить проповеди братского союза всех трудящихся, союза, который должен смести с земли русской всех паразитов, питающихся жизненными соками трудящегося народа?..

Не противопоставите ли вы нам идею самодержавного богопомазанника, безответственного пред рабами, единого просвещенного божественным разумом среди темной толпы? Вы сами не верите уже этой полинялой тряпке...

Или не выпесете ли вы против нас хоругвь православия, этого вечного раба сильных, который никогда не протянул руки страждущему, подавленному народу русскому,— этого жалкого паразита, который прожил тысячу лет на русской почве, впусив к себе лишь презрение? — Но кто и когда мог опереться на эту болотную трясину? Разве православие могло спасти кого-нибудь?

...У вас нет и не может быть принципов, и потому вы можете лишь опираться на силу в ваших гонениях на социалистов. Но и ваша сила вовсе не прочна, и тайное сознание этой непрочности усиливает вашу панику, усиливает то озлобление, с которым вы бросаетесь на всякую жертву, не разбирая, насколько она опасна для вас...»

Летом в Лондоне побывал Сергей Кравчинский, революционер с кипучей натурой и несомненными литературными способностями. У Лаврова сложилось впечатление, что этот молодой человек не имеет возражений против его политической программы. Отношения с членами редакции «Вперед!» у Кравчинского были дружескими.

Он уехал в Париж, а в октябре прислал Лаврову про-

странное и резкое письмо — ничего подобного Кравчинский не высказывал, пока был в Лондоне. Теперь он писал:

«Мне кажется, что орган, который был бы действительным руководителем партии, должен писаться людьми, *действующими* в России. Заграничный же эмигрантский орган никогда этого не достигнет. Он всегда будет жить задним числом. В самом лучшем случае будет идти позади партии, а никогда не впереди ее. Такова судьба всех эмигрантских органов. Конечно, бывают исключения из этого правила. «Колокол» был одним из них. Но нужен тут особый «дар ясновидения», который составляет удел весьма немногих. Нужно иметь то, что называется революционным инстинктом. Этого инстинкта не вырабатать никакими усилиями. Это всего менее продукт мысли или логики. Главный источник его — революционная страсть.

Только этот революционный инстинкт может служить путеводной нитью...

У вас этого инстинкта нет. Вы — человек мысли, а не страсти. Ну, а этого недостаточно...

Вы хотите социальной революции в самом полном, самом обширном, одним словом, в самом *научном* смысле этого слова. Вы ждете того времени, когда русский народ будет в состоянии подняться с *ясно осознанной* социальной программой самой высшей пробы...

Мы не верим ни в возможность, ни в необходимость такой революции, какой вы ждете. Никогда еще в истории не бывало примера, чтобы революция начиналась ясно, сознательно, «научно»...

Может ли пропаганда образовать хотя бы самое ничтожное революционное меньшинство в народе? Нет, для этого она совершенно бессильна. Прежде всего скажу, что «социалист» еще не значит «революционер», по положим, что каждый социалист — революционер. Спраши-

вается, много ли мы можем напропагандировать социалистов? Об этом смешно и спрашивать! Ведь нас ничтожная горсточка...»

Кравчинский ожидал, что вот пройдет в Петербурге большой судебный процесс по делу арестованных пропагандистов и раскроет всем глаза на бесполезность пропаганды в народе и на необходимость перейти к бунту: «Ведь это правительство только сдуру так перепугалось. На самом деле мы ничего страшного не сделали. Мы оставили после себя несколько десятков пропагандистов из народа, вот и вся непосредственная польза, которую мы принесли!.. Поэтому всем живым людям, которым дорого дело, а не «спасение души», т. е. удовлетворение разным своим нравственным потребностям, придется либо сложить руки, либо выбрать другой путь». Какой? «...более смелый, более решительный, т. е. путь прямого бунта».

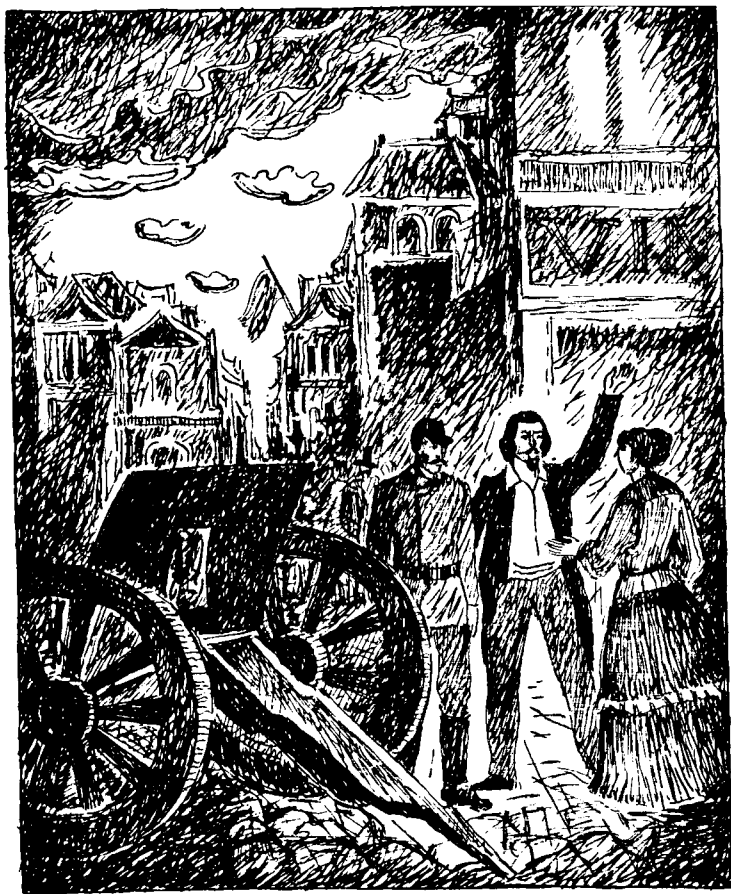
Что на это ответишь?

Лаврова не убедили слова Кравчинского о бесполезности пропаганды в народе, бесполезности убеждающего слова, но особенно задело в письме утверждение, что у него «революционного инстинкта нет». Мог ли он доказать обратное? И возможно ли вообще доказать присутствие в ком бы то ни было такого качества, как революционный инстинкт?

Время покажет, на чьей стороне правда и чей путь вернее ведет к цели...

Он получил только что напечатанный в Женеве первый том первого собрания сочинений Герцена. Подумал: наконец-то, давно пора! Но прочел предисловие — и возмутился.

Предисловие было напечатано без подписи, но можно было не сомневаться: его написал Вырубов. Это ведь он подготовил том к печати. Вырубов без тени сомнения утверждал, будто покойный Герцен «не был вовсе поли-



тическим человеком» и «не дотрагивался до формы правления». Да читал ли Вырубов Герцена с должным вниманием или только перелистывал небрежно?

А ведь кто-то может прочесть предисловие и поведить — авторитетному тону и якобы авторитетному свидетельству!

Надо написать и в ближайших номерах «Вперед!» напечатать статью с иной характеристикой великого Герцена — показать, кем он на самом деле был. «Он выступил передовым политическим мыслителем среди полного заглушения политической мысли», и в доказательство Лавров привел длинный ряд цитат из книг и статей Герцена.

Последняя цитата в этом ряду была ему особенно по душе — слова Герцена собеседнику, что всякий человек может «быть незаменимой действительностью». И далее:

«Теперь вы понимаете, от чего и от кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— Как от кого?.. Да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!»

Осень была на исходе, шли холодные дожди. Однажды вечером заехал в редакцию Врублевский. За дружеским разговором у пылающего камина просидел час или полтора. Вспоминал разные эпизоды из своей жизни. Рассказал историю одновременно смешную и печальную: когда в газетах было пропечатано, что Врублевский стал в Париже генералом, знакомые его матери в Белостоке приходили к пей поздравлять: как же, ее сын получил такой важный чин, и притом за границей, да еще в Париже! Зато когда узнали, что представляет собою Коммуна, мать Врублевского не могла даже показаться в так пазываемом обществе...

Он пригласил всех сотрудников редакции, в первую очередь «пана полковника», то есть Лаврова, на собрание, назначенное на 4 декабря в таверне «Белая лошадь», в лондонском районе Холборн. Оно посвящалось 45-й годовщине польского восстания 1830 года.

Накануне собрания Лаврову прислал записку Маркс — извещал, что по болезни не сможет прийти — в такую погоду его особенно мучает бронхит...

Вечером 4-го почти все сотрудники редакции «Вперед!» прибыли в «Белую лошадь». Там собралось человек пятьдесят. Большей частью, разумеется, поляки. Пришло также несколько чехов, немцев, сербов, один француз. Сначала была «коляция», то есть ужин, пили пиво, но некоторые гости время от времени ускользали по лесенке вниз, в подвальчик, где можно было выпить и кое-что покрепче. Наконец поднялся Врублевский и открыл собрание.

Он прочел приветственные письма от Маркса и Энгельса, произнес короткую речь по-французски. В речи своей он отметил, между прочим, значение социально-революционной партии в России:

— Одна эта партия имеет силу, потому что она одна имеет самоотверженных приверженцев, одна имеет нравственные, благородные цели... Польский народ и русский народ должны восстать вместе, как наши отцы говорили, «за нашу и вашу свободу»!

Он еще говорил по-польски. Воодушевляясь, он становился красив, несмотря на заметные оспины на лице.

После него поднялся Лавров. Польским языком он владел слабо, мог обратиться к присутствующим по-французски, по-немецки, по-английски, но решил, что русская речь будет здесь более понятна. Он сказал:

— Товарищи социалисты, мы сошлись здесь во имя общего нам всем убеждения, что лишь на почве международной солидарности возможно решение вопросов сов-

ременной жизни, современной истории; но мы сошлись также, чтобы помянуть добрым словом борцов 1830 года за польскую национальность. Нет ли в этом противоречия? Не должны ли мы, во имя международного рабочего социализма, зная которого есть наше знамя, отречься от прошедшего, разорвать связь с традицией политической, национальной борьбы? Нет, потому что международный социализм не есть отречение от истории...

Потом говорил Смирнов. Голос у него был слабый, под стать его тщедушной фигуре. Ему сразу стали кричать, чтобы говорил громче. Надсаживаясь, то и дело срываясь на фальцет, он выкрикивал:

— Перед русскими и польскими социалистами лежит один путь!.. Мы должны раскрыть глаза народу на его положение, указать причины его несчастья... Вдохнуть в него уверенность, что его спасение заключается в его руках... К счастью, существует могущественное оружие... Это — пресса, печатное слово... — И под конец торжественно провозгласил: — Польские социалистические батальоны бумажных агитаторов будут иметь своих Врублевских и Домбровских!

Ну, выражение «бумажные агитаторы» было, пожалуй, неудачным, но по сути он сказал то, что следовало сказать.

Однако в таверне собрались, по всей видимости, не только социалисты. Какие-то подвыпившие гости подняли шум, находя, что произнесенные речи не имеют отношения к годовщине восстания. Атмосфера накалилась, и члены редакции «Вперед!» решили, что им здесь больше нечего делать. Врублевский был заметно расстроен — не ожидал, что вечер так неприятно закончится.

Вернувшись домой, на Эвершот Род, Лавров и его сотрудники решили поместить в своей газете отчет о собрании, напечатать тексты речей, но о вздорных препирательствах не упоминать. Так и поступили.

Однажды в начале зимы в комнату Лаврова поступался Смирнов, вошел, затворил за собою дверь и сказал под секретом, что к нему недавно обратилась Гертруда, обратилась как к врачу. Оказалось, что она беременна. Кто отец ребенка — неизвестно, во всяком случае — кто-то для редакции посторонний: здесь молодые люди даже не подозревают о ее беременности, хотя ей уже месяца через два предстоит родить. За месяц до родов она собирается уйти в больницу и умоляет не увольнять ее, принять обратно, когда она придет уже с ребенком.

Разумеется, Лавров сказал, что она может не беспокоиться. Как-нибудь месяца два обойдемся без хозяйки и без прислуги. Надо же бедняжку пожалеть. И пельзя выдавать ее тайну — ведь она не замужем...

Дней за десять до нового года, за утренним чаем, Липев огласил новость: вчера вечером Гертруда ему сказала, что получила письмо из Германии, куда ее зовут для получения наследства, и она должна ехать.

Самое поразительное было в том, что Липев и все остальные, кроме посвященных в тайну Смирнова и Лаврова, кажется, искренне поверили этому. Или умело притворились? Лавров испытал неловкость чрезвычайную: слышал ложь, которую не имел права опровергать, и должен был сделать вид, что верит услышанному. Он почувствовал, что густо краснеет, — и стыдно было краснеть: он же не мальчик! Закашлялся и уткнулся в свой стакан с чаем.

И вот Гертруда па время оставила дом. Оказалось, что молодые люди прекрасно сами справляются с домашним хозяйством. Посуду мыли по очереди, не позволяя мыть ее только Петру Лавровичу — из уважения к возрасту.

Отсутствие Гертруды он ощутил в одном: она никогда не забывала подкладывать кокс в его камин, он же, за

работой, забывал постоянно. Камин потухал и быстро остывал — холодно и неуютно становилось в комнате...

Пароходы Русского общества пароходства и торговли совершали регулярные рейсы между Лондоном и Одессой. Этим путем сотрудникам редакции «Вперед!» не раз удавалось переправлять газету в Россию, они знали расписание пароходов, заходивших в лондонский порт. С русскими моряками знакомились в портовых тавернах. Мастером заводить знакомства оказался Линеv.

В Одессе груз нелегальной литературы передавался надежным людям. Появились у редакции друзья или просто сочувствующие на пароходах «Чихачев», «Корнилов», «Цесаревич» и «Буг».

В декабре до редакции дошел тревожный слух, что одесская полиция провела на «Корнилове» обыск. Нелегальную литературу как будто обнаружили, а виновников — нет. Приказано следить за пароходами, идущими из Лондона в Одессу, и тщательно осматривать их.

В январе 1876 года Линеv узнал, что в лондонский порт пришел «Корнилов», и направился туда. Вернувшись, рассказал: он говорил с моряками и узнал, что пароходы действительно обыскивают. Начали с «Корнилова». Пароход был остановлен на одесском рейде прежде, чем успел причалить, на борт поднялись полицейские и таможенные чиновники. Команда думала, что ищут контрабандный табак. Но ничего не нашли, потому что как раз в этом рейсе никакой нелегальной литературы на пароходе не провозили.

В феврале в редакцию вернулась Гертруда с ребенком на руках. У нее родилась девочка, названная тоже Гертрудой.

Уволить ее было немыслимо, а платить ей сейчас было печем, высылка денег из Петербурга опять задержива-

лась, редакция увязала в долгах. В марте Смирнов был вынужден прямо написать Гинзбургу: «Мы находимся в безвыходном положении. Буквально через несколько дней нечего будет жрать. Знайте: если к 25 марта не будут Вами посланы по телеграфу 1100 рублей (за апрель, март), то мы продаем типографию... Долг, который превышает 85 фунтов, т. е. более 600 рублей, мы покрыть ничем не можем. Поэтому Линеvu или Лаврову предстоит счастливая участь ознакомиться с лондонскими тюрьмами».

К 25 марта деньги не пришли, неужели придется продавать типографию? Нет, надо держаться! Пока еще в съестной лавке дают в долг...

В апреле наконец-то получили небольшие суммы из Петербурга и Москвы. Лавров написал Лопатину 25 апреля: «Сегодня получены деньги 500 рублей. Это, конечно, на затычку, не более, но все же устранил мгновенный крах».

Налаженная переправка газеты через прусскую границу оказалась под угрозой. Насколько эта угроза серьезна, можно было заключить по газете «*Ostpreussische Zeitung*» — номер ее от 7 марта с большим запозданием переслали Лаврову из Кенигсберга. В этом номере он прочел: «Огненные языки социально-демократических идей, лижущие весь мир, распространились даже и на Россию... По знаку, данному с той стороны границы, из экземпляров газеты «Вперед!», сильно распространяемой на здешних вокзалах, полиция конфисковала первые четыре номера газеты за прошлый год и, к сожалению, всего по одному экземпляру...» В конце статьи говорилось, что против газеты «Вперед!», как следует ожидать, будет применен германский закон о печати.

В этой статье обращали на себя внимание слова: «по знаку, данному с той стороны границы», — это означало,

что российская полиция пые действует совместно с полицией Восточной Пруссии.

Германский закон о печати действительно применили против газеты «Вперед!».

Вот когда можно было вспомнить стихотворение Огарева «Свидание», помещенное на страницах «Вперед!» год тому назад,— о свидании императоров Александра Второго и Вильгельма, пекущихся о «сохрaппости власти».

Старик Огарев оставался внимательным читателем газеты «Вперед!» и писал из Гринвича письма: хвалили газету за ее содержание, но ругал передовые статьи за то, что пестрят иностранными словами. Спрашивал: «...нельзя ли почти все иностранные слова, даже слово «эксплуатация» перевести на русский? Иначе оно будет непонятно». Но Лавров не умел перевести слово «эксплуатация» на русский язык.

Из Швейцарии сообщили: 1 июля 1876 года умер старый бунтарь Михаил Александрович Бакунин. Пришло обширное письмо из Берна о его копчине и похоронах. Письмо напечатали. Уважительно помянули человека, отдавшего всю жизнь делу революции, как он его понимал. Неистовый, страстный, он умел воодушевлять, воспламенять молодые души, как мало кто другой...

Не он один обманывался и ждал революцию в России не сегодня завтра. Вот в прошлом году неукротимый Ткачев начал издавать в Женеве газету «Набат». Само ее название говорило о том, что ее издатель верит: пора бить в набат, революции пора начаться. Ткачев выпустил девять номеров газеты и в каждом призывал русский народ к бунту, к восстанию. Десятый номер его друзья выпустили уже без его участия, он, кажется, перебрался из Женевы в Париж. Дальше выпускать газету сторонникам Ткачева удавалось от случая к случаю — видимо, не было средств... А революция все не начиналась.

Лавров написал и напечатал на страницах «Вперед!» статью «Патологические явления». Печально отметил, что есть в России немало молодых людей, в которых проснулась решимость бороться с существующим злом, но они испытывают горькое разочарование, когда убеждаются, что общество, устроенное по новым началам, «приходится готовить с трудом, с известной степенью медленности, при условиях кропотливых и некрасивых. Они ждут, что истина, едва высказанная, разом осветит мир и покорит людей, а рутина жизни, рутина привычек представляет упорное препятствие распространению истины на каждом шагу...»

Когда в редакцию пришло известие, что в Лондон приедет из Петербурга Кулябко-Корецкий, все воспрянуло духом, ожидая, что он привезет деньги. Но вот в августе он прибыл — и при нем оказался только собственный кошелек с мелкими серебряными монетами.

— Вы хотите опозорить мое имя! — вспыхнул Лавров, имея в виду, конечно, не одного Кулябко-Корецкого, а весь петербургский кружок. — Я дождусь, что меня за долги посадят в тюрьму. В Англии на эти случаи законы строги и нашу славянскую безалаберность не признают.

Вскоре все же деньги пришли, как всегда — в обрез, но с долгами расплатились... Кулябко-Корецкий включился в работу редакции.

На последней странице газеты «Вперед!» 1 сентября напечатали объявление: «Получены в редакции два письма на имя Друга. Просим сообщить его нынешний адрес для передачи или зайти за письмами, если он еще в Лондоне».

Письма уже были переданы адресату, когда Лавров получил еще один отклик на это извещение. Еще один человек предполагал, что в извещении речь идет о

письмах, адресованных ему, и просил их переслать — указывал свой адрес. Далее писал:

«Я бы, конечно, сам зашел справиться, но меня предупреждали, что таким путем я легко могу быть выслежен (у сыщиков имеются схожие мои портреты), а этого я вовсе не желал бы, так как собираюсь скоро вернуться в Россию.

Адрес и имя не сообщайте никому.

Остаюсь

искренно Вам преданный

П. Кропоткин».

Месяца полтора тому назад газеты сообщали, что князю Петру Кропоткину, переведенному по болезни из тюрьмы в военный госпиталь, удалось из госпиталя бежать... И вот он здесь, в Лондоне. Лавров немедленно ответил на его письмо, пригласил зайти.

Через день или два кто-то постучал дверным молотком у входа, ему открыла жена Смирнова, Розалия Идельсон. Бритый молодой человек в цилиндре спросил по-английски:

— Дома ли мистер Лавров?

Спал цилиндр и обнажил облысевшую преждевременную голову.

Он не назвал себя, но глаза его напомнили ей Александра Кропоткина, и она сразу догадалась, что это его брат Петр. Поднялась по лестнице к Лаврову и сказала, что его спрашивает Петр Кропоткин.

Следом вошел и он сам. Лавров его обнял, усадил, и Кропоткин поведал свою тюремную эпопею, рассказал о своем необычайном побеге — среди бела дня — с помощью друзей. И оказалось, что среди этих друзей был тот самый доктор Веймар, чьим заграничным паспортом воспользовались некогда Лавров и Лопатин...

Лавров сразу предложил Кропоткину принять участие в работе редакции, и тот согласился. Взялся подго-

товить очередное двухнедельное обозрение русских газет.

Теперь Кропоткин стал захаживать в редакцию, по-дружился с Линевым, но видно было, что здесь он чувствует себя как бы не в своей тарелке — ведь он по взглядам своим был анархистом, его кумиром оставался Бакунин. И уже 1 ноября Кропоткин распрощался с редакцией «Вперед!». Поехал он не в Россию, как собирався, а к своим друзьям анархистам в Швейцарию.

Петербургский кружок лавровцев решил провести в Париже съезд. Слово «съезд», пожалуй, звучало тут слишком громко: съехаться должно было всего человек семь. «Вот выдумали-то,— писал об этом Лавров Лопатину,— по для меня лично это приятно: повидаясь с Вами и постараюсь дня на три-четыре продолжить мое пребывание в Париже. Только бы откуда-нибудь получить деньги мои, а то мои капиталы понизились до 1 шиллинга».

Лопатин немедленно прислал ему денег. «Когда-нибудь разочтемся»,— отвечал Лавров с благодарностью.

Причина проведения съезда была ему ясна и вызывала тяжелую досаду. Еще прошлой осенью представитель петербургского кружка приезжал в Лондон и уже тогда, на почти ежедневных совещаниях, ставил в укор Лаврову, что он будто бы идет на уступки бунтарям-бакупистам, и он раздражался, отказывался от редакторства. Его уговаривали остаться, он чувствовал, что без него редакция развалится, дело будет погублено, и поэтому не ушел. Теперь можно было ожидать, что те же претензии будут высказаны на съезде.

Итак, на парижской квартире собрались в начале декабря Лавров, Линева, Смирнов, Гинзбург, два делегата из Киева и один из Одессы. На первом же заседании Гинзбург выразил неудовлетворенность петербургского кружка и формой издания (предпочли бы видеть не газету, а журнал), и, до некоторой степени, выбранным управлением — он требовал ограничиваться мирной про-

гагандой и возражал против призывов к активным действиям. В ответ Лавров резко заявил, что полагает необходимым, напротив, усилить боевой характер газеты. Он потребовал признать за лондонским кружком право на самостоятельность решений. Поддержал его только Линев. Остальные с его требованием не согласились.

Не считаться с их мнением Лавров не мог. Тем более что издание находилось в прямой зависимости от материальной поддержки из Петербурга. Поэтому он заявил: все услышанное здесь вынуждает его отказаться от редакторства. Но он намерен и дальше служить всеми силами делу социальной революции в России.

Прозаседали одиннадцать дней в прокуренной чьей-то квартире и разъехались из Парижа кто куда.

Лавров вернулся в Лондон подавленный, удрученный итогом парижского съезда. Смирнов воспринял его отказ от редакторства как нежелание считаться с младшими товарищами, был раздражен до крайности.

В Лондоне Смирнов и Кулябко-Корецкий решили при поддержке, пока еще только словесной, петербургского кружка выпускать сами с нового, 1877 года уже не газету и не журнал, а неперидическое издание, сборник — под прежним названием. Решили, что обойдутся без Лаврова. А он никогда не позволял себе навязывать свое участие людям, которые считали, что вполне могут обойтись без него.

Отойдя от редакции, он стал подыскивать себе другое жилье — врозь так уж врозь! В январе он снял меблированную комнату, сумрачную, с одним окном и грязно-зеленым ковром на полу, в доме на Тоттенхем Корт Род, поблизости от Британского музея. Чтобы перебраться, не обременяя себя новыми долгами, он заложил в ломбард свои серебряные ложки и медвежью шубу, которую не надевал со дня выезда из России. Прискорбнее всего было то, что он оказался вынужден — временно, пока не имел

заработка, — согласиться на пособие, предложенное ему еще в Париже участниками съезда, — четыре фунта в месяц. Сейчас без этих четырех фунтов никак ему было не прожить...

Еще летом минувшего года Лопатин переслал Лаврову привезенную из Сибири рукопись Чернышевского. Это была первая часть романа «Пролог», написанная во время пребывания ссыльного автора на перчинских заводах, до того, как его упрятали еще дальше, в Виллюйск.

Долгое время в редакции советовались и решали, как ее печатать — с именем автора или без. Теперь эту рукопись Лавров оставил Смирнову и Кулябко-Корецкому — они готовились ее напечатать.

Но вот Лавров получил из Женевы письмо от украинского публициста Драгоманова, отосланное 5 февраля. Драгоманов писал: «Сегодня я получил письма Пыпина и М. Антоновича для передачи Вам, каковые письма и посылаю. Оба пишущие просят Вас отвечать на эти письма мне... Мне кажется, что в самом деле надо бы приостановиться с выпуском романа и проверить, какова на этот счет воля автора».

Значит, слух о предстоящем печатании романа «Пролог» докатился до Петербурга. Пыпин был известным литератором и, главное, двоюродным братом Чернышевского. Антонович — старым его сотрудником по редакции журнала «Современник».

«Милостивый государь Петр Лаврович! — писал Пыпин. — ...До меня дошло известие, что Вы намереваетесь печатать или уже печатаете одно сочинение г. Чернышевского... Не знаю, как могло придти к Вам это сочинение, но могу уверить в одном, что ни автор, ни его семья не могли дать и не давали никому подобного полномочия; а я, которому Чернышевский поручал свою семью и свои дела, еще менее мог дать такое полномочие. Если кто-

побудь сказал Вам, что *мог* Вас на это уполномочить, он *лгал*, и доставка к Вам сочинения есть *кража...*»

Пыпин требовал «уничтожить издание и молчать о нем». «Я не могу себе представить противного,— писал он запальчиво,— это было бы невероятное дело — люди, считающие себя почитателями человека, собственноручно помогают его врагам топить его глубже и глубже, до полной гибели. Отвечайте двумя словами тому лицу, которое Вам перешлет мое письмо; прямая переписка по такому предмету невозможна».

О том же, только в более спокойном тоне, писал Антонович: «Вы и представить себе не можете, сколько неприятностей может навлечь на Николая Гавриловича появление его сочинения в заграничной печати».

Смотрите, пожалуйста. Его, Лаврова, обвиняют — и в чем! В том, что он становится соучастником кражи и предательства! В тех же грехах обвиняют, по сути, Лопатина! Несправедливость и вздорность этих обвинений возмущали до глубины души.

Свой ответ Драгоманову он начал сдержанно:

«Вы, конечно, прекрасно знаете, каков может быть в настоящую минуту мой ответ по сущности дела, о котором сообщили письма П-а и А-а. С выходом № 48 я более не редактор, все дела по изданию перешли в другие руки, и я лично могу лишь сообщить новым лицам, ведущим литературное дело «Вперед!», письма, Вами присланные. Лица эти Вам известны: это Валериан Николаевич и Николай Григорьевич». То есть Смирнов и Кулябко-Корецкий. Отметив далее, что роман будет напечатан без имени автора, Лавров продолжал: «...указывают на вред, который может нанести автору это издание. По-моему, хуже настоящего ничего быть не может для него, по всем сведениям, которые я имею о его пребывании в Вилуйске... Не смерть, не мучение, не преследования страшны людям, подобным Николаю Гавриловичу, а забвение, затушева-

ние, смерть общественная при жизни... Позволить же ему *спокойно* (!) издохнуть забытым новой жизнью могут желать только люди, которые лгут, называя себя его друзьями и последователями.

Что же они сделали для него, его друзья и последователи? Мне хорошо памятно (может быть, и г. Пыпину тоже) то *позорное* заседание Литературного фонда, где за Чернышевского предоставлено было говорить лицу, никогда не бывшему близким с ним, а из трех его *друзей*, бывших в комитете в то время, один не приехал, другой говорил против, третий — *самый близкий* — отказался подавать голос и говорить вообще».

Этим «самым близким» был, разумеется, Пыпин! И не он ли уничтожил тогда рукопись Чернышевского, присланную из Сибири? Жалкий трус!

«Мое убеждение таково: все ненапечатанные произведения Николая Гавриловича, имеющие какое-либо социальное значение и не роняющие его имени, могут быть напечатаны революционной партией, если только попадут к ней в руки. Так как они были бы оставлены под снудом его друзьями, то автор ровно ничего не теряет, если они появляются путем пропаганды и раздаются большей частью даром. Уважение к нему и желание поддерживать его славу выражается не в трусливых попытках дать *забыть* о нем, а в стремлении неустанно напоминать о нем, так как *худшего*, чем теперь, для него уже ничего быть не может».

Вот так. И пусть горят щеки у Пыпина с Антоновичем!

Лавров позднее написал Драгоманову еще одно письмо: «...полагаю, что романы пишутся не для себя, а для читателя, следовательно, автор должен был желать, чтобы его роман был напечатан. А. Н. Пыпина не считаю в настоящую минуту даже приблизительно представителем мнений Чернышевского и думаю, что первый

просто боится, как бы не подумали, что рукопись шла в редакцию «Вперед!» через *его* руки, боится *за себя*, а не за Николая Гавриловича. Справляться в Виллюйске несколько неудобно. Поэтому думаю, что нет вовсе достаточной причины не печатать и не издавать роман».

И вскоре этот роман Чернышевского вышел из печати.

Теперь каждое утро, в девять часов, Лавров выходил из дому, шел по Тоттенхем Корт Род. Направлялся в библиотеку Британского музея.

Улицы пахли морским ветром и рыбой, а читальный зал библиотеки — кожаными переплетами книг. Днем лишь на полчаса прерывал он свои занятия в тишине огромного читального зала, в ближайшей к музею таверне съедал что-нибудь на обед, возвращался в библиотеку, читал и писал до сумерек. Когда начинало темнеть, уходил и дома допоздна продолжал работать за письменным столом.

С миром и людьми его связывала почта. Не виделся он теперь почти ни с кем, разговоры вел в письмах, и долгие дни, а то и недели разделяли вопрос и ответ.

Петербургский журнал «Дело» уже печатал его статьи, без имени автора, теперь из Петербурга сообщили, что в этом журнале ему предлагается регулярно вести научную хронику. Еще ранее получил он предложение снова писать для «Отечественных записок», а также для «Русских ведомостей». Он приободрился. «Значит, у меня 3 тетивы на луке,— отмечал он в письме к Лопатину.— Посмотрим, как они выдержат».

О новом судебном процессе в Петербурге, по делу пятидесяти обвиняемых, он узнал из газет. Среди осужденных на каторгу были и бывшие дюрихские студентки — те самые «фричи», что набирали в типографии первый том «Вперед!»... Софья Бардина, которую он так хорошо помнил, теперь в последнем слове обращалась к судьям: «Преследуйте нас,— за вами пока материальная

сила, господя; но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи,— увь,— па штыки не улавливаются».

Именно так!

И ведь это были не только отважные, но и такие скромные девушки... Не захотели встретиться с Тургеневым потому, что он предполагал увидеть в них черты характера своих будущих героинь, думал написать роман о таких, как они. Теперь об этой несостоявшейся встрече можно только пожалеть, но если роман о них написан не будет, то хотя бы в статье рассказать о них — так, как они того заслужили,— он, Лавров, может и должен.

Как раз в эти дни получил он письмо от Маркса, предлагавшего дать краткую сводку для английской газеты о судебных и полицейских преследованиях в России за последние годы. «Я думаю, что это принесло бы большую пользу»,— замечал Маркс.

Лавров откликнулся с величайшей готовностью. Ему понадобилось меньше недели, чтобы написать необходимую статью. Увидев ее потом на страницах газеты и понимая, что статья была напечатана благодаря содействию Маркса, Лавров от души поблагодарил его в письме.

Маркс отвечал 17 апреля: «Меня поистине удивило Ваше письмо. Ведь Вы по моей просьбе взяли на себя труд... и Вы еще считаете себя обязанным мне! Наоборот, я Вам обязан».

А 23 апреля Маркс, видимо желая сделать для него что-то приятное, прислал ему билет в театр на «Ричарда III» — «от имени моей дочери Тусси».

Так Лавров, единственный раз за все время пребывания в Лондоне, побывал вечером в театре. Зато на трагедии Шекспира!

Король Ричард III произносил со сцены знаменательные слова: «Кулак нам — совесть, и закон нам — меч». Этими словами он изобличал себя. Вернее сказать, это

Шекспир изобличал тиранов — вот у кого надо было учиться искусству изобличать!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он предполагал, что педели через две вернется, поэтому 1 мая выехал в Париж налегке. Но Лопатин уговорил его не возвращаться в Лондон. Уговорил остаться жить в Париже и взялся сам перевезти сюда его книги и вещи, оставленные на Тоттенхем Корт Род. А ведь у Лопатина было достаточно своих забот: он стал уже семейным человеком, и недавно Зина родила ему сына, которому дали имя Бруно.

Чудный человек Лопатин, другого такого не найдешь... Он отправился в Лондон. Оттуда сообщил о своих хлопотах: ему ведь надо было упаковать в ящики библиотеку Лаврова — уйму книг! Рассказал в письме, что Смирнов и Кулябко-Корецкий, бедняги, сидят на одном чае и хлебе. Гертруду им пришлось рассчитать, и куда она теперь девалась, одна с ребенком, — неизвестно. Хотела устроиться помощницей к портнихе — учиться шить.

Лаврову стало не по себе: ведь незадолго до его отъезда из Лондона Кулябко-Корецкий передал ему пособие — четыре фунта за апрель. А самому есть нечего... Лавров немедленно отправил ему письмо. Поручил поблагодарить кружки южные и северные за оказанное временно пособие, но при этом их известить, что от дальнейшего пособия он отказывается. Он уже может существовать на собственный литературный заработок. Не стал принапаваться в письме, что заработок существует еще, так сказать, в перспективе. Не мог же он принимать пособие от своих бывших сотрудников при их нынешнем бедственном положении.

В Париже он поселился в тесной квартирке в доме № 328 в конце узкой и длинной улицы Сен-Жак. Чтобы

попасть домой, ему надо было пройти в глубину двора, направо, и подняться по убогой и грязной лестнице на третий этаж. Из крошечной передней дверь вела в первую комнату, побольше, с камином в углу. Пока не были доставлены книги, эта комната выглядела пустой. Во второй комнате он поставил железную кровать и покрыл ее фланелевым одеялом. Была еще кухонька, он ею не пользовался.

Утром приходила убирать комнаты консьержка. Убирала наскоро и, кажется, плохо, но пыли он не замечал по близорукости.

На улице Сен-Жак целыми днями гроыхали по булыжнику колеса телег. В ближайшем ресторанчике он завтракал и обедал. Собственно, это был не ресторанчик, а так — «гарготка» — нечто вроде трактира. На обед он брал только одно блюдо — из экономии. Вечерами дома приготавливал себе чай на спиртовке. Спиртовку ставил на камин, а воду наливал в жестяную кастрюльку, чайника пока что не имелось. А за чаем и поговорить было не с кем — душу отвести.

Однажды вечером при свете коптящей керосиновой лампы сидел он дома за столом, самым простым, поскольку письменный стол был ему пока что не по карману, и писал письмо Лопатину в Лондон. Вдруг послышался звонок у дверей. Он открыл — и удивился, увидев мало-знакомую молодую женщину. Он видал ее прежде в Цюрихе — там она слыла бакунисткой и, вместе с тем, была одной из немногих, кто слушал его лекции по математике... Он пригласил ее в комнату и узнал, что она только что приехала в Париж и вот решила первым делом посетить его, как затем стало ясно, без особой необходимости. Гостья оказалась необычайно разговорчивой, а ему все было интересно, и, когда она спохватилась и спросила, который час, было уже половина третьего. Не мог же он выставить ее на улицу среди ночи...

Наутро он встал, как всегда, в шесть часов. Спал сегодня на колченогом диване в большой комнате. В половине седьмого сел к столу и взялся за перо. «Я сам удивляюсь,— написал он Лопатину,— как быстро усваиваю себе нигилистические приемы: вообразите, у меня почевала женщина (что скажет, что подумает о моей правственности консьержка!) и еще молодая и бывшая три года назад очень хорошенькой... Вчера приехала в Париж, и почевать было негде вблизи, я и предложил. Отвел ей мою спальню, и она еще спит, а я сажусь работать».

В общем, этот случай мог быть поводом скорее для шуток, чем для подозрений, его репутация вряд ли могла пострадать даже в глазах консьержки...

Далее в письме он сердечно поблагодарил Лопатина за все его труды в Лондоне: «Бумаги не хватило бы, чтобы излить весь поток моей благодарности, и потому запираю его шлюзы. Seriously, мне ужасно совестно, что я Вам доставил такие непомерные хлопоты».

И вообще тяжело было у него на душе. Теперь он чувствовал себя словно бы отстраненным от деятельности во имя революции. Признавался в письме к Лопатину: «...черт знает что делается с моими нервами: хоть топись».

А тут еще пришло известие, что Огарев умер в Гриниче.

Прибыли наконец из Лондона его книги, заняли место на полках по всем стенам, от пола до потолка. За сорок три франка, выкроив их с трудом, он купил большой письменный стол и поставил его, по своему обычаю, посреди кабинета.

Работа за письменным столом одна заполняла его дни. Новости он узнавал из газет, реже — из писем. Здесь, в Париже, мало кто о нем вспоминал.

Поздней осенью, когда наступили холода, пришлось купить уголь. Но, когда уголь горел в камине и камин

дышал жаром, все-таки не ощущалось того уютного тепла, какое давали дрова в белой кафельной печи дома, на Фурштатской.

Так он встретил новый, 1878 год...

Ждать добрых вестей из России не приходилось. Нахождение в народ царские власти отвечали арестами. Многие молодые пропагандисты уже два-три года томились в предварительном заключении.

Еще в сентябре Тургенев письмом пригласил его к себе на улицу Дуэ и дал прочесть переписанный кем-то от руки обвинительный акт — целых триста страниц — по «делу о пропаганде».

И вот в конце января газеты сообщили: в Петербурге закончился процесс по этому делу — оно становилось известным как дело 193-х. Пятерых обвиняемых осудили на десять лет каторги.

На другой день после вынесения приговора — Лавров узнал об этом опять же из газет — в Петербурге молодая женщина по имени Вера Засулич стреляла в генерал-губернатора Трепова. Он был серьезно ранен, ее арестовали. Свой поступок она объяснила тем, что одного из заключенных Трепов приказал выпороть. Подобный произвол нельзя оставлять безнаказанным, выстрел ее — и возмездие, и протест. Революционная молодежь не желает более безропотно спосить расправу.

А в апреле газеты сообщили новость поразительную: Веру Засулич петербургский суд присяжных признал невиновной! Лавров едва верил своим глазам, когда об этом прочел.

Веру Засулич освободили из Дома предварительного заключения. Но оправдательный приговор по ее делу был опротестован прокурором. Сразу было издано распоряжение о ее розыске. Она скрылась за границу...

В России хождение в народ прекратилось совершенно, молодых революционеров в отчаяние приводил сла-

бый успех неумелой их пропаганды в деревнях. Об этом рассказывалось в письмах, доходивших из России. Как тут было не прийти к выводу, что теперь, вслед за Верой Засулич, молодые революционеры будут стрелять!

А в Лондоне тускло прозябала редакция «Вперед!». Без участия Лаврова она с трудом выпустила еще один сборник, не вызвавший никакого отклика. Призывы к мирной пропаганде сейчас и не могли найти живой отклик у революционной молодежи — иное наступало время. Смирнов махнул на все рукой, решил запясться медицинской практикой и уехал в Швейцарию. Кулябко-Корецкий нелегально вернулся в Петербург.

Объявился в Париже Петр Кропоткин. Лавров получил записку от Тургенева: «Князь Кропоткин был у меня и *крайне мне понравился*. Очень интересная личность!»

Кропоткин организовал в Париже группу своих сторонников. Собралось их человек двадцать. И когда парижским анархистам удавалось привлечь на свой митинг хотя бы сотню желающих слушать, они были счастливы — такой успех!

Однако в апреле был арестован в Париже итальянский анархист Андреа Коста. Видимо, полиция решила агитацию анархистов пресечь. Кропоткин, чтобы избежать ареста, уехал в Швейцарию.

Вместе с Андреа Коста была арестована его подруга — та самая молодая женщина, что почевала на квартире Лаврова, когда в прошлом году приехала в Париж. В Цюрихе он знал ее как Анну Розенштейн, там она вышла замуж, затем вернулась в Россию. С мужем своим, Петром Макаревичем, она уже разошлась, ныне он был осужден по процессу 193-х и сослан в Сибирь. В Париже она объявилась под фамилией Кулешовой — то ли второй раз вышла замуж, то ли достала фиктивный паспорт на эту фамилию.

Теперь Лаврову передали ее просьбу из тюрьмы. Она вспомнила о нем и просила похлопотать: пусть кто-нибудь поручится за нее, тогда ее выпустят. Он не мог сделать этого сам, статус эмигранта не давал ему права по закону поручаться за кого бы то ни было. Но просто отмахнуться от ее просьбы он считал себя не вправе. Пусть она не Вера Засулич, но все же и она служит делу революции как может, значит, надо за нее заступиться. И решил он обратиться к Тургеневу.

О том, как все дальше произошло, Тургенев рассказывал в письме другу своему Анненкову 6 мая. Написал, что Кулешова, она же Макаревич — «молодая, недурная, очень ограниченная и очень бойкая бакунистка или, как говорят теперь, «вспышечница» (от слова «вспышка»), проповедующая, что не надо учить, а подымать и зажигать народ и т. д. Говорит она очень хлестко, как любой русский журнал — и, я полагаю, равно способна на глупость и на самопожертвование». Рассказал, что по просьбе Лаврова и других поручился за нее перед судебным следователем, что она не убежит. Из тюрьмы ее выпустили, она приезжала к Тургеневу благодарить, «а теперь она, кажется, уехала, — сообщал он далее в письме. — Журналы рассказывают, будто я присутствовал рядом с ней на процессе Коста — но я, конечно, там не был; вероятно, за меня приняли Лаврова, который так же сед и так же бородаст, как я. Коста — рьяный и энергический итальянец — бывший секретарь Бакунина». Суд приговорил его к полутора годам тюрьмы.

Когда узнал об этой истории Лопатин, он отнесся к заступничеству Лаврова весьма проницательно.

Случилось так, что Лопатин сидел у него дома и пил чай, а Лавров за чаем читал газету. Прочел, совершенно между прочим, сообщение о смерти испанской королевы и сказал:

— Как жаль такую молодую женщину, так педавно вышедшую замуж по любви...

— Вам, Петр Лаврович,— шутливо заметил Лопатин,— всегда бывает жаль...— и он добавил печатное слово, обозначающее, кого бывает жаль Петру Лавровичу.

— Ну-ну, я не знал, что вы такой злой,— Лавров смущенно улыбнулся и заморгал.— Да и что дурного она сделала? Мне просто по-человечески жаль.

Летом этого года в Париже привлекала публику Всемирная выставка. На ней с огромным успехом демонстрировал свою электрическую свечу изобретатель Павел Николаевич Яблочков. Он вынужден был уехать из России, потому что дорогостоящие опыты заставили его залезть в долги, выплатить которые он не мог.

Яблочков решил образовать акционерное общество по созданию электрического освещения. Акции пошли нарасхват, их купили на миллион франков. Теперь Яблочков мог уплатить в России свои долги. Предстояло не только оплатить все векселя, но и добиться, чтобы московский коммерческий суд отменил свое прежнее решение, по которому Яблочков был объявлен банкротом.

Выполнить все необходимое взялся по дружбе Герман Лопатин. Яблочков доверил ему сорок тысяч рублей, и Лопатин с этими деньгами и с чужим паспортом отправился в Россию.

А еще раньше уехала в Россию Зина, вместе с ребенком. Она в этом году окончила парижскую Медицинскую Школу, ей оставалось только получить диплом, но сделать это она попросила Петра Лавровича. Он обещал переслать ей диплом в Петербург.

В июле Надя Скворцова принесла ему только что полученное письмо: Зина извещала, что собирается остаться на зиму в Петербурге, у сестер. Разумеется,

вместе с сыном: «Брупо мой растет на радость всем. Оп такой беленький...» Они жили этим летом на даче неподалеку от Петербурга, па станции Сиверской.

Герман Лопатин написал Петру Лавровичу из Москвы: «Поди, Вы сильно ругаете меня за неприсылку Вам до сих пор моего адреса?.. К несчастью, у меня нет здесь ни одной знакомой души, кроме членов той разбойничьей шайки, в которой я вращаюсь». Разбойничьей пайкой он, как видно, именовал прожженных дельцов из московского коммерческого суда. «Придется, пожалуй, подождать моего переезда в Петербург. А когда он состоится, и сам черт не знает. Препятствия возникают ежеминутно самые неожиданные, самые нелепые. Например: передается дело в суд — в нем не оказывается нескольких листов, и дело возвращается обратно. Или: в самый день доклада «загулял» писец и исчез вместе с делом. Только вчера вечером мне удалось наконец разыскать его в одном притоне, пьяного, оборванного, босоногого, посреди черепков всевозможной посуды и огромных луж всевозможных жидкостей... Как Вам это нравится? Поэтому мне трудно сказать ни когда кончится дело, ни даже *как* оно кончится. Главный разбойник говорит, что если бы *меня* допустили до словесного судоговорения, то он был бы уверен в успехе; но это оказывается невозможным, так как я не присяжный стряпчий и не кредитор... Забавно, что один из «разбойников» возымел подозрение, что я никто иной, как сам «патрон», и в пьяном виде называл меня не иначе, как его именем и отчеством». — Это значит, его приняли за самого Яблочкова и пазывали Павлом Николаевичем. — «Но знаете ли, — отмечал Лопатин, — что из этого вздора может выйти маленький скандалчик, ибо патрона разыскивают и кое-кто из шайки был бы рад узнать, что он тут, чтобы попугать его задержкой и сорвать с него что-нибудь». Далее рассказывал, что съездил на несколько дней в Петербург. «Конечно, часть

времени провел на даче у своих. Затем отправился разыскивать разных «наших». — Кого-то он разыскал, но фамилий в письме не назвал, не доверяя бумаге. — «Сильно заметно, люди совершенно равнодушны к «программам» и группируются по темпераментам... Большинство, более молодое и живое, хотя менее развитое и образованное, спешит «сделать» хоть «что-нибудь».

Эти слова Лопатина припомнились Лаврову очень скоро, когда он прочел в газетах: на улице в Петербурге убит кинжалом шеф жапдармов генерал Мезенцов, неизвестный убийца скрылся. Кто же это был?

Пришло новое письмо из Москвы от Лопатина. Он рассказывал, что опять ездил на несколько дней в Петербург: «Убийство Мезенцова было при мне. У меня вечером этого дня потребовали бумаги. Хозяин просил меня не пугаться, когда ночью явятся ко мне с обыском, ибо обыскивают всех приезжих, подходящих под приметы, а мои усы, возраст, хорошее платье и серое пальто, дескать, соблазнительны». Конечно, Лопатин не мог позволить себе написать в письме, кто именно убил шефа жапдармов. Но он решился дать намек: «Возможно, и Сергею не сдобровать». Это значило, что приговор революционеров привел в исполнение Сергей Кравчинский.

Летом этого года к Петру Лавровичу приезжала дочь. Ее приезд был для него великой отрадой. Ведь он не видел ее семь с половиной лет... Маия привезла в Париж гостинцы, в том числе большой, ведерный самовар. Она приложила много старания, чтобы его квартирка стала уютнее.

Консьержка, приходя по утрам подметать комнаты и вытирать пыль, называла никогда не виденный ею прежде самовар «чайной машиной» и боялась до него дотронуться.

По рассказам дочери Петр Лаврович понял, что она

не очень счастлива в семейной жизни. Она не смогла полюбить Эммануила Негрескула так, как его старшего брата, своего первого мужа, дети были ее единственной радостью. Со своими братьями Маня виделась редко. Михаил давно уже добился того, что ему было отдано мелеховское имение — с согласия министерства внутренних дел. Он по-прежнему тихо служил на железной дороге, так же, как и младший брат Сергей. Оба, как видно, считали, что деятельность отца бросает на них тень и может помешать их продвижению по службе. И поэтому перестали ему писать...

Как ни горько было смириться с мыслью, что оба сына стали ему чужими, но он смирился, он старался об этом не думать...

Маня уехала домой, в далекий Екатеринослав. И трудно было предсказать, когда им удастся увидеться снова.

Поздней осенью в Париж вернулся единственно близкий друг — Лопатин, вернулся один. Зина с ребенком осталась в Петербурге. Как и следовало ожидать, Лопатин с блеском исполнил все, что обещал Яблочкову. Он привез копию решения коммерческого суда. Выкупил у кредиторов и привез ему все его долговые расписки.

Ну, а главная новость — ныне в России действует под старым названием, но по сути новая подпольная организация революционеров «Земля и воля».

Тургенев писал Анненкову о Лаврове: «Это голубь, который всячески старается выдать себя за ястреба... Улыбка добрейшая и даже борода — огромная и растрепанная — имеет ласковый и идиллический вид».

Наступившей зимой Тургенев и Лавров часто встречались. В доме на улице Дуа, в маленьком, чисто прибранном кабинете с зелеными обоями и зелеными портьерами, сиживали у камина, и Тургенев лопаткой подкидывал в огонь кокс.

Не раз Лавров задавал ему вопрос: почему его влиятельные друзья, русские либералы и конституционалисты, ничего не предпринимают для достижения собственных политических целей? Почему не выступают как политическая партия? Вот они осуждают революционеров-социалистов за их действия, но неужели лучше не делать ничего?

Тургенев признавал, что действительно никто из нынешних либеральных деятелей не готов на смелые и тем более на рискованные действия, никто из них не решится при существующих условиях организовать политическую партию...

Тургенев рассказывал в письме к Анненкову: «...пылкий старец Лавров на днях кричал у меня в комнате, потрясая бородой и тая глазами: «Конституционалисты — трусы, не знают своей силы! Им стоит с твердостью заявить свои принципы — и правительство не может не уступить, не может! не может!» Даже кулаки при этом поднимал...»

Накануне дня памяти Парижской Коммуны, 17 марта 1879 года, на квартире Лаврова собралось несколько человек. Конечно, пришел Лопатин. И не пришел Вырубов: он не чтит память о Коммуне и с обычной своей высокомерностью говорил теперь, что коммунаров погубила их поголовная некомпетентность.

Свою речь Лавров продумал заранее. Обращался он к тем, для кого дело революции было делом всей жизни.

В этот вечер он встал у камина, держа в руках листы с написанной речью, и начал так:

— Мы сошлись сегодня, чтобы вместе вспомнить о Парижской Коммуне. Мне напомнили, что до сих пор еще ни разу русские в Париже не приветствовали по-русски этот торжественный день... Многие русские говорят, что у них *особое дело*, и, как никто из европейских деятелей не пойдет помогать горю серого русского мужика, то и

нам нечего останавливаться на воспоминании о героях, которые умирали под всемирным красным знаменем при звуках всемирного гимна Марсельезы... Нам, говорят, нечего праздновать *их* праздники, нечего прислушиваться к *их* речам, нечему у них учиться... Но точно ли нам печему научиться у Парижской Коммуны?

Первым уроком Коммуны он считал вот что:

— Мало быть энергичным и преданным делу; надо быть к нему *готовым*.

Он попытался определить и второй урок Коммуны:

— Люди, борющиеся за осуществление лучшего будущего для человечества, не имеют права колебаться и сомневаться в себе в миг, когда они призваны к действию. Велики или малы их силы, они должны смело нести все эти силы на дело, которому служат.

И наконец, отмечал:

— В решительные исторические моменты массы всегда пойдут за тем знаменем, на котором написана наиболее определенная программа, наиболее простые, ясные и определенные цели: массы пойдут за теми, кто готов и не колеблется.

Недавно поехал в Россию Тургенев, а в марте, имея при себе паспорт на чужое имя, что было для него уже привычно, отправился в Петербург Лопатин.

«Досмотр *приличных* людей на границе самый пустой,— сообщал он Лаврову сразу по прибытии в Петербург.— У меня *только* подняли крышку сундука да взглянули мельком на верх саквояжа». Именуя членов «Земли и воли» романтиками, Лопатин написал: «...никого из романтиков не видал еще. Очень уж трудно до них добраться... К тому же паника в публике страшная: придешь к человеку, а у него трясутся поджилки, и он чуть не гонит тебя в шею». Сообщил, что аресты идут один за другим. «При арестах прежде всего хватают человека за

руки, боясь сопротивления». Приводил в письме неизвестно кем переданные слова министра внутренних дел Макова: «Тургенев подлец, он злоупотребляет своей безнаказанностью, тем, что мы не хотим делать скандала. Он должен был бы понять, что *другому* мы не спустили бы и половины того, что он говорит, пишет и к чему дает повод».

Это письмо пришло как раз в те дни, когда Тургенев вернулся в Париж. 9 апреля Лавров получил от него записку: «Не зайдете ли завтра около 12 часов ко мне покалякать? А есть о чем! Я бы сам к Вам наведалься — да подагра опять меня кусает — и, вероятно, я просижу дома несколько дней».

Лавров с трудом дождался следующего дня, пришел в назначенное время.

Тургенев рассказал, что в Москве и в Петербурге принимали его замечательно, всюду чествовали, говорили речи, пили шампанское в его честь. Особенно его тронуло восторженное отношение студенческой молодежи. Про злобный отзыв о нем министра внутренних дел он тоже слышал, но все, что сказано не в лицо, а у тебя за спиной, можно игнорировать... Но вот о чем он особо хотел сейчас рассказать. В Петербурге он останавливался в Европейской гостинице, и там — это было всего несколько дней назад — ему передали визитную карточку некоего Севастьянова, который хотел с ним увидеться. Так вот, под именем Севастьянова к нему явился не кто иной, как Герман Александрович Лопатин. «Безумный вы человек! — сказал ему Тургенев. — Можно ли так рисковать собой?» Чуть ли не на другой день Тургеневу передали слова одной важной особы о Лопатине: «Недолго ему гулять, скоро его на веревочку посадят». Полиция уже знала, что он в Петербурге! Когда он снова пришел в Европейскую гостиницу, Тургенев взял его за плечи и сказал: «Уезжайте, бегите отсюда! Скорее! Я знаю, я

слышал, не сегодня завтра вы будете арестованы!» По-
вряд ли Лопатин послушался... А к нему, Тургеневу, при-
езжал в гостиницу флигель-адъютант и сказал, что его
величество интересуются: скоро ли Иван Сергеевич
думает отбыть за границу? В переводе на обыкновенный
язык это означало: «Убирайся вон». Тургенев уехал...

Его рассказ глубоко встревожил Лаврова, и, когда
затем пришло письмо от Зины (не от Лопатина!), он
сразу почувствовал: худшие опасения сбылись.

Зина писала: «Герман арестован». Это случилось в
пятницу 6 апреля по новому стилю. Он успел снять себе
квартиру на Владимирском, она пришла к нему на ново-
селье — и застала там жандармов, полицию... Ее охватил
такой ужас... Потом ее повезли в Третье отделение.
«Заставили меня написать всю свою биографию, затем
спросили про Германа. Еще во время обыска Герман не
нашел нужным скрывать, кто он, так как, по его мнению,
они уже знали и заpiresательство только усложнило бы
дело. На вопрос, зачем он приехал, я сказала, что для
меня. Затем мне сейчас велели дать расписку о невыезде
из Питера и выпустили меня». На другой день ходила
просить о свидании, спросила, где он сейчас, — ответили,
что пока оставлен при Третьем отделении.

Все же его перевезли в Петропавловскую крепость.
Зина писала: «Свидания тягостны только в том отноше-
нии, что не позволяют даже руки подать при встрече». К
тому же свидания разрешаются непременно при двух
свидетелях — полицейских. «Пожалуйста, передайте все,
что я пишу, И. С. Т., — просила в письме Зина, имея в
виду, разумеется, Тургенева, — так как я вполне убежде-
на, что он очень любил Г.»

Неожиданно она получила анонимное письмо. Ей
сообщали, что Германа Лопатина выдал некий господин
Воронович.

Да, жил в Париже этот Воронович, он представлялся

как бывший судебный следователь, уволепленный от службы. Говорил, что он человек независимый и со средствами, кутил по ресторанам, оказывал гостеприимство, открыто выражал сочувствие революционерам и готовность помочь. Лопатин, должно быть, ему проговорился, что едет в Петербург... И сразу после ареста Лопатина Воронович исчез из Парижа. Зина сообщила: «Этот господин живет теперь на Галерной улице». Живет себе в Петербурге, и небось его совесть не мучает. Ему хоть бы что!

Осенью в Париже побывал наследник российского престола великий князь Александр Александрович. Его приезд был безразличен Лаврову, но слух о том, что в русском посольстве беседовал с наследником Тургенев, уже заинтересовал, удивил. О чем могли они беседовать? Лавров послал письмо Тургеневу — спрашивал, верен ли слух. Письмо надо было отправить в Буживаль, парижский пригород, где Тургенев обычно жил летом, а в этом году и осенью — видимо, намерен был перебраться на улицу Дуэ лишь к зиме.

«Я действительно в последнее время встречался с высокопоставленными лицами; — написал в ответ Тургенев, — но разговоры с ними были столь же ничтожны, как и самые эти лица...»

В начале декабря он прислал письмо: «Я вернулся в Париж — и очень был бы рад Вас видеть. Приходите *в среду*, часу в 1-м, если только до тех пор весь Париж не будет погребен под снегом».

Снегопад был необычайный для Парижа, волнующе напоминал Россию... Снег, разумеется, не мог помешать Лаврову отправиться на улицу Дуэ.

В кабинете Тургенева они беседовали с глазу на глаз и совершенно откровенно.

— Между нами говоря, — сказал Тургенев, понизив

голос,— у меня создалось впечатление: последний российский престола — ограниченный и свежественный человек.

Лавров не сомневался: впечатление Тургенева без-ошибочно. Что еще можно ожидать от новых представителей династии Романовых? Это деградирующее семейство способно только тормозить прогресс!

В рассказе Тургенева удивило другое: жена наследника выразила сожаление, что Тургенев пишет свои повести по-русски... И это говорила будущая императрица всероссийская!

Из Петербурга доходили известия о недавнем расколе «Земли и воли». Большинство ее членов сплотилось в новую подпольную организацию «Народная воля», готовую к террористическим действиям, и лишь незначительное меньшинство составило группу «Черный передел», отрицающую террор.

Этой новостью Лавров был угнетен в высшей степени. Во-первых, опять вместо объединения возникал раскол. Во-вторых, вера в террористический путь представлялась ему величайшим заблуждением. Он написал письмо народолюбцам и отозвался о системе террора так: «Я считаю эту систему столь опасною для дела социализма и успех на этом пути столь мало вероятным, что, если бы я имел малейшее влияние на ваши совещания и решения, когда вы вступали на этот путь... я постарался бы всеми силами отклонить вас от этого».

Незадолго до рождества к нему явился неожиданный гость и представился как член «Народной воли» Лев Николаевич Гартман. Этот молодой человек только что прибыл в Париж и так был взволнован всем пережитым, что, кажется, испытывал жгучую потребность обо всем рассказать. Оказывается, он был одним из главных участников недавнего подкупа под линию железной дороги на окраине Москвы. В ноябре народолюбцы устроили взрыв



железнодорожного полотна в момент ожидаемого прохода царского поезда. Но поезд успел проскочить, царь остался жив и невредим. Сошел с рельс другой поезд, шедший следом,— в нем ехала царская свита. Багажный вагон опрокинулся, два пассажирских вагона встали поперек пути, но никто не пострадал. Покушение не удалось, хотя народовольцы столько труда положили на этот подкорм под железную дорогу! Купили убогий домишко возле путей. За хозяина и хозяйку этого домишки выдавали себя он, Гартман, и Софья Перовская. На самом деле они вовсе не муж и жена, а просто товарищи, связанные общей преданностью делу «Народной воли». Посторонним даже в голову не приходит, сколько энергии и самопожертвования таится в этой, по его словам, смешливой девушке с кротким и нежным характером... Теперь она скрывается. В газетах объявлено о розыске Гартмана, сообщены его приметы. В Москве и затем в Петербурге он не мог показаться на улице. Друзья уговаривали его уехать нелегально за границу, достали ему документы на имя Эдуарда Мейера. В последний день загримировали, выкрасили ему волосы в черный цвет... Да-да, не думайте, что он от рода брюнет, он еще не отмыл волосы, на самом деле они русые... На перроне Варшавского вокзала в Петербурге он появился в самый последний момент, после третьего звонка перед отходом поезда, и беспрепятственно вошел в вагон... В Париже ему надо иметь какой-то заработок, и поступает он на работу в мастерскую. Эта мастерская поставляет лампочки на фабрику Яблочкова.

Неожиданно холодная выдалась в Париже зима. Сена замерзла, что случается, как говорят, раза два в столетие. Вот когда Петр Лаврович мог вспомнить о медвежьей шубе, отнесенной в лондонский ломбард. Из ломбарда шуба к нему не вернулась: он не смог ее выкупить.

Пришлось теперь выходить на холод в поношенном легком пальто.

Он вообще обносился, единственные брюки протерлись, а он в жизни своей не держал в руках иголки, и оставалось ему надеяться, что под сюртуком, а тем более под пальто незаметно, какие у него брюки.

В январе 1880 года явился к нему на квартиру приехавший из Женевы Лев Дейч, очень говорливый и не очень понятный молодой человек в пенсне. Он представился как член группы «Черный передел» и сторонник прежнего пути пропаганды в народе.

Но Лавров знал, что три с половиной года тому назад этот самый Дейч отличился поступком, о котором трудно было вспомнить без содрогания. Он и его друг Малинка решили тогда расправиться в Одессе с предателем Гориновичем. Завели его на пустынную площадь возле товарной станции железной дороги. Малинка был вооружен кистенем, а Дейч сунул себе в карман бутылку с серной кислотой. Когда Малинка ударил Гориновича кистенем по голове и тот упал, Дейч решил, что Горинович убит, и вылил ему на лицо серную кислоту. Но Горинович дико закричал — он оказался жив. Стал сбегаться народ, Дейчу и Малинке удалось тогда скрыться. Дейч бежал за границу, а Малинка — уже совсем недавно, в декабре — был повешен в Одессе. Горинович остался жить, но глаза у него вытекли, со скул слезла кожа, нос был разъеден кислотой. Дейч пытался оправдаться печатно — в эмигрантском листке «Община». Он написал, что серной кислотой запасся еще в Елисаветграде, перед отъездом в Одессу, хотел с помощью кислоты сделать убитого неузнаваемым, несколько секунд Горинович лежал, не издавая ни звука, поэтому его сочли мертвым. «Я с товарищем глубоко сожалеем о печальном окончании нашей истории», — заявил Дейч. Но, прочитав его объяснения, Лавров нашел их весьма недостаточными. Пусть Горина-

вич мерзавец, достойный казни, но лить ему на лицо серпую кислоту... Нет, не все средства могут быть оправданы целью. Революционер должен оставаться нравственным человеком в любых обстоятельствах.

Теперь Дейч прибыл в Париж и вот пришел на улицу Сеп-Жак. Лавров не стал ему напоминать о его расправе с Гориновичем, но разговаривал сухо и радушия не проявил. Кажется, этой его сухости Дейч даже не заметил.

О действиях «Народной воли» Лавров сказал ему так:

— Увлечение террором — это временное настроение, и его можно было предвидеть. Но это скоро пройдет, и вновь придется вернуться к единственному верному способу — пропаганде: я по-прежнему не перестая в нее верить. Но я не лаврист, я давно не имею ничего общего с людьми, носящими эту кличку...

Дейч спросил: есть ли у него близкий человек в Париже? Лавров нахмурился и отрицательно покачал головой. Потом сказал:

— Тяжело, тоскливо, неприятно чувствую себя! Временами особенно невыносимо мне жить вот так, как теперь приходится. Не раз уже представлял я себе, что вот ночью расхвораюсь и даже не смогу открыть дверь консьержке, когда она придет утром с почтой.

Он вспомнил вслух о Лопатине — с такой болью...

— А вот теперь, с его арестом, я один, совершенно один. Бывает, что по нескольку дней никто не заглянет, кроме консьержки.

В воскресенье 15 февраля, днем, неожиданно влетел к нему Дейч с молодым человеком, который работал вместе с Гартманом в мастерской. Они взволнованно рассказали: только что на Елисейских полях Гартмана схватили какие-то люди в штатском — должно быть, полицейские агенты.

Надо спасти Гартмана!

Что же предпринять? И тут Лавров припомнил, что

один его парижский знакомый, член Общества философов-позитивистов, занимает должность начальника муниципальной полиции. Решил отправиться к нему и сейчас же выяснить, в чем дело. Захлопнул книгу, что лежала перед ним на столе, встал, натянул свой черный сюртук. Повернулся к молодым людям спиной и спросил, не видно ли, что брюки его протерлись.

Дейч не удержался от смеха и предложил:

— А вы, Петр Лаврович, перемените брюки.

— В том-то и дело, что у меня других брюк нет.

Не оставаться же было по этой причине дома...

Скоро все выяснилось. Царское правительство через своих агентов узнало о пребывании Гартмана в Париже и обратилось к французскому правительству с требованием выдать его, как преступника.

Неужели выдадут?

Вопрос о выдаче арестованного Гартмана оказался в центре внимания парижских газет. Левые газеты решительно выступали за то, чтобы Гартмана не выдавать.

Через десять дней после его ареста Лаврову принесли письмо, тайно переправленное из тюрьмы. Гартман сообщал, что вечером в день ареста у него дома был обыск, а на другой день — первый допрос в полиции. «Я отвечаю комиссару, — рассказывал в письме Гартман, — что до той поры не скажу ему ничего, пока не узнаю, за что я арестован. Он мне категорически заявляет, что я арестован как карманный вор». Чудовищно! Полицейский комиссар лжет не стесняясь! Но что же на это Гартман? «...Требую дать мне возможность приискать себе адвоката. Мне отвечает комиссар, что до той поры, пока я не скажу своей настоящей фамилии, мне не дадут ничего...» На втором допросе Гартман, оказывается, сказал, кто он: «Я сделал большую ошибку, что сказал мою фамилию...»

Как же выручить его из беды?

А тут прибыли из Женевы и пришли к Лаврову сразу трое: бежавший после убийства Мезенцова Сергей Кравчинский, бакуист Николай Жуковский и сторонник «Черного передела» Георгий Плеханов, о котором было известно, что он произнес революционную речь на демонстрации студентов у Казанского собора в Петербурге. Все были крайне обеспокоены уже самим фактом ареста в Париже по требованию царского правительства. Такого еще не было никогда.

Вчетвером посовещались, и Лавров предложил: он обратится к председателю Палаты депутатов Гамбетта с письменной просьбой принять депутацию русских революционеров.

27 февраля газеты напечатали обращение к правительству самого Виктора Гюго. Знаменитый писатель зывал: «...Вы не выдадите этого человека!»

На другой день Гамбетта согласился принять русскую депутацию. Вчетвером они явились к нему в Бурбонский дворец.

Сознавая чрезвычайную ответственность момента, Лавров произнес заранее продуманную речь, заявил, что выдача Гартмана была бы несовместима с честью Франции. Гамбетта раздраженно — в голосе его послышалась медь — сказал, что он еще не в курсе дела, но полагает, что правительство примет решение, которое не нанесет чести Франции никакого ущерба.

Наконец в субботу 6 марта Лаврова пригласил к себе префект парижской полиции. Лавров немедленно пришел, и префект объявил ему, что арестованный, именуемый себя Эдуардом Мейером, сейчас будет освобожден. Он освобождается потому, что присланная из Петербурга фотография не дает возможности удостоверить личность, не доказывает, что он действительно Гартман. Однако тождество Мейера и Гартмана может вот-вот оказаться доказанным, поэтому — префект сдвинул брови и заговорил

угрожающим тоном — настоятельно рекомендуется ему выехать из Франции не задерживаясь. Поезд на Дьепп уходит с Северного вокзала через несколько часов.

Значит, Гартмана высылают в Англию — иначе префект не сказал бы прямо о поезде на Дьепп. Ну что ж, наверное, это лучший выход в сложившемся положении... Префект сказал, что арестованный уже на это согласился.

Лаврову не разрешили сейчас же увидеться с Гартманом. Он вернулся домой и под вечер получил записку от Гартмана, посланную с вокзала: «...пишу Вам, ибо желал бы получить письмо к Марксу. Если можете, пришлите немедленно мне». Лавров поехал на вокзал, но опоздал к отходу поезда. Рекомендательную записку к Марксу решил переслать Гартману в Лондон.

Лет пять тому назад Тургенев снял на улице Бертоле квартиру из трех комнат — не для себя, а ради того, чтобы устроить в ней парижскую русскую библиотеку. Две комнаты в глубине квартиры были отведены под хранилище книг. Первая, самая большая, стала читальней — в ней поставили длинный стол и десятка два стульев. Книги для библиотеки Тургенев покупал сам. Сам платил жалованье библиотекарю. Теперь им был бездомный юноша из России, рекомендованный Лавровым, — он поселился в библиотеке, поставил кровать между книжных полок. Раз в месяц он должен был являться с докладом о состоянии дел библиотеки на улицу Дуэ, к Тургеневу.

Устраивал также Тургенев литературно-музыкальные вечера. Вход на такой вечер был бесплатным, но на видном месте, на столе, ставилась тарелочка — на нее каждый приходящий клал франки или рубли — сколько-нибудь, по своему усмотрению. Собранные деньги передавались Обществу поощрения русских художников в Париже.

В начале февраля 1881 года Лавров посетил Тургенева, узнал, что в Обществе русских художников состоится очередной литературно-музыкальный вечер, и спросил:

— А что, как вы думаете, можно мне быть на этом вечере?

Тургенев ответил, что, конечно, можно и что он пришлет ему два билета.

— Не может ли быть какого скандала? — заколебался Лавров. — Ведь если запоют «Боже, царя храни», придется мне выйти среди пения, а это вам доставит неприятности...

Тургенев улыбнулся и сказал:

— Нет, «Боже, царя храни» петь не будут.

Потом он прислал Лаврову билеты, но оказалось, что сам не сможет придти на вечер: припадок подагры свалил его в постель.

В назначенный вечер, 14 февраля, Лавров пришел в дом на улице Тильзит, где снимало помещение Общество русских художников. При входе в зал его встретил секретарь Общества, и Лавров спросил шутливо: «Не выгонят ли меня?» Но тот был очень любезен, как, впрочем, и все остальные, кто встретился ему в этом зале. Он занял свободное место в четвертом или пятом ряду. Поставил перед собой трость, положил на нее кисти рук и уперся бородой в скрещенные пальцы.

Первой в программе выступила начинающая писательница. Видно было, что она страшно волнуется и потому читает свой рассказ никого не видя и ничего не слыша. Потом пела под аккомпанемент рояля молодая армянка — меццо-сопрано, ученица Полины Виардо, подруги Тургенева, которая сама уже не выступала в концертах, но давала уроки. После певицы выступил курчавый, бледный и тщедушный автор помещенных в парижской газете очерков «В одиночном заключении. Воспоминания

нигилиста». Здесь он прочел рассказ, написанный с благими намерениями, но без достоинств литературных. Дикция у него была чудовищная — словно бы каша во рту. Затем играл гастрوليрующий скрипач. И наконец, неизвестный Лаврову молодой поэт прочел стихотворение о казни российского революционера. Было оно довольно длинным и заканчивалось так:

*Родина-мать! Сохрани же, любя,
Память того, кто погиб за тебя!*

Эти стихи вызвали явное замешательство среди части присутствующих. Кто-то из художников подошел к автору стихотворения и раздраженно сказал:

— Вы выступили против программы. Это может дурно отразиться на Обществе нашем...

Автор побледнел и быстро ушел.

Лавров же был доволен проведенным вечером, он всем аплодировал и вообще был рад оказаться — в кои годы раз — в многочисленном русском обществе. Ушел уверенный, что все прошло благополучно.

Однако потом он узнал, что больного Тургенева посетил русский посол в Париже князь Орлов и выразил возмущение этим вечером, устроенным в Обществе художников: «Там, — он говорил, — под видом поэзии преподносилось бог знает что! И как можно было приглашать Лаврова! Это может иметь для вас самые неприятные последствия».

На другой день к Тургеневу пришли гости. Он сидел, потирая больное колено, заметно возбужденный, взволнованный. Сказал, что от него, представьте, ждут извинения за его поступок...

— Не может быть! — изумился один молодой человек. — Это невероятно...

— Ах, батюшка, молоды вы еще, — воскликнул Турге-

исв,— оттого вам и кажется, что не может быть. Все может быть! Особенно — невероятное.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступало утро 14 марта 1881 года, по старому стилю — 2-го. Еще не рассвело, когда Лаврова разбудил звонок у дверей. Звонок был тем более неожиданным, что он знал: ворота во двор дома запираются на ночь, ключ — у консьержа, и, если уж кто-то решился консьержа разбудить, значит есть тому причина чрезвычайная. Лавров нащарил рукой серные спички, зажег свечу. Глянул на часы — еще нет четырех, кого ж это принесло в такое время? Поспешно оделся и со свечой в руке пошел к двери. Открыл — за дверью, на темной лестнице, стоял Георгий Плеханов.

— Петр Лаврович, царя убили!

Лавров задохнулся, ошеломленный, жестом пригласил войти.

Уже в комнате Плеханов, с круглыми от возбуждения глазами, рассказал самую последнюю новость — ее принес телеграф. Вчера в Петербурге, на набережной Екатерининского канала, народовольцы убили царя. Сегодня об этом будет сообщено в газетах.

И вот Плеханов, противник террора и сторонник «Черного передела», с недавнего времени живший в Париже, сейчас говорил о событии в Петербурге с восторгом, словно ждал, что убийство Александра Второго откроет перед страной какие-то новые прекрасные перспективы. Когда он умолк и уставился на Лаврова, ожидая, должно быть, ответного взрыва восторга, Лавров сухо ответил:

— Могли бы мне сообщить и утром, а то разбудили консьержа...

Он открыл окно. Рассвет едва начинал розоветь над крышами. Было тихо и по-весеннему тепло.

День прошел в ожидании подробных сообщений из Петербурга.

Так что же, напряженно думал Лавров, быть может, убийство царя действительно всколыхнет революционное движение в России? Или же только вызовет жестокую реакцию, ответный террор? Во всяком случае, тому, что Александра Второго сменит нынешний наследник престола, радоваться не приходилось. Вспомнилось, как Тургенев говорил про будущего Александра Третьего, что это ограниченный, невежественный и даже ничтожный человек.

Вечером Лавров направился в близкую, на расстоянии одного квартала, русскую библиотеку на улице Бертоле. В библиотеке (ее все чаще называли тургеневской), как и следовало ожидать, собралось много народу, все были в возбуждении чрезвычайном, обнимались и поздравляли друг друга. Кажется, все тут были убеждены, что убийство царя не только доказывает силу «Народной воли», но, главное, должно подорвать в народе веру в незыблемость царского самодержавия.

Все тут ждали, что скажет сегодня Лавров, и он произнес очень короткую речь. Непосредственно о событии 1 марта говорить не стал, указав, что газетные сведения пока недостаточны. Он лишь выразил свою глубокую веру в революционное движение и его будущую победу.

На другой день почтальон принес ему открытку из Лондона. Писал Гартман: «Поздравляю! Поздравляю!!!! 21-го марта у нас митинг «славянских народностей и русских выходцев»... Повод к митингу достаточный: Коммуна и смерть царя». Гартман просил Лаврова написать и прислать ему текст речи по этому поводу — чтобы огласить на предстоящем митинге.

Что ж, Лавров не считал себя вправе уклоняться от высказывания собственных взглядов. Тем более что значение Парижской Коммуны стоило подчеркнуть в дни ее

годовщины, десять лет спустя. Но совсем не столь бесспорным представлялось ему значение события 1 марта. Он никого не поздравлял по этому случаю. В тексте речи — для лондонского митинга — он лишь отдал должное «самоотверженной энергии небольшой группы русской молодежи, поддержанной недовольством целого общества», и отметил, что социализм «борется не против единиц, а против целого строя...»

Гартман, должно быть, такой речью был неудовлетворен. Но что ж делать, его нынешнего энтузиазма Лавров не разделял — чему было радоваться?

Он еще не знал, как воспринял событие 1 марта Тургенев. Когда услышал стороной, что тот собирается ехать в Россию, отправил ему записку — написал, что хотел бы с ним увидеться. Тургенев прислал записку ответную: «Мне самому очень бы хотелось повидаться и побеседовать с Вами перед отъездом». Предложил встретиться в скромном и мало кому знакомом кабачке па бульваре Килиш, рядом с улицей Дуэ, где он жил.

Они встретились днем, в такое время, когда в кабачке было почти пусто. Разговаривали по-русски, так что никто их разговор не понимал... Тургенев сказал, что испытывает огромную тревогу за судьбы России. Он также ожидал наступления реакции, жестоких репрессий царского правительства...

Потом из газет узнал Лавров, что пятеро участников покушения на царя казнены. В их числе такие горячие головы «Народной воли», как Желябов и Перовская. На свободе осталась лишь горсточка народовольцев, и не в силах они были ни помешать этой казни в Петербурге, ни ответить на нее каким-либо немедленным действием. Поздно было укорять их за отчаянность поступков, и никому из них Лавров не стал писать назидательно: «Я же предупреждал...»

В апрельском номере петербургского журнала «Слово»

появилась — под псевдонимом, разумеется, — его статья, написанная в прошлом году, «Теория и практика прогресса». Власти, видимо, сразу догадались, кто автор статьи. Дальнейшее издание журнала было запрещено.

Тургенев, за несколько дней до своего отъезда в Петербург, прислал ему письмо, оно заканчивалось так: «Желаю Вам всего хорошего — и нам обоим свидеться в более благоприятных обстоятельствах».

Но до благоприятных обстоятельств было еще отчаянно далеко...

В августе Лавров получил письмо из Швейцарии: писал его парижский знакомый — русский доктор Белоголовый. Важнейшие сведения сообщал Белоголовый — достоверные безусловно, хотя и полученные из третьих рук.

В Германию, на курорт в Висбадене, приехал отдыхать уволенный в отставку министр внутренних дел Лорис-Меликов. Бывший министр повстречал на водах писателя Салтыкова-Щедрина и рассказал ему, что в Петербурге под покровительством великого князя Владимира Александровича учреждена «Дружина спасения», цель которой — исследование и истребление нигилизма. Они не остановятся перед уничтожением таких личностей, как Гартман или Кропоткин. «Дружина» организована в виде тайного общества, но с субсидией от государя. Белоголовый просил предупредить об этом Кропоткина — «не указывая на источник», ни в коем случае не называя имени Салтыкова в письме.

Гартмана не было возможности известить: в июле он отправился в Америку. Сейчас он был, наверное, недосыгаем для царской «Дружины». А Кропоткин только что прибыл из Швейцарии в Лондон — на небольшой съезд анархистов, и письмо в Лондон Лавров послал ему немедленно. Не называя по имени ни Лорис-Меликова, ни Салтыкова, ни Белоголового, он советовал Кропоткину

быть осторожным и поменьше выходить из дому по вечерам. Обещал рассказать, в чем дело, при встрече — рассчитывал, что Кропоткин остановится в Париже на обратном пути в Швейцарию.

Кропоткин 16 августа отвечал:

«Дорогой Петр Лаврович.

Я выезжаю завтра, в среду, вечером и буду в Париже в 1 ч. 40 м. в четверг. Проеду через Дувр и Кале.

Благодарю Вас очень за предупреждение, которое — если я верно его понял — не так невероятно, как кажется.

О времени моего приезда в Париж не говорите *никому*. Крепко жму Вашу руку.

П. К.»

Лавров его встретил на Северном вокзале. Приехали вместе на улицу Сен-Жак.

Кропоткин прочел письмо Белоголового и согласился, что сведениям Лорис-Меликова можно верить. Этот бывший министр известен своим либерализмом, правда весьма относительным. Его правление даже называли «диктатурой сердца», хотя казни при нем отнюдь не были отменены. И ведь это он убедил царя упразднить Третье отделение, передать его дела департаменту полиции. Теперь же, по слухам, реакционеры обвиняют Лорис-Меликова в том, что своим попустительством он сделал возможным убийство царя.

Кропоткин уехал в Швейцарию.

Слухи о тайном обществе реакционеров становились еще более определенными, выяснилось, что оно именуется не «Дружиной спасения», а «Священной дружиной». Кропоткин сообщил в письме услышанное от кого-то в Женеве: некая русская дама должна прибыть в этот город с поручениями от «Священной дружины» — быть может, она-то и собирается тайные приговоры исполнять... Сообщение казалось фантастическим.

Кропоткину швейцарские власти объявили, что он, как нежелательная личность, обязан немедленно покинуть пределы страны. Он перебрался во Францию, а затем уехал в Лондон.

В круг парижских знакомых Лаврова, как неожиданная радость и утешение, вошла в этом году Варвара Николаевна Никитина — замечательный человек, милая женщина, добрая душа.

Маленькая, хрупкая, она была почти на двадцать лет его моложе. Личная жизнь ее сложилась неудачно: в молодости она вышла замуж за человека вполне порядочного, но нелюбимого. Потом она болела, по совету врачей и на средства отца (он был состоятельным человеком) надолго уехала в Италию, где решила, что к мужу не вернется. Из Италии она приехала в Париж. Отец регулярно высылал ей деньги, но она стремилась сама зарабатывать на жизнь. Вместе с подругой, Елизаветой Блонской, поселилась она в маленькой квартирке на шестом этаже, под крышей дома № 48 на улице д'Асса.

Она была достаточно образованна и теперь писала по-французски статьи в парижскую газету «La justice» («Справедливость»), где уже от случая к случаю печатали статьи Лаврова и где редактором был известный радикал Клемансо. Она писала о событиях в России, стремясь правдиво освещать борьбу русских революционеров против царского режима. Подписывала статьи своей девичьей и вполне французской фамилией Жандр. У нее была порывистая натура, истинный темперамент журналиста. Такой ее узнал Лавров.

Вдвоем с подругой она пришла на его квартиру 14 июня — поздравить с днем рождения. День этот он уже отвык отмечать, но вот они узнали, что сегодня ему исполняется пятьдесят восемь, и пришли. Не застали

дома и оставили записку: «Хотели принести вам цветы, как это делается в Италии, но убоялись насмешек над женской сентиментальностью». Они его поздравляли, и он был растроган.

На лето он из Парижа никуда не выезжал. Не любил безделья, хотя бы и на лоне природы, да и не мог позволить себе праздного существования даже на несколько дней. Для душевного равновесия ему было необходимо постоянное сознание, что он не ест хлеб даром. Исполнением нравственного долга был для него повседневный труд с пером в руке. Он страшился оторваться от работы и оказаться без дела. А для отдыха ему достаточно было высыпаться по ночам.

Другое дело — Варвара Николаевна. Ей, конечно, было необходимо отдохнуть, и она поехала на лето в Пиренеи. Поехала вдвоем с подругой, и следом отправился в Пиренеи равнодушный к ней доктор Летурно, известный в Париже антрополог и философ. «Он, право, хороший человек, и вы к нему будьте снисходительны» — так написала Варвара Николаевна в письме к Лаврову. Но сама же относилась к Летурно иронически: «...мой друг философ настолько мил и оживлен, насколько его натура способна».

В середине сентября она прислала письмо: «В конце месяца надеюсь с вами видеться. Как только приедем, сейчас прибегу».

Она приехала. Снова стала приходить к нему по вечерам. Широкий абажур над лампой оставлял большую часть комнаты в полумраке, Варвара Николаевна сидела в углу дивана, положив тонкую, слабую руку на подлокотник. Лавров говорил и говорил обо всем, что его волновало, и светло становилось на душе, когда он видел и чувствовал, как эта маленькая женщина отзывчива на его слова.

Иногда они вместе обедали в одном близком ресто-

ранчике. За столом он шутил, острил — и радовался, когда слышал ее смех.

Перед новым, 1882 годом получил он письмо от группы народолюбцев из Женевы: ему предлагалось быть заграничным представителем Общества Красного Креста «Народной воли» — вместе с Верой Засулич, она теперь тоже находилась в Женеве.

После недолгого раздумья он решил, что от такого предложения не должен отказываться. Взялся написать по-французски, от имени Красного Креста, особое воззвание о сборе средств для оказания помощи тем русским революционерам, кто стал жертвой преследований.

Воззвание Лавров начал так: «Граждане, мы с вами — свидетели смертельной борьбы в России, уже несколько лет идущей между правительством, с одной стороны, и теми, в ком есть сердце, — с другой, эти люди поклялись избавить свою страну от давящего ее деспотизма». Далее: «Обращаясь к вам с призывом, мы рассчитываем на вашу преданность делу свободы. Наши страдающие друзья в России заслуживают глубокого сочувствия всех, в ком есть сердце. Придите к ним на помощь. Докажите этим свою солидарность, без нее дело человечества не может быть выиграно».

Воззвание с подписями Лаврова и Засулич было разослано в редакции парижских газет.

Лавров подписал это воззвание, но не брался непосредственно ведать делами Красного Креста. Заниматься распределением денежной помощи должны были другие. Но скоро стало ясно, что больших пожертвований ждать не приходится.

Обращаться за подобной помощью к Тургеневу Лавров считал неудобным. Но хотелось узнать, что думает Тургенев о революционерах теперь, после возвращения из России. Вернулся он в Париж еще осенью, но о Лав-

рове словно бы забыл, а Лавров не хотел показаться навязчивым. Теперь решился напомнить о себе, и в один сырой и холодный январский день посетил он Тургенева на улице Дуэ.

Тургенев был мрачен. В разговоре прямо сказал, что в ближайшем будущем, он считает, надеяться не на что. Прежде он верил в реформы сверху, по правительство оказалось решительно неспособным на реформы...

— Я с радостью присоединился бы к движению молодежи, — сказал Тургенев, — если бы не был так стар и верил в возможность движения снизу...

Снизу — то есть из народа. Но если в это не верить — па что же тогда надеяться? И как жить без веры и без надежды?

Утром 11 февраля неожиданно и шумно явился к нему на квартиру полицейский комиссар. Он предъявил официальную бумагу.

В ней говорилось, что, поскольку господин Лавров «открыл публично во Франции подписку в пользу русских нигилистов, что составляет факт деятельного участия в политической жизни за границей», и ввиду того, что «присутствие вышеозначенного иностранца подрывает общественную безопасность», предписано Лаврову покинуть французскую территорию в трехдневный срок. Подписал постановление министр внутренних дел Гобле.

Лавров не сомневался, что воззвание от имени Красного Креста «Народной воли», само по себе, никак не могло беспокоить французское министерство внутренних дел. Решение о высылке вызвано, безусловно, закулисными демаршами царского правительства, его посольства в Париже. В прошлом году совершенно так же изгоняли из Швейцарии Кропоткина...

Что ж, придется уезжать. По примеру Кропоткина — в Лондон. Куда ж еще. Но в общем — ничего страшного. Не в тюрьму.

Печально, правда, расставаться с Варварой Николаевной, трудно и хлопотно будет перетаскивать в другой город свою библиотеку... Но унижать себя просьбами об отмене постановления он не станет.

Известие о высылке его моментально попало на страницы газет. Он мог быть только доволен тем, что об этом все узнают. Но вот он развернул свежий номер газеты «Le Gaulois» («Галл») ...Сначала удивился, прочитав сообщение, взятое, можно сказать, с потолка: будто он, Лавров, «во время Коммуны участвовал в защите одного из форт, попавшего в руки инсургентов». Что ж, ему даже лестно было это прочесть — и стоит ли опровергать? Но дальше в газете утверждалось: «Если Пьер Лавров мог оставаться так долго на французской территории, то этим он обязан был своим почти независимым средствам и особенно покровительству г. Тургенева, который, благодаря своим связям, имел возможность спасти его несколько раз». А вот это сообщение было уже не просто вымыслом, но и открытым ударом по Тургеневу — писатель ставился в весьма затруднительное положение. Он мог теперь либо промолчать и тем самым как бы признать, что газета сообщила правду, либо выступить с опровержением — и тем самым отмежеваться от Лаврова...

Утром следующего дня Лавров поехал к Тургеневу, но дома его не застал. Вернулся к себе и принялся готовиться к отъезду. То и дело в прихожей раздавался звонок: приходили знакомые и незнакомые, выражали свое сочувствие, свое негодование, жали руку, предлагали посильную помощь.

Под вечер консьерж принес письмо. Лавров распечатал — оказалось письмо от Тургенева:

«Я *вчера* ждал Вас весь день, а сегодня должен был выехать, и очень жалко, что Вы меня не застали. Вот в чем дело: если Вы еще не уехали — то ступайте зав-

тра к префекту полиции Камескасу. Я его видел сегодня, и он меня расспрашивал, что Вы за человек?» Далео Тургенев сообщал, что поручился за Лаврова перед префектом, и тот может дать отсрочку на несколько дней. Чтобы ее получить, нужно только зайти в префектуру завтра утром. «Куда Вы едете? Дайте знать. И вообще если я могу быть полезным...»

Лавров оторвался от письма, увидел вопрошающие взгляды тех, кто в этот момент находился в кабинете... Здесь была Варвара Николаевна, была Лиза Блонская, был незнакомый и любопытствующий француз...

— Мне вот советуют обратиться к господину Камескасу, но я не пойду.— Лавров спрятал листок письма в конверт.— Не стану никого просить. Послезавтра отправлюсь в Лондон. Ничего страшного.

На другой день, просматривая газеты, Лавров увидел на страницах «Gaulois» статейку репортера, который, оказывается, был у него вчера. Приходил, так сказать, инкогнито. Репортер сообщал: «...мы имели случай убедиться, что друзей у этого нигилиста много. Поминутно являлись русские всех возрастов и обоего пола...» Далео описывал квартиру: «Бумагами и газетами завален стол, занимающий середину комнаты. Негде булавки в стену воткнуть. Книги, старые и новые, поднимаются кругом сплошными горами от пола до потолка...» Репортер увидел «седовласого старца с двумя довольно молодыми дамами» — неужели он, Лавров, уже выглядит старцем? Ему ведь еще нет шестидесяти... Спасибо, что дамы названы довольно молодыми и могут не огорчаться: Варвара Николаевна в ее неполные сорок лет, Лиза в ее тридцать... Репортера удивило, что дамы были «в черном». Действительно, в черном, но это обычная строгость их одежды, не очень понятная для парижского щелкопера. «Они, по-видимому, смотрят на Лаврова как на великого жреца. Явились сюда заботиться о старце до последней минуты.

Готовы как бы сейчас к бою, в случае нужды, для защиты его». Ну, пусть себе иронизирует, бог с ним. Дальше — о том, как Лавров прочел письмо с советом отправиться к префекту полиции... Да, вот когда стоит похвалить себя за привычную предосторожность — не сказал при постороннем, от кого письмо, а то бы сегодня снова трепали имя Тургенева на страницах этой скверной газеты.

Все-таки имя Тургенева еще раз появилось на страницах «Gaulois» — в день отъезда Лаврова из Парижа, 13 февраля. В письме в редакцию, помеченном еще 10-м февраля, Тургенев отвечал на прочитанную им статью: «Я вижу с некоторым удивлением, что в сегодняшнем номере «Gaulois» мое имя применено к рассказу о высылке г. Петра Лаврова... Спасать г. Лаврова я никогда не имел ни возможности, ни случая, а наши политические убеждения до такой степени несходны, что в одном из своих сочинений г. Лавров формально упрекнул меня в том, что, как либерал и оппортунист, я всегда противился тому, что он называл развитием революционной мысли в России».

Но ведь он, Лавров, никогда не называл Тургенева оппортунистом и никогда не утверждал, что Тургенев противится развитию революционной мысли в России!

Как это объяснить?

Видимо, это письмо в газету Тургенев написал единственно ради того, чтобы отвести от себя опасность непредвиденных репрессивных мер со стороны царского правительства. Может, он опасался, что его могут не пустить домой, в Россию... Конечно, он понимал, что Лавров непременно прочтет это его письмо на страницах «Gaulois», но верил, что тот поймет его правильно и не обидится.

Лавров и не обиделся. И не по поводу печатного заявления Тургенева, а лишь по поводу своей высылки он захотел высказаться на газетных страницах. Написал

открытое письмо — заявил, что французское правительство, изгоняя его из страны, действует, правда, в соответствии со своим положением, но в вопиющем противоречии с девизом «Свобода, равенство, братство», который можно прочесть на стенах Парижа. Он выразил надежду, что его изгнание побудит многих французов внести свое имя в подписной лист фонда помощи жертвам деспотизма в России.

Барвара Николаевна взялась отнести это письмо в редакцию «Justice». Она загорелась желанием написать для газеты его биографию, попросила его изложить на бумаге хотя бы самые краткие биографические сведения — для ее статьи. Он обещал.

В дороге, еще на территории Франции, с ним случилось несчастье: украли его мешок, который он сдал в багаж, а в этом мешке был, среди прочих вещей, бумажник с письмами Анны Чаплицкой. В ее письмах была часть его жизни, сердца, души. И вот они пропали — нелепо и безвозвратно.

В подавленном состоянии прибыл он холодным утром в Лондон, на дымный вокзал Чаринг Кросс. Остановиться он решил на той же улице, где жил пять лет назад, — на Тоттенхем Корт Род, в меблированных комнатах.

Утратив письма Анны, он почувствовал себя таким обездоленным: скоро будет десять лет, как ее нет в живых, а вот теперь уже нет и писем, сохранявших ее голос, интонацию, любовь ее к нему...

Надо было взять себя в руки, отвлечься. Первым делом — повидаться с лондонскими друзьями — Кропоткиным, Гартманом, он знал их адреса.

Оказалось, что Кропоткин в этом огромном городе отчаянно хапдрит, угнетен окружающим безразличием к его деятельности. Чувствует себя рыбой, выброшенной на песок — на английский берег. Гартман вернулся

осенью из Америки и живет по соседству, на Бедфорд-сквер, но видеть его можно только по воскресеньям: он работает, под чужой фамилией, монтером на фабрике электрического освещения.

Что ж, надо было возобновлять прерванные занятия за письменным столом, для начала — исполнить обещанное: написать маленький очерк о себе. В этом очерке не будет ни слова об Анне — невозможно о ней писать, это не для газеты, не для публики. Анна — его сокровенная тайна, которой нельзя поделиться даже с собственными детьми. То, что было в жизни и чего не будет в биографии.

Он написал о себе коротко, без лишних слов. Вложил написанное в конверт и отнес на почту. Следом отправил письмо: «Дорогая Варвара Николаевна, исполняя обещание, сейчас выслал свой автобиографический очерк...»

Ее первое письмо пришло уже на другой день. Она рассказывала, что Клемансо готов поместить его открытое письмо на страницах «Justice» и, когда она спросила, не может ли оно помешать возвращению Лаврова, ответил: «Нет, я опубликую его полностью — это прекрасное письмо, и меня, во всяком случае, оно ничуть не смущает». Выяснилось, что издатель другой газеты уже спрашивал о Лаврове премьер-министра Фрейсине, и тот сказал, что через самое непродолжительное время Лавров сможет вернуться в Париж. Национальное собрание вскоре будет рассматривать вопрос об изменении закона 1849 года — этот закон предусматривает высылку из страны нежелательных иностранцев.

«Смотрите, дорогой Петр Лаврович, не устраивайтесь в проклятом Лондоне, — писала Варвара Николаевна. — До свидания, я измучена всеми этими тревоблениями, а нужно выспаться хорошенько, чтобы написать вашу биографию».

В ответном письме он не удержался, чтобы не пожаловаться на очень, очень печальную потерю, постигшую его на пути из Парижа... Спыхватился: «Ну, да об этом говорить нечего. Расскажу вам лучше, как живу. У меня весьма просторная комната на солнце и на двор, на одной из самых тихих, хотя и центральных улиц Лондона». Конечно, он предпочел бы вернуться в Париж, но при условии, что не придется ради этого идти на поклон к власти имущим.

Уже 18 февраля получил он открытку от Энгельса: «Дорогой г-н Лавров!

Бесконечно сожалею, что не застал Вас сегодня после обеда; но если Вы, как я надеюсь, получите настоящую открытку еще сегодня вечером, то не будете ли Вы так добры прийти ко мне завтра, в воскресенье, между 7 и 8 часами вечера. Вы встретите у меня друзей. Мы все будем очень рады Вас видеть».

В доме Энгельса он встретил знакомых, но вот с Марксом увидеться не удалось: он отправился, по совету врачей, в Алжир — лечить нажитый в дождливой Англии хронический бронхит.

Кропоткин принес Лаврову свежий номер женевского органа анархистов «Révolté» («Бунтарь»). Показал напечатанную в этой маленькой газетке свою статью «Изгнание Петра Лаврова». Эту статью он сначала пытался опубликовать в одной из лондонских газет — не удалось. Видимо, в редакциях она показалась чересчур резкой. Вот что он написал: «Наш друг Петр Лавров изгнан из Франции, где он проживал уже почти четыре года. На сей раз официальные лжецы не могли сослаться ни на замышляемое убийство, ни на призыв использовать динамит, ни даже на вмешательство во внутренние дела страны. Никакие обычные измышления не могли быть выдвинуты официальной кликой, которая лгать слишком привыкла, чтобы краснеть...» На самом деле Лаврова

изгнали только ради того, чтобы угодить царскому правительству. Как это ни постыдно, Гамбетта проявил готовность лизать царские сапоги. Он воображает, что может отклонить Россию от союза с Германией, оказав ей эту маленькую услугу. Но мечтать о союзе республиканской Франции с императорским деспотизмом — глупо. Вот когда русский народ свергнет царя, тогда Россия станет сестрой Франции.

Лавров был признателем Кропоткину за поддержку, но подумал, что вряд ли Гамбетта читает «*Révolté*», да и вообще мало кто ее прочтет в Париже. И можно усомниться, прочтет ли ее в России хоть кто-нибудь.

«Я написала два биографических очерка», — сообщала ему Варвара Николаевна. Два — потому что для двух парижских газет. 23 февраля предстояло обсуждение высылки Лаврова в Палате депутатов, и Клемансо хотел опубликовать его биографию именно в этот день.

«Я все это время так занята вами, дорогой Петр Лаврович, что еще не вполне *осязаю*, так сказать, ту пустоту, которую ваш отъезд оставил в нашей жизни; она нахлынет на меня, я знаю, с тем большей силою, когда отвезу мои статьи и вернусь к обычным занятиям. Эти два дня я совсем не выходила, так была поглощена моими очерками. Я писала со страхом и трепетом, — с одной стороны, страх повредить вашему возвращению, выставив вашу деятельность и вашу личность в настоящем свете, — с другой, страх уменьшить и то, и другое — не угодить вашей партии, не угодить вам, — желание, горячее желание, чтобы все вас поняли и оценили так, как я вас ценю».

К этому трогательному письму она приложила написанную для газеты «*Justice*» биографию. И он прочел: «Изгнание Лаврова с французской территории вызвало взрыв сочувствия и негодования всех искренних республиканцев... В течение нескольких дней газеты всех оттепков, в том числе «благонамеренные», в том числе гор-

дящиеся тем, что они почти ни о чем не задумываются, кинули корм общественному любопытству — более или менее фантастические подробности о человеке настолько же выдающемся, насколько и скромном, чье существование, целиком отданное науке и возрождению его страны, протекало тихо в неведомом углу Парижа. Мы уверены, что поступаем в интересах истины и оказываем услугу нашим читателям, помогая лучше узнать мыслителя, эрудита, горячего поборника свободы и справедливости, которому все истинно республиканские правительства должны оказывать, как почать, убежище и поддержку».

Лавров прочел это и нашел, что Варвара Николаевна написала чрезмерно, совершенно чрезмерно хвалебную статью. Свое мнение он прямо высказал ей в письме. И добавил, что угодить всем — почти невозможно, а опасность предполагаемых последствий не следует брать в соображение.

Варвара Николаевна рассказала в следующем письме, что она давала прочесть его биографию доктору Белоголовому и его жене — оба остались вполне довольны. Лавров укоризненно ей написал: «Вы советовались, вы говорите, с Белоголовыми. Ну, какие же они советчики в деле человека партии? Они — прекрасные люди, мои очень хорошие приятели, и я думаю, что искренно любят меня, но они никак не могут стать мысленно на мое место как политического деятеля. Они подумают только о том, как бы *оберечь* меня. Но у меня, кроме оберегания, есть кое-какие другие, совсем иные интересы».

По ночам за окном его лондонского жилья сгущался туман, и с утра, часов до десяти, приходилось писать при свече.

В назначенный день, 23 февраля, его биография появилась на страницах «Justice». В этот день вопрос о высылке Лаврова из Франции обсуждался на заседании Палаты депутатов. Уже до заседания депутатам было

известно, что закон 1849 года правительство считает неудовлетворительным, а два министерства, иностранных дел и внутренних дел, ссылаются друг на друга в объяснениях высылки Лаврова из страны.

Председатель Палаты Гамбетта открыл заседание. На трибуну поднялся депутат крайней левой поэт Кловис Гюг и, встряхивая гривой темных волос, громогласно заявил:

— Когда во Франции нарушают право гостеприимства, когда иностранца высылают из Франции при правительстве, которое именует себя демократическим, то посягают на свободу, посягают на самый принцип республики. Впрочем, мы принадлежим к числу тех, кто полагает, что для Франции не существует иностранцев...

— А пруссаки? — вызывающе прервал его голос из зала, голос кого-то из правых.

— О тех, кто в этом случае говорит о пруссаках, — ответил Гюг, кивком головы указав на скамьи правых депутатов, — вероятно, нельзя сказать, что они лучше других исполняли свой долг в 1870 году!

Этими словами он напомнил правым их капитулянтское поведение в год франко-прусской войны. В залo поднялся шум, и Гамбетта, повысив голос, предложил оратору воздерживаться от оскорбительных выражений и помнить, что, каково бы ни было его мнение об иностранцах, Палата, перед которой он имеет честь говорить, состоит из истинных французов.

Гюг задал вопрос:

— Если изгнание Лаврова — дело похвальное, то почему же два министерства сваливают ответственность друг на друга?

Гамбетта возразил:

— Никто не слагал с себя ответственности.

И премьер Фрейсине поднялся и повторил:

— Мы принимаем на себя всю меру ответственности.

Гюг заявил, что изгнание Лаврова взволновало страну. Если правительство считает плохим закон 1849 года, оно могло его не применять. Лаврова изгнали ведь только потому, что он поставил подпись под воззванием о помощи другим изгнанникам, иностранцам. Можно ли укорять Лаврова за то, что он воспользовался гостеприимством Франции и свободой республики? Республиканцы должны громко протестовать против подобных действий. Гостеприимством народа измеряют уровень его цивилизации. Под аплодисменты слева Гюг заявил, что если есть что-либо прискорбное для национальной чести, так это изгнание иностранца республиканским правительством.

Снова поднялся премьер Фрейсине — такой благообразный, с подстриженными седоватыми усами. Он поднял брови и призвал депутатов осознать одно: трудно, чтобы не сказать — невозможно, не применять закон 1849 года в случаях, когда его применения требует дружественное правительство. Закон может быть пересмотрен, но, пока он существует, власти не могут действовать по-иному.

Кловис Гюг заявил, что закон 1849 года угрожает всем иностранцам, проживающим во Франции, и потребовал его отменить.

Варвара Николаевна прислала Петру Лавровичу номер газеты «Citoyen», где была напечатана ее вторая статья о нем — «еще, конечно, более легкая и пустая», — словно извиняясь, замечала она в письме. А еще спрашивала: что именно пропало у него по дороге из Парижа?

«Дорогая Варвара Николаевна, не знаю, с чего вы берете, что я недоволен вашими статьями, — отвечал он. — Во всей моей довольно долгой жизни никто и никогда меня так не хвалил печатно, никто не выступал за меня, а я еще буду недоволен! Мне совестно читать

такие хвалебные статьи, но вот и все». О пропаже своей написал: «Я почти уверен, что это дело не полиции, а простых воров. Там лежали письма и бумаги очень старые, восходящие за несколько лет... Было там кое-что политического значения не имеющее, но для меня более дорогое, чем что-либо из всего, что у меня было и есть. Эта потеря *незаменима*. Она мне так тяжела, что мне даже писать о ней больно... Словом, тут оборвалось нечто, чем когда-то жил... А я в хлопотах *забыл* — вообразите! *забыл*, что в мешке бумажник, и сдал в багаж... Само собой разумеется, что об этом предмете я прошу вас не говорить ни с кем». И печально добавил: «...такая кора обросла около души, что личные радости и личные горести становятся уже тупыми орудиями и бесильны».

В конце письма он припомнил свое вчерашнее посещение библиотеки Британского музея: «Вчера работал в первый раз при электрическом освещении в музее: очень недурно и, кажется, что как будто не вредно».

Неделю спустя пришло новое письмо от Варвары Николаевны. Написанное с чувством, оно глубоко трогало:

«Как я предвидела, так и есть. Жизнь вошла в обычную колею, и все живее и глубже чувствуется — не хочу сказать потерю, — но отсутствие такого друга и руководителя, как вы.

Так было хорошо, даже в самые скверные минуты, знать, что вы тут, недалеко. Стоило только набросить шубу и шляпку и через четверть часа уже бывало приходишь в вашу скромную келью, где все как будто дышало мыслью, трудом, чем-то высоким и спокойным, так что становилось совестно за свои мелкие тревожнения и личные страдания. Никогда я не забуду часов, проведенных в вашем кабинете, и того настроения, с которым я часто выходила оттуда, точно — не смейтесь, пожалуйста, — точно верующий из храма. Вы имеете все, чтобы быть

лекарем большой души, вы будите мысль, точно расширяете горизонт перед ней, а вместе с тем вы говорите, что ваша душа заросла корой, по столько еще в пей жизни и тепла, что она находит в себе отголосок на всякое страдание. Вы умеете касаться больного места, не раздражая его, а так немногие это умеют. Да, Петр Лаврович, ни с кем не было мне так светло и вместе тепло, как с вами,— а вы знаете, как я люблю свет и теплоту. Простите этот крик эгоизма и поймите, что у кого в жизни мало и кто вдруг неожиданно нашел в жизни источник отрады и силы, тому не легко примириться с его потерей. Я недавно говорила Лизе: «Видишь ли, это было *слишком хорошо* и потому продолжаться не могло, судьба пашла, что довольно баловать».

Еще написала, что понимает, почему он не хочет оглашать своей дорожной пропажи. «Понимаю также все, что эта пропажа в вас возбудила, и вполне горячо вам сочувствую. Немногие, тем более в ваши годы, так бы отнеслись к подобной вещи. Нет, нет, не заросла корой ваша «живая душа»... Пишите, дорогой Петр Лаврович, ваши письма очень мне дороги, от них веет теплом больше, чем от живого слова других. Скажите, думаете ли вы вернуться, есть ли надежда? Если нет, надеюсь навестить вас...»

В этом же письме его поразило сообщение, что «наша молодежь» собирается переслать в Лондон его библиотеку за счет Красного Креста «Народной воли». Варваре Николаевне сказал об этом Николай Цакни, революционный эмигрант, грек из Одессы, занимавшийся в Париже делами Красного Креста.

Лавров ответил: «Я уже начинал беспокоиться, что долго от вас не имею известий, так вы меня избаловали, но получив и прочтя ваше письмо, сию минуту написал паскоро письмо... не вам, а Цакни. Что за возмутительный слух вы мне сообщили с его слов! Как это мог кто-

нибудь думать только о том, чтобы на счет *Красного Креста Народной воли* пересылать мою библиотеку! Я еще не дожил до такой степени дряхлости, чтобы обирать русских мучеников. Я еще могу работать и имею личный кредит; 10 или 12 человек мне предлагали денег при моей высылке. Если понадобится, я займу у частных лиц, но взять из *Красного Креста*! Нет, мне кажется, что вам это или показалось так, или Цакни очень уж неточно выразился».

Да и вообще преждевременно было говорить о пересылке его библиотеки, поскольку он не терял надежды на возвращение в Париж.

В середине марта Варвара Николаевна пожаловалась в письме, что плохо себя чувствует, кашляет и вообще так расклеилась в последнее время, что забеспокоился даже такой «бесчувственный чурбан», как ее друг доктор Летурно: «Право, весной и летом он гораздо более живой человек, чем зимой, и мы иногда как будто бы друга друга понимаем». — Она словно бы предполагала, что Лавров ревнует ее к Летурно, и хотела отвести подозрения... — «Петр Лаврович, сегодня небо голубое, я пишу с открытыми окнами, около самого балкона, где стоят горшки с цветами, — так светло и пахнет сиренью и глицинтами. Грустно и больно подумать, что вы сидите среди лондонских туманов... Когда же вы думаете, что будет возможность вернуться и покинуть *British Museum* с его электрическим освещением, — не заменить ему солнечного...» — и в конце письма она задавала вопрос: «Имеете ли вы общество хотя бы немногих приятелей и как живете — сами или с кем-нибудь?»

Жил он один, но мыслями постоянно возвращался и к трогательной Варваре Николаевне, и к Герману Лопатину, который, как сообщали из России, теперь отбывал ссылку в Вологде, и к тем отважным молодым людям,

что ныне составляли Исполнительный комитет «Народной воли».

Горестные новости он знал из газет: в феврале в Петербурге прошел процесс 20-ти. В их числе было одиннадцать членов Исполнительного комитета, и теперь на свободе, в России, оставалось только двое. Один из подсудимых, морской офицер, был расстрелян, несколько человек осуждены на вечную каторгу и ныне заточены в казематы крепости... Среди этих несчастных был Александр Баранников, помощник Кравчинского в деле покушения на шефа жандармов Мезенцова.

Лаврову еще в Париже передали рукопись Кравчинского под заголовком «Подпольная Россия». Кравчинский написал о своих погибших и заточенных товарищах, это был гимн их отваге и самоотверженности. Предполагалось издать книгу на итальянском и французском языках. Лаврова попросили написать к ней предисловие, он прочел книгу залпом и преисполнился благодарности к ее автору. Пусть эту замечательную книгу прочтут сначала хотя бы в Италии и Франции. Предисловие он, конечно, написал.

В Лондоне он получил большое и давно уже отправленное письмо — без подписи — от имени Исполнительного комитета «Народной воли». Ему предлагали издавать за границей новый революционный журнал. «Народная воля» ценила его опыт в издательском деле и видела в нем союзника. «Комитет желал бы поручить постановку этого дела Вам вместе с Сергеем Михайловичем Кравчинским...» Предлагалось привлечь к изданию также Плеханова, «лучшие эмиграционные и иностранные силы». Вдохновляющее было письмо!

Теперь, думал Лавров, когда ряды русских революционеров так поредели — после арестов и казней, — оставшимся на свободе можно и должно организоваться в единую силу. У них общие социалистические цели, поэтому

они вполне смогут издавать журнал сообща. Но редакция журнала все-таки должна быть совершенно самостоятельна. «Если комитет захочет мешаться во внутренние дела издания или захочет, чтобы социалистическое знамя было завернуто в неопределенный (в смысле идеи) вуаль, — написал он в письме Кравчинскому, — ...то я готов всячески содействовать, сотрудничать, исполнять хотя бы корректорскую работу, но ни организовывать группу, ни участвовать в редакции не буду».

Оставалось надеяться, что народовольцы сумеют все проблемы издания решить и трудности преодолеть.

Вечером 19 марта он приехал в социал-демократический клуб рабочих в Сити, в центре Лондона. Сегодня здесь отмечали годовщину Парижской Коммуны. На стенах небольшого зала он увидел размахисто написанные плакаты: «Разружьте иго нужды!», «Разружьте иго рабства!», «Хлеб — это свобода, свобода — это хлеб!», «Да здравствует Коммуна!», «Да здравствует революция!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Он поднялся на невысокие подмостки и произнес подготовленную речь. Сказал по-английски — громко, чтобы все могли его слышать:

— Европа следит с любопытством и удивлением за кровавыми фазисами борьбы, которую небольшая группа революционеров ведет с русским императорским правительством... И здесь, как и в борьбе Парижской Коммуны против Версаля, для постороннего зрителя идейная подкладка заслонена трагизмом отдельных событий... Какая историческая сила могла двигать Перовскую, когда эта смешливая девушка с кротким и нежным характером, по свидетельству всех, близко ее знавших, подает знак платком на берегу Екатерининского канала, и этот знак есть знак смертельного удара для Александра Второго?.. На какой общественно-стихийной почве вырос тот фанатизм, с которым герои и мученики русской революции



идут умирать на виселице и на каторге? Все это не может быть случайностью. Тут мы должны искать не борьбу личностей, а борьбу исторических принципов.

Он хотел подчеркнуть, что русские революционеры — духовные наследники Парижской Коммуны. Он хотел, чтобы это понимали здесь, в Лондоне, — ради этого произнес сегодняшнюю речь.

Он был очень огорчен, когда на следующий день не нашел в лондонских газетах никаких сообщений об этом собрании.

Варваре Николаевне он написал, что его ожидает большая работа, предложили ее пародовольцы. Не стал уточнять, что речь идет об издании революционного журнала. Предупредил: рассказывать об этом пока что никому не следует — и попросил уничтожить письмо.

«Будьте спокойны, — отвечала она. — Все, что вы мне высказали, останется *между нами*; я вполне понимаю всю важность этого для вас и с моей стороны слишком дорожу вашим доверием... Я смутно понимаю, в чем дело, расспрашивать, конечно, не смею; надеюсь, что ваше тонкое нравственное чутье вам говорит лучше всех моих слов, насколько я сочувствую всему, что вас касается, и что я (насколько это возможно) всегда буду посвящена в вашу жизнь». Написала, что редакцию «Justice» она уже поторопила с выплатой ему гонораров за статьи, напечатанные в газете. «Теперь все в редакции так со мной любезны, что я не надивлюсь, а всем этим кому я обязана? Все вам...» Написала, что один из редакторов газеты, Шарль Лонге, хочет даже представить ее Карлу Марксу, — Лонге был мужем старшей дочери Маркса Жени...

«Здоровье мое из рук вон плохо, — жаловалась Варвара Николаевна в письме, — спать не могу без опиума, — такие припадки кашля, сил ни на грош и аппетиту также.

И все это еще без всяких треволнений правительственных, все меня балуют наперерыв, кроме, впрочем, отца, с которым находимся в письменной полемике.

Жаль мне, Петр Лаврович, что вы все вечера проводите в таком одиночестве. Как бы хотелось перелететь *море-окиян* и проболтать вечер с вами за чашкой чаю... Да это еще будет».

Через неделю написала ему:

«Здоровье лучше, и сегодня еду слушать Девятую симфонию Бетховена — зачем не с вами!»

«Слышала мессу Бетховена в Notre Dame, — рассказывала она в другом письме, — более полного музыкального наслаждения трудно себе представить, — музыка вдохновенная, глубокая, исполнение превосходное, а где же найти более поэтическую обстановку, как величественные своды готического храма? Я была на хорах и села нарочно так, чтобы не видеть вовсе комедии, происходившей внизу... и уверяю вас, что провела часа два в каком-то сне. Это не был «Сон в летнюю ночь», но «Сон в Notre Dame» под звуки Бетховена. Иногда мне приходит в голову, что во мне живет «немой» поэт, такое богатство образов, ощущений, мыслей теснится в голову в иные минуты сильного потрясения, но это, вероятно, кажется всем впечатлительным людям, которые действительно имеют одну общую черту с поэтами: нервный темперамент, сильно все воспринимающий. Беда от него чаще всего, но иногда и хорошо...»

В конце письма она отмечала: «Ваше дорогое нам имя часто произносится теперь при всяком удобном случае и всегда с таким уважением и сочувствием, что отраднo слышать. Например, в воскресенье 19 марта Гюг на конференции, где он говорил о законе, предлагаемом Фрейсине, и вообще о законах подобного рода, упоминал и о вас». Она добавила, что Гюг — «чисто народный оратор», у него «несколько вульгарное, но картинное и стра-

стиное красноречие», и «на простых людей оно сильно действует».

Варвара Николаевна выразила свою досаду на то, что на днях Палата депутатов распускается на пасхальные каникулы и, значит, «эти... хотела употребить крепкое слово из лексикона Золя,— но испугалась вашего чувства изящного... итак, эти болваны разойдутся, вероятно, прежде, нежели пройдет закон об иностранцах. Ведь это очень обидно, потому что таким образом ваше возвращение будет отсрочено еще на несколько недель».

Началась пасхальная неделя, принятие нового закона об иностранцах было, разумеется, отложено. Варвара Николаевна писала: «...уверяю вас, Петр Лаврович, что в Париже очень скверно и «холодно» без вас. Прежде, бывало, как подойдет прилив тоски, пойдень к вам... А теперь не к кому и пойти...»

Тревожное письмо прислал ему Плеханов — из Швейцарии, куда он перебрался осенью прошлого года. Плеханов сообщал о происшествии в курортном местечке Глион, на горном склоне над городком Монтре у Женевского озера. В Глионе приезжая русская дама (не та ли самая, о которой слышал Кропоткин?) стреляла в некоего немца, приняв его за Лаврова,— она хотела его убить. Но за что? Если верить одной швейцарской газете — за его нигилизм, но другая швейцарская газета утверждает, что как раз наоборот — за то, что перестал быть нигилистом. «Что за чепуха такая? — недоумевал Плеханов. — Врут ли газеты? Сумасшедшая ли эта барыня? Или, наконец, она из «Святой дружины» и хотела явиться русской Шарлоттой Корде, желавшей избавить мир от «кровожадного Лаврова»? Вы знаете, что наше отечество переживает теперь период, который, наверное, в нашей истории будет назван *периодом невероятным*».

Действительно, это черт знает что. Лавров написал Варваре Николаевне: «...я уверен, что суд покажет целе-

пость всей конструкции этого дела. Ведь шуты имели время и до того. Я так живу, что подослать убить меня и в Париже и в Лондоне не стоит ни малейшего труда, а их шпионы, верно, знают отлично мой способ жизни».

Но вот некоторые газеты перепечатали рассказ того немца, который едва не был убит по приезде в Глпон. Оказывается, 3 апреля утром он сидел на веранде отеля и читал газету, когда неизвестная дама лет сорока подскочила к нему и принялась что-то гневно и громко говорить ему по-русски. Поднявшись со стула, он пытался объяснить ей по-немецки, по-английски и по-французски, что русским языком не владеет и она заблуждается на этот счет. «Вы Петр Лавров! — крикнула она по-французски. — Вы сейчас умрете! Трусливо и жалко, как и следует от вас ожидать!» Она отступила на шаг, подняла револьвер и выстрелила. Пуля просвистела рядом с его головой. Он схватил плетеный стул и поднял его как щит, а затем бросил стул и схватил ее руку, державшую револьвер. Она тут же выстрелила во второй раз, и пуля прошла рукав его сюртука. Выбежал портье, и, пока они вдвоем вели ее за руки, она выкрикивала что-то по-русски. Ее передали в руки агентов полиции. Им она сказала, что ее фамилия Михеева и что она из Москвы.

Полицейские отвезли ее в ближайшую тюрьму — в Шильонский замок на берегу Женевского озера, в тот самый романтический Шильонский замок, что был воспет Байроном.

Если б эта история не была напечатана в газете, ее можно было бы посчитать бредовым сном!

«Как ни повторять себе, что вы в Лондоне, — писала ему Варвара Николаевна, — и что поступок этой сумасшедшей не имеет, следовательно, никаких последствий для вас, но мысль одна, что *хотели в вас* стрелять, заставляет сердце болезненно сжаться... Мне так грустно, когда я подумаю о вашем одиночестве в Лондоне, да еще

представляю себе, что вы больны, что, будь у меня деньги, сейчас бы к вам поехала. К сожалению, безденежье у меня полное... вследствие небольшой размолвки, происшедшей между мной и отцом».

Размолвки происходили и раньше, они были по-человечески попятны: отец старался в письмах своих отвести дочь от политики, от увлечения социалистическими идеями — страшился за ее судьбу.

«Меня беспокоит ваше отношение к вашему отцу,— огорченно написал ей Лавров.— Ну что же вы делать будете, если там совсем разорвется? И к чему писать резкости, когда они *не могут* подействовать?» А что касается покушения в Глионе... Внезапной смерти он уже не боялся: «...неизвестная мне личность (если бы все это было серьезно) оказала бы мне немалую услугу. Есть бремя, которое нести нелегко, но сбросить не имеешь права, как представитель не только своей личности, но общественного направления, а если другие помогут, да еще при приличной драматической обстановке,— это совсем недурно. Но вы возмущаетесь и браните меня, я это чувствую и потому перестаяю. Туман. Погода непривлекательная. Сейчас иду в музей».

Она действительно рассердилась:

«Странный вы, право, человек, Петр Лаврович! Из вашего письма выходит просто, что ваши друзья должны бы сожалеть о том, что покушение на вашу жизнь не удалось, так как ничего лучшего для вас и желать нельзя».

Он уже послал письмо Вырубову с просьбой навести справки, нельзя ли ему будет вернуться в Париж в скором времени.

Вырубов сообщал 7 апреля: «Сейчас только возвратился от Гобле, с которым объяснялся о вашем деле. Ответ его на мой вопрос был самый неожиданный, самый изумительный!.. Вот, почти текстуально, что мне сказал

гражданин министр: «Возвращение господина Лаврова в настоящую минуту, быть может, несколько преждевременно, но скажите ему, что, когда он сочтет возможным возвратиться, чтобы он об этом не сообщал правительству. Это во всех отношениях удобнее». Последнее он повторил мне еще раз на прощание, с весьма знаменательной улыбкой. Переводя все это на общечеловеческий язык, оказывается следующее: подождав еще недельки четыре, вы можете спокойным манером укладывать чемодан...»

«Я надеюсь скоро приехать в Париж», — написал Лавров Варваре Николаевне.

«Я надеюсь, дорогой Петр Лаврович, что вы мне напишете, когда именно вы приезжаете, — ответила она, — я сюрпризов, даже приятных, не люблю, они мне первые расстраивают. Зато нахожу, что нет ничего приятнее в жизни, как ожидание чего-нибудь радостного, а ведь увидите вас будет великая радость».

Вместе с тем она признавалась ему, что кашляет почти напролет и чувствует себя разбитой. Но вот наступили в Париже великолепные теплые дни, можно и нужно было побольше дышать весенним воздухом, и она стала ходить на прогулки в близкий к ее дому Люксембургский сад.

Она получила наконец, к большому своему облегчению, письмо от отца и написала Петру Лавровичу: «Отец извиняется передо мною и перед *социализмом* и присылает деньги, выражая надежду, что я их приму. Я, конечно, ответила сейчас же, что... в свою очередь прошу извинить за резкий тон. А все-таки он у меня очень хороший...»

Она еще написала, что все парижские знакомые Лаврова думают, что он уже может вернуться и его здесь не потревожат. Министерство внутренних дел было бы даже довольно его возвращением: тогда бы газетные на-

падки па министерство прекратились. «Оно только бы не желало официально нести ответственность, потому что геройские поступки не в его характере».

Вырубов 1 мая подтверждал: «...вы можете возвращаться совершенно безопасно. Будут за вами, разумеется, следить, но тревожить вас не будут...»

В самом деле пора было возвращаться.

В тот самый день, когда он вернулся в Париж, 8 мая, в швейцарском городке Веве состоялся суд. Рассматривалось дело Михеевой, обвиненной в покушении на убийство магдебургского коммерсанта Отто Зальге.

На суде Михеева спокойно утверждала, что в зале присутствует не Отто Зальге, а Петр Лавров, красивый — чтобы его труднее было узнать — волосы и бороду. Этот Лавров, по ее словам, имеет большую силу и подкупил ее адвоката. Она ненавидит англичан, считает их главными врагами России, а Лавров прежде был патриотом, но теперь проданся англичанам.

Три врача-эксперта нашли, что у подсудимой несомненный психоз. Отвергли предположение о симуляции. Суд принял решение передать подсудимую префекту полиции округа Веве, чтобы отправить ее в Россию, домой...

Вся эта история, когда имя Лаврова лишний раз попало на столбцы газет, осталась нелепым казусом, однако можно было задать себе вопрос: ну а если бы на месте магдебургского коммерсанта оказался действительно он, Лавров? Стал бы он оправдываться перед этой сумасшедшей, доказывать, что он остался патриотом и никому не продавался? Схватил бы плетеный стул? Держал бы ее за руку? Или же просто встал бы перед ней и подставил под нулю голову?

Лондонские друзья снабдили его новым паспортом. В паспорт была вписана немецкая фамилия Кранц. Под этой фамилией он вернулся в Париж, на улицу Сен-Жак, в свою прежнюю квартиру. Предупредил консьержа, что теперь он не Лавров, а Кранц. То есть для полиции он Кранц, а для друзей у него фамилия прежняя. И консьерж спокойно продолжал называть его Лавровым, другую фамилию вспоминая лишь тогда, когда приходили письма, адресованные господину Кранцу.

У ворот дома, где он жил, теперь целыми часами стояла неизвестно чья карета — в ней, кажется, сидел сыщик, обязанный наблюдать, кто посещает русского революционера: новая фамилия в паспорте никого не обманула.

Встречи с ним не должны иметь ни для кого неприятных последствий — вот что его теперь заботило постоянно. Если приходил человек незнакомый, когда кто-то уже сидел в кабинете, Лавров сажал оберегаемого гостя в неосвещенный, затененный низким абажуром угол и называл его вымышленным именем. Правила конспирации! О них нельзя было забывать.

Самым частым и желанным гостем была Варвара Николаевна. Вообще для гостей он пазпачил определенный день — четверг, по четвергам знакомые и незнакомые приходили без приглашений. Он заранее покупал печенье к чаю — для мужчин, пирожные с кремом — для дам. Кто-нибудь помогал ему ставить самовар. Так как ни буфета, ни обеденного стола у него не было, он к вечеру освобождал свой письменный стол от книг и бумаг, а тарелку с пирожными ставил в ящик стола и доставал, когда самовар был готов. За чаем, конечно, обсуждали новости, спорили о проблемах политических. Иногда читали вслух его любимого Шекспира. Но здесь каждый

мог, если считал нужным, называть себя только Петру Лавровичу и остаться неизвестным для остальных.

Однажды явились приезжие из России, либеральные деятели. В споре они стали нападать на образ действий революционеров, но соглашались: положение в России тяжелое, так дальше продолжаться не может...

Тогда Лавров сказал:

— Положим на минуту, господа, что программа деятельности революционной партии неверна. Дайте другую программу, чтобы выйти из теперешнего положения, и обсудим ее.

Но никакой программы у либеральных деятелей не было...

В эти дни Лавров писал статью «Шекспир в наше время». Размышляя о трагедиях Шекспира, он приходил к выводу: «Гибель, если отступаешь перед делом, которое перед тобой поставила история. Гибель, если в деле не различаешь друзей от врагов, союзников от противников, если не присоединяешь понимание к решительности. Человек должен быть вооружен с головы до ног для жизненной борьбы, вооружен знанием и решимостью... Надо действовать и бороться, вот все поучение, которое мы извлекаем из драм Шекспира; надо вооружаться для действия и борьбы; надо быть всегда готовым к действию и борьбе...»

Дом в Буживале, где жил Тургенев летом, — деревянный, двухэтажный, опоясанный широким балконом, с мансардой под островерхой крышей, — стоял в глубине сада, на холме. Просторный кабинет писателя на втором этаже по утрам был освещен солнцем и, паверпо, казался бы еще светлее, не будь темно-красных обоев на стенах и мебели черного дерева с темно-красной обивкой. За окнами шелестела листва. Из открытой двери на балкон виднелась вдали сверкающая на солнце Сена.

Когда Лавров поднялся в кабинет, Тургенев позвал его с балкона — он сидел в глубоком кресле, и ноги его прикрывал красный, полосатый плед. Сидел он почти не шевелясь и не мог встать навстречу гостю, лишь протянул руку. Он заметно сдал.

О его болезни Лавров узнал в первые же дни по возвращении в Париж, беспокоить больного было совестно. Но вот теперь, уже в июне, получил от него записку, написанную карандашом: «Завтра меня перевозят в Буживаль». Тургенев приглашал: «Заверните в хороший денек — я Вас хорошим чаем напою — и мы поболтаем». Сегодня с утра была прекрасная погода, и на дачном поезде с вокзала Сеп-Лазар Лавров приехал в Буживаль.

Они сидели на балконе, ветерок доносил запах скошенной травы, пригревало солнце. Тургенев тихим голосом рассказывал о том, что задумал новый роман. В этом романе он хотел бы показать и противопоставить два психологических типа. Вот представьте: русский социалист-революционер и его французский единомышленник. Ведь они живут не просто в разных странах, но в разных исторических условиях. Русский борец за прогресс отстаивает интересы обездоленного народа, но в пароде его сторонятся, не понимают. Потому что между русской интеллигенцией и пародом — роковая пропасть, вырытая всем ходом истории. Подобную пропасть не приходится преодолевать французскому социалисту. И если русский вечно занят разрешением нравственных проблем, поисками истины, то француза, право же, эти проблемы так не мучают...

Ах, если бы роман удалось написать! Тургенев смутно представлял себе, чем же действительно болен, и еще надеялся, как только здоровье позволит, поехать на родину, в Орловскую губернию.

Он прочел вслух свое новое стихотворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах

моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..»

Увлечь Лаврова на прогулку за город, даже в погожий летний день, могла только Варвара Николаевна. Только ей удавалось иногда оторвать его от дел, от книг, от газет и от письменного стола.

Доктор Петурно настоятельно рекомендовал ей на лето снова отправиться в Пиренеи. Конечно, готов был ее сопровождать.

Она уехала вместе с ним и Лизой Блонской. Скоро от нее пришло письмо:

«Дорогой друг Петр Лаврович, хотя я совершенно искренно вам говорила не приходить на железную дорогу, боясь вас беспокоить и нарушить ваши привычки, все же было очень жаль, что вы не пришли...

Не утомил ли вас день нашего скитанья по лесам и долам? Меня несколько встревожило головокружение, которое вы почувствовали, сходя с нашей лестницы... Этот день оставил мне самое приятное впечатление, и я надеюсь, что и вы его вспоминаете с удовольствием и согласитесь когда-нибудь после моего возвращения повторить его. Лизе и мне хотелось бы показать вам Версаль и Трианон в хороший осенний день...»

Написала, что вчера, когда она приехала в Пиренеи, день был серый, горы прятались за тучами. «Но сегодня, когда я вышла на балкон и увидела яркое южное небо, на котором с удивительной рельефностью обрисовались зубчатые верхушки гор, когда я увидела свежую зелень лугов и ряды стройных тополей при ослепительном освещении, я почувствовала опять прилив того восторженного настроения наслаждения природой, которое вызывает в вас несколько насмешливую улыбку. При этом,

хоченно: птицы поют, потоки журчат, и только я слышны эти звуки — ни крика, ни гама, ни шума экипажей и телег, доводящих меня иногда в Париже до отчаяния.

Тут действительно можно отдохнуть телом, работать мыслью и думать о далеких друзьях. Очень бы мне хотелось какой-нибудь магической силой перенести вас сюда, хотя бы на самое короткое время, чтобы видеть, какое впечатление эта обстановка сделала бы на вас, — соскучиться вы бы никак не могли, ваш внутренний мир слишком богат, а ведь этот мир всегда с нами, — а между тем временное отдаление от постоянно волнующих вас забот и безмятежная тишина внешней обстановки, вероятно бы, благотворительно подействовали на ваши нервы. Но увы! магической силой я не одарена...

Она словно бы ждала, надеялась, что он станет опровергать эти ее слова и напишет нечто вроде объяснения в любви; она уже знала, не могла не знать, что он к ней далеко не равнодушен. Но он не мог забыть о своем возрасте и о двадцатилетней разнице между ними, боялся показаться смешным...

В письме к ней он мог только посетовать на то, что его парижских приятелей несравненно более интересует его деятельность, нежели его внутренний мир. Впрочем, никого нельзя в этом винить — у каждого своя личная жизнь, свои горести и заботы. Вот у Николая Цакки только что умерла жена, и он остался один с двумя маленькими детьми — как же ему не сочувствовать...

«Странные, право, люди эти ваши приятели, — отвечала она в письме. — Их более интересует внешняя, фактическая обстановка вашей жизни, чем ваш внутренний мир? И на здоровье! Я же человек сам по себе, толпу уважаю, но принадлежать к ней не люблю, хотя бы даже к толпе ваших приятелей, как ни лестно принадлежать к сей последней. Внешний факт! Что такое внешний факт сам по себе, без того внутреннего, психического

смысла, который мы в него вкладываем? Например, люди живут вместе, в супружеском союзе. Этот факт может быть осмыслен, проникнут глубоким значением, как, например, у бедных Цакки, но он может быть также... внешним, ровно ничего не значащим фактом».

Таким ничего не значащим фактом она, как видно, считала собственное неудачное замужество. А как он мог расценивать ее пёстрые отношения с доктором Летурно? У пятидесятилетнего Летурно была репутация сердцееда: русские парижане знали, что из-за неразделенной любви к нему покончила с собой младшая дочь Герцена Лиза, это было лет семь назад. Варвара Николаевна в кругу русских друзей отзывалась о нем небрежно, однако он был ее неизменным спутником в Пиренсеях, а в Париже явно предпочитал общество Варвары Николаевны обществу своей жены.

Лавров не считал себя вправе делать по этому поводу какие бы то ни было замечания. Пусть Летурно сопровождает ее в летних путешествиях, если ей это нравится. Для Лаврова квартира на улице Сен-Жак — это его пост, который он не вправе оставить, его общеизвестный адрес, куда в любой момент может обратиться всякий сторонник русского революционного движения, обратиться за помощью и поддержкой. Для него, Лаврова, отдых где-то на лоне природы был бы непозволительной прихотью.

А Варвара Николаевна писала: «Природа имеет хоть одну хорошую сторону, которой и вы оспаривать не станете; она не мешает и не беспокоит. Она гордо ждет, чтобы вы к ней пришли... Во всяком случае, позвольте сказать, что Парижа мне вовсе не жаль, кроме улицы Сен-Жак, что вас мне очень, очень недостает. Помните также всегда, что если вы мне приятель, то я ваш *друг*, и верный, преданный друг».

И в следующем письме:

«Никакое чувство не повторяется в жизни в совер-

шенно одинаковой форме, потому что люди, внушающие его, весьма различны, а также и потому, что и сам-то человек не одинаков в различные эпохи своей жизни и на разных ступенях своего развития...

Что же касается вас, вам не трудно будет поверить, что я не встречала в жизни моей личности подобной вам, в особенности своей многогранностью. Поэтому то глубокое чувство привязанности и дружбы, уважения и доверия, какое вы мне внушили, я, конечно, не испытывала ни к кому и — не смеите смеяться — не хотелось мне его профанировать избитым словом — приятельство, не хотелось и не хочу. А вы там называйте ваше как угодно, — какое бы вы имя не давали вашему расположению ко мне, — которое я вполне чувствую и сознаю, — оно мне чрезвычайно дорого. Что касается дружбы, то действительно, вы ее ставите на такую идеальную высоту, что мне остается склонить голову и сознать свое не достоинство. Да и, наконец, одно из условий дружбы — равенство, — ну, а какое же равенство между нами, когда я для вас, вероятно, вполне хрустальна и прозрачна, ну а вы для меня навряд ли когда-нибудь будете таким».

Она словно бы хотела вынудить его раскрыться, перешагнуть строгие рамки установившихся отношений, перестать, наконец, соблюдать дистанцию — но решиться на это он не мог.

Уже не только с упреком, но, кажется, с потаенной болью она писала ему: «Зачем вы мне постоянно говорили, что я вам никогда не мешаю? Людей баловать по пужно, особенно таких простячков, которые принимают простую вежливость за чистые деньги».

Но действительно никогда она ему не мешала. Приходила — и он молодел душой.

В июле прочел Лавров в эмигрантской газете «Вольное слово» (издавалась на русском языке в Женеве) по-

разительный документ, доставленный неизвестно кем из Петербурга.

Газета сообщала:

«Документ этот — циркуляр вновь назначенного начальника штаба жандармов Георгия Порфирова сына Судейкина, в виду спешности и настоятельной надобности в услугах этой ехидны, произведенного из майоров прямо в полковники».

Далее приводился и самый циркуляр:

«При полицейском ведомстве рядом с «расследовательною агентурою» устраивается особое отделение, заведывающее активным воздействием на революционную среду. Цель этого нового учреждения следующая:

1. Возбуждать с помощью особых активных агентов ссоры и распри между различными революционными группами.

2. Распространять ложные слухи, угрожающие и терроризирующие революционную среду.

3. Передавать через тех агентов, а иногда с помощью приглашений в полицию или кратковременных арестов обвинения наиболее опасных революционеров в шпионстве; вместе с тем дискредитировать революционные прокламации и разные органы печати, придавая им значение агентурной провокационной работы».

Черт бы их всех побрал!

Однако циркуляр вызывал серьезные сомнения: не адресован ли он революционерам, чтобы отвести подозрения от действительных шпионов? Не сам ли Судейкин его подбросил «Вольному слову»? Не собирается ли он расширить свою паучью сеть? Лавров хорошо знал, что царское правительство имеет в Париже своих платных агентов, об этом даже сообщала в сенсационной статье популярная парижская газета «Intransigeant» («Неприимимый»).

Из русских революционеров на виду здесь был, соб-

ственно, только он один, остальных сейчас можно было сосчитать по пальцам, и они соблюдали строгую конспирацию.

Однажды к нему на улицу Сен-Жак пришла познакомиться молодая русская дама. Представилась как Марина Никаноровна Полонская. Сказала, что выехала из России с поручениями Исполнительного комитета «Народной воли». Оказалась неразговорчива, выговаривала вместо «л» «в», ее лицо было мертвенно-бледным, серые, умные и вместе с тем как бы томные глаза смотрели холодно. Великолепная светлая коса была уложена вокруг головы.

Лавров ее определенно не заинтересовал, для нее, как видно, был он человеком слишком рассудочным, слишком книжным. Создалось впечатление, что нет у нее никакого интереса к теориям и лишь конкретные действия могут ее увлечь.

Потом он узнал, что ее настоящее имя — Мария Николаевна. В девичестве ее фамилия была Оловеникова, по первому мужу — Ошанина, по второму — даже трудно сказать, как. Вторым ее мужем был Александр Бараппиков, ныне бессрочно заключенный в каземат Петропавловской крепости, венчались же они под фамилией Копшурниковых. Вскоре они разошлись, хотя формально не разводились, теперь она стала, по фиктивному паспорту, Полонской. В Париже сняла квартиру на улице Флаттерс. А недавно женевское «Вольное слово» напечатало письмо Бараппикова из тюрьмы друзьям: «...Живите и торжествуйте, мы торжествуем и умираем».

Эта женщина поражала Лаврова своей уравновешенностью, твердостью. О бывшем муже он ее из деликатности не расспрашивал, сама же она не рассказывала ничего. И если уж она представилась Мариной Никаноровной Полонской, значит, он будет так ее называть.

Другим недавно прибывшим из России революционе-



ром был Владимир Дебогорий-Мокриевич. Он признавался Лаврову, что вера в скорую революцию пошатнулась в нем за последний год, настроение у него было подавленное. Конспирацию он тщательно соблюдал и, выходя из ворот дома на улице Сен-Жак, оглядывался направо и налево, а затем следил, чтобы никакой подозрительный человек не увязался за ним на улице. Дебогорий был хром и очень заметен в толпе из-за своей хромоты.

В начале августа он зашел к Лаврову проститься. Сказал, что решил покинуть Францию, где ему нечего делать, и уже взял билет на поезд до Марселя. В Марселе он намерен сесть на пароход до Константинополя, а там, может быть, проберется в Россию...

Прошло дня три после того, как простились, и Лавров полагал, что Дебогорий уже далеко от Парижа, как неожиданно тот снова появился утром у него на улице Сен-Жак. И передал волнующую новость.

Оказалось, в последний момент перед отъездом он получил телеграмму из Женевы: Драгоманов предлагал встретиться «по очень важному делу». У Дебогория был уже в кармане билет на марсельский поезд, поэтому он ответной телеграммой предложил Драгоманову встретиться на полдороге — в Лионе. Драгоманов прибыл в Лион, они встретились на перроне вокзала, и то, что узнал Дебогорий, показалось ему столь важным, что он отложил свой отъезд в Марсель и они вдвоем поехали в Женеву, где Драгоманов представил ему приезжего из Петербурга — полного светловолосого господина в золотых очках. Незнакомец отрекомендовался как доктор Эдуард Ипполитович Нивинский и заявил, что состоит членом тайной организации «Добровольная охрана», созданной для охраны жизни государя. Он сказал, что уполномочен отыскать за границей представителей Исполнительного комитета «Народной воли» и попытаться войти с ними в соглашение. Дебогорий развел руками, ответил,

что сам он никак не может говорить от имени Исполнительного комитета, и предложил Нивинскому отправиться в Париж. Они сразу же выехали из Женевы, и сейчас Нивинский здесь, остановился в отеле Ришмон. Вступить с ним в переговоры, думается, могли бы двое: Полонская, как единственный член Исполнительного комитета, находящийся ныне за границей, и Лавров, как признанный авторитет в революционной среде.

Да, дело серьезное. Значит, революционеры добились того, что придворным кругам приходится с ними считаться. И вот предлагаются переговоры! Уклониться от них? Нет, надо использовать каждый шанс.

Лавров тут же собрался и вдвоем с Дебогорием отправился на улицу Флаттерс к Марине Никаноровне. Ей Дебогорий также изложил сущность дела. Договорились собраться через час на квартире Лаврова, и Дебогорий поехал за Нивинским в отель.

И вот встретились у Лаврова все четверо. Поздоровались не без некоторой торжественности, уселись, и Нивинский стал излагать все по порядку.

Он сказал, что в правительственных и придворных кругах существует два течения: либеральное и реакционное. Под страхом угрозы со стороны «Народной воли» царь легко может склониться на сторону реакционеров. Чтобы уменьшить их шансы на успех, либералы, вошедшие в «Добровольную охрану», решили начать переговоры с Исполнительным комитетом и убедить его отказаться от покушений на жизнь Александра Третьего. Если царь не будет опасаться покушений на его жизнь, он скорее может склониться на сторону либералов, скорее согласится провести реформы, ввести конституцию. Нивинский выразил уверенность, что конституции в России желают все, в том числе социалисты.

— Свобода, к которой стремятся социалисты-революционеры, — сурово заметил Лавров, — ничего общего не

имеет с конституцией, которая нужна буржуазии. Истинная свобода не может быть достигнута до тех пор, пока не будет уничтожена всякая экономическая эксплуатация.

Марина Никаноровна смотрела невозмутимо и холодно и не произнесла ни одного слова. У Нивинского явно не было желания дискутировать о смысле слова «свобода», и он продолжал:

— Мое положение, господа, выгоднее вашего. Я знаю, кто вы все. Но я для вас неизвестная величина, и, следовательно, ко всему тому, что я здесь говорю и предлагаю, вы имеете основание относиться с недоверием. Чтобы вы могли увериться в том, что наша организация представляет собой действительную силу, я предлагаю такое доказательство: «Добровольная охрана» готова легализовать любого предложенного вами эмигранта — дать ему возможность вернуться в Россию. Возможность эту даст кому хотите, за исключением Кропоткина и Гартмана.

Эти двое, значит, казались петербургским придворным кругам опаснее остальных.

От предложения Нивинского у Лаврова дух перехватило, и он, стараясь выглядеть спокойным, высказал пожелание, чтобы «Добровольная охрана» посодействовала освобождению из ссылки Германа Александровича Лопатина. Нивинский спросил, по решению какого суда Лопатин был сослан. Что — вообще не было суда? Тогда это пустяки. Его освободят. Члены «Добровольной охраны» при помощи своих связей это легко устроят.

Договорились встретиться на днях еще раз. Марина Никаноровна и Лавров должны были обсудить между собой предложения, услышанные сегодня.

Собственно, решающий голос имела при этом обсуждении Марина Никаноровна. Ведь не Лавров, а она представляла здесь Исполнительный комитет. И условия, выдвинутые ими в ответ на предложения «Добровольной

охраны», были, конечно, в первую очередь ее условиями.

Итак, «Добровольная охрана» должна добиться освобождения Чернышевского, амнистии Кравчинскому, Засулич и Дебогорию-Мокриевичу. В первые пять месяцев перемирия между правительством и «Народной волей» должно последовать облегчение положения политических заключенных и ссыльных. В последующие пять месяцев должны быть удалены со своих постов наиболее ненавистные личности, такие, как Судейкин и министр внутренних дел Толстой. «Добровольная охрана» должна внести залог в полмиллиона рублей как обеспечение безопасности Полонской, если ее придется командировать в Петербург для переговоров. Сумму в полмиллиона назвала, не моргнув, Марина Никаноровна: нечего стесняться с «охраной», залог не должен быть пустяковым, пусть внесут!

Все это Лавров изложил письменно и передал Нивинскому. Тот прочел и, кажется, был смущен столь серьезными условиями, но заверил, что передаст их руководителям «Добровольной охраны». Сказал, что через две недели приедет в Париж еще раз. Дал свой петербургский адрес.

Через две недели он не приехал и никакого письма не прислал. Но почти следом за ним явился к Лаврову неизвестный господин и представился как Иван Николаевич Некрасов. Он, по его словам, прибыл в Париж по делам одной железной дороги, но одновременно выполняет поручение либеральной Земской лиги. О Земской лиге Лавров слышал впервые — из кого же она состоит? Неизвестный господин дал понять, что он не может этого разглашать. Ему поручено вести переговоры с «Народной волей» о прекращении террора.

Лавров заявил ему, что путь террора Исполнительный комитет выбрал не из мстительности и не из любви к террору, а лишь потому, что пришел к убеждению: только

таким путем можно достигнуть ближайших целей революционной партии. Лично он, Лавров, террора не одобряет и никогда не одобрял.

Условия к Земской лиге он выдвинул почти такие же, какие были предъявлены «Добровольной охране». Поскольку Нивинский из Петербурга не отвечал и вообще как в воду канул, можно было предположить, что условия показались «Добровольной охране» невозможными. Поэтому Лавров их несколько смягчил. Не назвал уже цифру в полмиллиона, а лишь упомянул о крупной сумме необходимого залога. Не определял конкретные сроки. Если же Земская лига в назначенные ею самую сроки не сможет выполнить принятые на себя обязательства, Исполнительный комитет «Народной воли» освобождается от всяких обязательств по отношению к ней.

Назвавший себя Некрасовым приходил трижды, оставил двадцать франков на Красный Крест «Народной воли» и уехал. И также обещал приехать опять.

Он и в самом деле в октябре приехал в Париж, появился у Лаврова. Сказал, что пришел серьезно поговорить о политических делах, а так как для этого нужно не менее двух часов, он просит назначить день и час. Лавров ответил, что о таких делах он готов говорить всегда и всегда имеет на это время. Прикрепил на дверях квартиры записку, что его нет дома, запер дверь и пригласил посетителя в кабинет.

— Нет ли возможности с вами, как главою партии, договориться о прекращении террора? — спросил Некрасов (или, вернее, некто под фамилией Некрасов). — Имеет ли партия достаточную дисциплину? Иначе невозможно было бы с нею договориться. Я слышал от русских в Париже, что все террористы действуют вразброд, кружками, между которыми нет никакого согласия. Наконец, вы мне сами говорили, что не занимаетесь террором и даже лично его не одобряете и что этим заняты

совершенно самостоятельно террористы, находящиеся в России.

— Что касается соблюдения условий,— сказал Лавров,— вы можете полагаться на мое личное обещание. Они мне верят и меня знают, хотя я не глава партии и не член Исполнительного комитета. Я же не могу полагаться на вас, потому что я вас не знаю.

Разговор иссяк. Депутат никому не ведомой Земской лиги ушел. И больше не было о нем ни слуху, ни духу.

А затем Лавров получил долгожданную записку от Нивинского — тот снова оказался в Париже и записку прислал из отеля: «Многоуважаемый Петр Лаврович! Не писал вам и не телеграфировал, потому что *положительно невозможно*. Много, очень много есть нового и крайне интересного. Напишите, когда могу быть у вас. Преданный всей душой Н.»

Нивинский пришел. И разочаровал в высшей степени. Все его новости в итоге свелись к одному: его дипломатические усилия провалились. И хотя с самого начала к этим переговорам Лавров относился с некоторым сомнением, все-таки ужасно было жаль, что из них не вышло ничего.

В последнем письме из городка на склоне Пиренеев Варвара Николаевна жаловалась на собачий холод в ее комнате,— значит, пора было ей возвращаться.

Вместе с ней вернулся в Париж доктор Летурно. Он уделял ей гораздо больше времени и внимания, чем Лавров, и, кажется, становился близким ей человеком. Что ж, так и должно было быть. Но, когда она долго не появлялась на улице Сен-Жак, Лаврову так не хватало ее присутствия... Ведь ему больше не с кем было поговорить по душам. Он так утешался, когда она садилась у его камина и бледное лицо ее розовело у огня... Но теперь она как будто от него отдалялась.

И вообще нечему было порадоваться. Радужные надежды на переговоры с «Добровольной охраной» оказались иллюзией, мыльным пузырем.

Марина Никаноровна привела к Лаврову прибывшего в Париж Льва Александровича Тихомирова, единственного уцелевшего, помимо нее самой, члена Исполнительного комитета «Народной воли». Из соображений конспирации надо было его называть Василием Игнатьевичем Долинским.

Познакомились. Это был худой, ниже среднего роста человек лет тридцати, с редкой рыжеватой растительностью на плоском лице. Волосы его были жидкими и словно бы полинялыми. Внешне он чем-то походил на Достоевского, только вот глаза глядели тускло и то и дело подергивались: он страдал нистагмом. И, признаться, как-то не располагал к себе.

Лавров уже прежде читал пропагандные брошюры для народа, написанные Тихомировым, и признавал за ним некоторые литературные способности. Марина Никаноровна была убеждена, что Лавров и Тихомиров смогут вдвоем, при ее посильном участии, издавать новый революционный журнал. Журнал под названием «Вестник Народной воли». Пора наконец привести в исполнение план издания, который никак не удастся осуществить...

Прискорбную новость услышал Лавров в декабре: с Петром Никитичем Ткачевым на улице в Париже случился припадок умопомешательства и его отвезли в Приют святой Анны, то есть в сумасшедший дом.

И тут вспомнилось: еще несколько лет назад с великим нетерпением ждал Ткачев русскую революцию... Но революция не началась, а согласиться с предположением, что придется ждать ее не один десяток лет, было выше его сил. Удачное покушение на царя 1 марта прошлого года окрылило Ткачева, но ненадолго. Ничего не измени-

лось в России... Он запил, тогда от него ушла жена. Сошелся с какой-то миловидной и недалекой француженкой, ради заработка вынужден был стать секретарем у некоего русского господина, посылавшего корреспонденции в петербургскую газету «Голос». Ткачева часто встречали в русской библиотеке на улице Бертоле, а еще чаще в одном дешевом кафе на бульваре Сеп-Мишель: он страшно изменился, ходил в обтрепанном костюме, в засаленной шляпе, лицо стало одутловатым от пьянства, нервы у него сдали вконец.

И вот такая страшная развязка.

А два года назад сошел с ума Сергей Андреевич Подолипский — по причинам иным, но тоже драматическим... К тому времени Лаврову было известно, что Подолипский женился в Полтавской губернии, снова приехал во Францию и занялся медицинской практикой в Монпелье. Здесь он пережил личную трагедию: умерла его маленькая дочь, причем он сам ее лечил, а после ее смерти понял, что лечил неправильно.

Газеты подняли шум: в Лионе французские анархисты взорвали два динамитных патрона — неизвестно зачем. Взрывы эти казались отзвуком недовольства лионских ткачей, угнетенных своим бедственным положением. Полиция принялась хватать известных ей анархистов по всей стране.

Лавров с беспокойством просматривал утренние газеты: со дня на день можно было ожидать известия об аресте Петра Кропоткина, — он жил теперь на берегу Женевского озера, во французском городке Топон.

Когда его арестовали, не было никакой возможности заступиться за него на страницах французских газет: ни одна из них не сочувствовала анархистам. Лавров понимал, что за Кропоткина не станут вступаться и социалисты из дружественной редакции «Justice». Защитой

Кропоткину могут послужить только его собственные выступления на суде.

О судебном процессе в Лионе Лавров узнавал из газет в январе 1883 года. Кропоткин держался великолепно — не склонил головы!

Вот что можно было прочесть в судебном протоколе:

Председатель суда: Вы принадлежите к составу редакции издающегося в Женеве «*Révolté*»?

Кропоткин: Я не считаю себя обязанным отвечать на вопросы о том, что я делал в Женеве. Это не подсудно французскому суду.

Председатель: Если я задал вам этот вопрос, то лишь потому, что «*Révolté*» проникал во Францию и его влияние в нашей стране было вредным.

Кропоткин: Это ваше личное мнение, господин председатель. Я вам скажу, что я другого мнения. Во всяком случае, французское правительство разрешило продажу этой газеты, и вам следует обратиться с упреками к нему.

Председатель: Вы принимали участие как делегат швейцарской газеты на лондонском съезде?

Кропоткин: Делегат швейцарской газеты на лондонском съезде неподсуден французскому суду.

Председатель: На этом съезде вы проповедовали насилие и убийства?

Кропоткин: Я никогда не произносил этих слов.

Председатель: Вы изгнаны из Женевы за участие в съезде?

Кропоткин: Федеральный совет изгнал меня по требованию русского правительства за мой протест против повешения пяти моих соотечественников.

Кропоткина особенно возмутили слова прокурора о том, что он будто бы свое отечество отвергает.

— Не верьте этому,— заявил Кропоткин в заключительном слове,— мое сердце бьется в унисон с сердцами русских патриотов, оно бьется при звуках каждой рус-

ской песни, которую слышу, и она отзывается во мне сладостным эхом, напоминая мою любимую родину. Я люблю также Францию...

Лионский суд приговорил четверых подсудимых, в том числе Кропоткина, к пяти годам тюрьмы.

Условия в лионской тюрьме оказались ужасными, и жена Кропоткина прислала письмо Лаврову — горячо просила похлопотать через Клемансо о переводе ее мужа в парижскую тюрьму. Лавров ее просьбу безотлагательно исполнил. Клемансо обещал содействие, было направлено письмо министру внутренних дел с просьбой о переводе Кропоткина в парижскую тюрьму Сент-Пелажи. Министрство отказало. Но в марте Кропоткина перевезли в тюремном вагоне из Лиона в центральную французскую тюрьму в городке Клерво.

Еще можно было надеяться, что суровый приговор лионского суда будет смягчен. Надеяться на то, что царское правительство в ближайшие годы сочтет возможным смягчить участь осужденных революционеров, уже не приходилось. Газета «Вольное слово» сообщила 8 января: «По сведениям из Петербурга «Добровольная охрана» официально распущена...» Распущена! Больше не с кем было вести переговоры... Ну, а Земской лиги, должно быть, вовсе не существовало, и тот, кто рекомендовался ее представителем, был на самом деле еще одним агентом — то ли «Священной дружины», то ли департамента полиции...

«Священная дружина», по слухам из Петербурга, также внезапно перестала существовать.

О смерти Карла Маркса 14 марта, в Лондоне, после долгой болезни, Лавров узнал на другой день из утренних газет.

В Париже тогда жил, по соседству с ним, зять Маркса, французский социалист Поль Лафарг, и Лавров

немедленно направился к нему. Тот как раз собирался в Лондон на похороны. И ему, и особенно его жене, дочери Маркса Лауре, Лавров выразил свое глубокое сочувствие, тут же написал краткий текст надгробной речи, попросил прочесть ее на похоронах.

Лафарг уехал. В тот же день Лавров получил письмо от младшей из трех дочерей Маркса Элеоноры — той, которую близкие чаще всего называли ласковым именем Тусси.

«Дорогой г-н Лавров! — писала она. — Все кончено. Мой отец умер вчера в 3 часа пополудни. Он заснул в своем кресле... Мы не знали, когда он умер — казалось, что он еще спит... И вот я одна на свете. Я хорошо знаю, что могу рассчитывать на Ваши дружеские чувства».

«Благодарю Вас за то, что Вы вспомнили обо мне в Вашем великом горе, — ответил он. — Да, Вы правы, совершенно правы, рассчитывая на мое сочувствие, потому что, независимо от моей дружбы к Вашему отцу, этой выдающейся личности, и к Вам, я по опыту знаю, что значит быть одиноким в толпе более или менее приятных знакомых, в сутолоке повседневной работы и борьбы, которые занимают Ваши мысли, утомляют Ваши нервы, но все-таки не заполняют пустоты в личной жизни. Работаешь, исполняешь свой долг, но место рядом с Вами не занято, все, что делало работу приятной и долг легким..., всего этого нет и не будет».

Но даже в самые, казалось бы, беспросветные дни бывают в жизни радостные неожиданности. В том же месяце прибыл в Париж после побега из ссылки, из Вологды, Герман Лопатин. Лавров глазам своим не поверил, когда открыл дверь квартиры и увидел перед собой такое знакомое лицо, такой знакомый, с веселой искоркой, взгляд. Расцеловались, Петр Лаврович даже прослезился и, конечно, по такому случаю согласился пойти в ближайший кабачок распить бутылку вина.

Лопатин прибыл один, но надеялся, что жена и сын скоро смогут соединиться с ним в Париже.

Он остановился, разумеется, на квартире у Петра Лавровича и несколько дней подряд, часами, до глубокой ночи, рассказывал о минувших четырех годах. В его рассказах Лаврову было интересно решительно все. Как там ныне в России? Как живет народ? Ожидаются ли какие-то перемены? Рушатся ли представления о незыблемости самодержавия?

Но порадовать благими вестями Лопатин, увы, не мог. Если в столицах можно уловить новые веяния, то в провинции, в глуши — все по-прежнему. Перемен никаких, и вряд ли царское правительство добровольно согласится отпустить вожжи.

Ну, а как там в Вологде? Лавров помнил, какой она была тринадцать и более лет назад. Воспоминание не было тяжким, напротив, так светло вспоминалось: Архангельская улица, запахи снега, хвои, березовых дров, тайные ночные встречи с Анной... Вологда! Город, назначенный ему некогда местом ссылки, в памяти становился родным...

Но так же, как и он в свое время, Лопатин оставил Вологду без сожаления. Там он прозябал в бездействии и тоске, а ведь он так же деятелен и порывист, как и в прежние годы. Хотя ему уже тридцать восемь и первые седые волосы можно заметить в его аккуратно подстриженной бороде.

Лавров написал 26 марта Энгельсу: «В тот самый день, когда Маркс умер в Лондоне, Лопатин переходил еще раз границу России. Теперь он здесь, но еще не устроился с квартирой. Его глубоко потрясло известие, которое я сообщил ему тотчас по его приезде».

Энгельс отвечал: «Известие о том, что паш смелый, до безумия смелый Лопатин благополучно вернулся на волю, явилось для всех нас приятной неожиданностью».

Будем надеяться, что, сохранив смелость, он оставил безумие в России».

Лопатин держался в стороне от «Народной воли», и народовольцы не предлагали ему войти в редакцию будущего журнала. Однажды в разговоре с ним Лавров удрученно признал: трудно объединить русских революционеров вокруг нового издания. Вот Кравчинский поначалу соглашался быть одним из редакторов, потом отказался. Так хотелось привлечь Плеханова, но тот с самого начала сомневался, сможет ли сотрудничать с народовольцами. Потребовал исключить упоминание «Народной воли» в названии журнала, Тихомиров и Полонская на это не согласны. Теперь Плеханов прислал письмо — вот оно — в нем окончательный отказ.

Остается Тихомиров. Остается Марина Никаноровна — она, кажется, идейные разногласия считает вообще чем-то несущественным, это другая крайность... И остается он, Лавров.

— Я считаю своим долгом помогать той партии действия, что в данный момент — налицо, хотя бы я далеко не во всем соглашался с ней, — сказал он Лопатину.

Партия революционного действия в России пока что одна — «Народная воля». В террор, как способ достижения цели, он, Лавров, не верит, но цель у него с народовольцами — общая, идеал — общий...

— Я всегда был и буду с теми, которые действуют, борются, а не с теми, что сидят у моря и ждут погоды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В православной церкви на улице Дарю на десять часов утра 7 сентября было назначено отпевание. Гроб из красного дерева стоял на катафалке, покрытом черным бархатным покрывалом с белым крестом. Горели свечи.

Лавров, Лопатин, Тихомиров, их друзья и сподвижники — все пришли в назначенное время, тихо внесли и положили у гроба большой венок с лентой и надписью по-русски и по-французски: «Ивану Тургеневу русские эмигранты в Париже». Лавров поклонился, мысленно прощаясь с Иваном Сергеевичем, и вышел, остановился на паперти.

Смерть Тургенева неожиданностью не была. Летом Лавров трижды навещал его, тяжело больного, в Буживале. Тургенев не поднимался с постели, лицо его стало темно-желтым, что особенно было заметным при снежной белизне бороды и волос. Его страдающие глаза не позволяли задавать ему вопрос о задуманном романе: было ясно, что ничего больше написать он не сможет. Он скончался 3 сентября...

Церковь заполнялась людьми. Открыли обе половины входной двери, пришедшие толпились на паперти, в церковной ограде и даже на улице. К Лаврову подошел доктор Белоголовый, тронул за локоть, сказал со вздохом, что Иван Сергеевич, можно сказать, отмучился. Доктор вспомнил, как навещал больного в Буживале: Тургенев жестоко страдал от боли, а уколы морфия, облегчающие страдания, приводили его в полубессознательное состояние...

К одиннадцати часам в церковь прибыл русский посол в Париже князь Орлов и с ним — чиновники посольства. Они, конечно, заметили «нигилистический» венок, но сделали вид, что не замечают. Незнакомая дама рассказывала вполголоса, что еще в апреле Орлов навещал больного Тургенева, тот лежал в постели, взглянул на вошедшего безумными глазами, протянул руки и проговорил с дрожью в голосе: «Ваше сиятельство, пощадите, зачем, зачем вы на меня кандалы надели, велите их снять, зачем вы меня мучаете, зачем вы меня пытать хотите, меня, Тургенева...»

Значит, он чувствовал себя словно бы в кандалах! Воистину — отмучился. Ненавидел он самодержавие и страшился раскрыться перед ним. Но теперь уже ничто ему больше не грозит, и пускай царские чиновники вместе со всеми прочтут сегодня в газете «Justice» откровенные слова о том, на чьей стороне был великий писатель. Вот что написал в газетной статье Лавров: «...По смерти г. Тургенева я не только не нахожу нужным скрывать, но даже долгом считаю предать гласности факт, о коем до сего времени знали лишь я и немногие лица. Когда в 1874 году я перенес редакцию революционного русского органа *Вперед!* из Цюриха в Лондон, Тургенев по собственной инициативе предложил мне содействовать изданию этого органа; затем, в течение последующих трех лет, т. е. за все время моего редакторства, он ежегодно вносил в кассу издания по 500 франков». Пусть знают все!

Наступил момент прощания. Проходя возле гроба, все, кто был на панихиде, и в том числе князь Орлов, склонялись волей-неволей и перед «нигилистическим» венком. Затем гроб вынесли из церкви и опустили в подвальный этаж, в склеп, где предстояло ему стоять еще несколько дней, пока не отправят его по железной дороге в Петербург, чтобы предать земле на далекой родине.

Минувшим летом, в июне 1888 года, Лаврову исполнилось шестьдесят лет. Об этом в Париже знали немногие: Варвара Николаевна, Лопатин и, может, еще кто-нибудь, но афишировать невеселую дату он не имел никакого желания. Отмечать ее не стал.

Варвара Николаевна вместе с доктором Летурпо уехала отдыхать на остров Джерси, окруженный волнами Ла Манша. Ради Варвары Николаевны Летурно оставил семью и, хотя формально они не стали мужем и женой (надо было понимать, какая трудная проблема — развод), везде неотступно он следовал за ней.

Три месяца Лавров ее не видел, за все это время не получил от нее ни одного письма. Он огорчился, по твердо сказал себе: упрекать ее я не вправе. В конце сентября он неожиданно встретил ее на улице, в дождливый день, под зонтиком — загоревшую, посвежевшую — возле остановки конной железной дороги (в Париже ее называли по-английски — *tramway*). На другой день Варвара Николаевна прислала письмо: «Дорогой Петр Лаврович, дождь и *tramway* так быстро разлучили нас вчера, что я не успела попросить вас прийти завтра разделить нашу скромную трапезу. Только вследствие дипломатических соображений, вам понятных, я вас попрошу не приходить ранее половины седьмого, — теперь, когда у Летурно нет здесь семьи, мне трудно его не оставить обедать в тот день, когда вы обедаете. С другой стороны, вам будет скучно целый вечер быть с нашим французом... Жму руку крепко — пришла бы сама, если бы не дождь».

После смерти Тургенева и еще до возвращения Варвары Николаевны оставил Париж Герман Лопатин, друг ближайший, расставаться с которым Лаврову было так печально...

Лопатин решил уехать сначала — ненадолго — в Англию, затем в Россию. Раньше он не хотел связывать себя с «Народной волей», теперь же, когда ее деятельность, после бесчисленных арестов, почти прекратилась, он решил вступить в ее ряды. Можно было надеяться, что его богатый опыт и трезвый подход к революционному делу поможет партии возродиться.

Ускорило отъезд Лопатина еще одно серьезное обстоятельство: он переживал семейную драму и решил расстаться с женой.

На прощанье Лавров просил его писать письма почаще. Пусть переписка хоть в какой-то степени заменит их встречи и разговоры, почти ежедневные в последнее время.

Пусть дорогой Герман Александрович не забывает, что в Париже у него остался верный старый друг.

Лопатин выехал 17 сентября поездом в Булонь. Его первое письмо пришло очень скоро с лондонским штемпелем на конверте. Лопатин рассказывал о начале путешествия, рассказывал с обычным юмором. Все же за шутливостью тона угадывалось, что ему тяжело. Он написал, как в Булони пришлось идти ночью, с багажом в руках, добрую версту до парохода. «На пароходе не оказалось ни одной свободной койки, а на палубе ни одной лавки, пришлось провести всю ночь на ногах. Луна светила во всю мочь, но это мало утешало...» Утром 18-го сгустился туман, из-за тумана дважды становились на якорь у берегов Англии. «Пассажиры начали поговаривать, что между ними наверно есть какой-то несчастливцев, и желали утопить его,— невесело шутил Лопатин,— но я не сознался, что я родился и женился 18-го числа...»

Он обещал писать также Марине Никаноровне, и она показала Лаврову письмо Лопатина к ней: «20 сентября, четверг; непроглядный туман, сырость, мрак и прочие прелести Лондона; при этом кашель, насморк, тоска, беспокойство, душевный мрак и прочие прелести душевной непогоды». Главное — в Лондоне Лопатин первым делом пошел к Энгельсу — хотел узнать, что думает он и что в конце своей жизни думал Маркс о перспективах революционного движения в России. «Он тоже считает (как и Маркс, как и я), — рассказывал в письме Лопатин, — что задача *революционной партии или партии действия* в России в данную минуту... в направлении всех сил к тому, чтобы 1) или принудить государя созвать Земский собор, 2) или же путем устрашения государя и т. п. вызвать такие глубокие беспорядки, которые привели бы иначе к созыву этого Собора или чего-либо подобного. Он верит, как и я, что подобный Собор *неизбежно* приведет к радикальному, не только политическому, но и соци-

альному переустройству... Он верит, что, раз начавшись, это переустройство, или революция, не может быть остановлено никакими силами. Важно поэтому только одно: разбить роковую силу застоя...»

Мнение Энгельса Лавров считал чрезвычайно важным — вот бы опубликовать это письмо в «Вестнике Народной воли»! Но можно ли его напечатать? — об этом он спросил Лопатина в письме и получил ответ: «Не думаю, чтобы беседа с Энгельсом была удобна для печати. Ведь он говорил со мной как с другом, не подозревая во мне interviewer'a. В этом последнем случае он, конечно, смягчил бы многие выражения, а главное постарался бы обставить их аргументами, которые у меня пропущены».

А еще Лопатин никак не мог собраться с духом и написать большое письмо Зине — объяснить окончательно: «За письмо к Зине еще не принимался. Вообще время уходит страшно быстро... Это страшно пугает меня, ибо скоро могут наступить морозы, которые закроют Балтику». И значит, закроют морской путь в Петербург. А в Лондоне сидеть ему было тошно: «Что за туманы! Что за мрак! Что за грязь! Страсти господни!»

Возвращаться в Париж он решительно отказывался: «...я бы легко мог приехать incognito, но я вовсе не желаю играть дурацкой роли человека, прячущегося от своей бывшей жены. К тому же меня потянет увидеть мальчика... Одним словом, *не поеду*».

Он написал затем Лаврову о встрече с дочерью Маркса — Тусси: «Я имел несчастье рассказать ей подробно несколько комическую историю с нашим венком. Теперь она не дает мне с ней покою: напиши да напиши ей эту историю для Progress *хоть по-русски* (я имел неосторожность сказать: «если бы по-русски — другое дело!..» Ну, она и поймала меня на слове). Она говорит все, что ужасно любит Вас, и всегда Вам кланяется. Я от Вас

тоже. (Ибо я не *Вы* и не подсиживаю друзей, дожидаясь специальных распоряжений о таких вздорах)».

Ладно уж, впредь надо будет передавать поклон от Лопатина всем знакомым дамам, за исключением Зины...

Лаврову очень хотелось, чтобы все, что он сообщил о Тургеневе в газете «Justice», Лопатин печатно подтвердил на страницах одной из лондонских газет.

«Вчера, устыдившись Ваших увещаний,— отвечал Лопатин 10 октября,— я схватил перо и здесь же, в Британском музее (он писал в читальном зале) наваял письмо о Тургеневе, которое тут же принялся перевозить на английский берег... Оттащил мое детище к Тусси, но не застал ее дома. Сегодня она наотрез объявила мне, что *ни одна* английская газета не примет моей рапсодии, что это не письмо, а статья и пр. Говорю: «Что делать! Я не умею писать иначе. Сейчас же отошлю мое чадо Л-ву, чтобы он видел, что не леность помешала мне выполнить это дело». Говорит: «Напишите маленькое фактическое письмо только о самом главном». Ответствую: «И Л. советовал мне то же. Но я не умею сокращать и отказываюсь от этого». — «Хотите я сокращу вам, а вы перепишите с теми изменениями, которые сочтете нужными?» ...Она проворно начертала две странички, а я переписал их, как школьник поздравительное письмо к родителям... Очень настаивала она на том, чтобы я писал всюду *my old friend Turgeneff*; иначе, говорит, не пройдет; и я еле-еле мог умолить ее ограничиться однократным употреблением более неопределенного иностранного термина *my friend*. — Понятно, что Лопатину было неловко писать о Тургеневе «*my old friend*» или «*my friend*» — «мой старый друг» или «мой друг», — но, пожалуй, он имел на это право. Теперь оставалось ждать, когда письмо Лопатина в газету будет напечатано.

Письмо к Лаврову, начатое 10 октября, Лопатин продолжал 11-го: «Вот уже несколько дней, как у нас стоит

египетская тьма. Мой вчерашний утренний визит к Тусси. совершился при свечах. Сегодня, в 10 ч. дня (я встаю поздно), я не мог не только различить правого сапога от левого, но и найти сапогов, и должен был зажечь свечу, чтобы одеться. Еле-еле и спички-то нашел. Конечно, уличные фонари горят, экипажи едут тоже с зажженными фонарями, все лавки освещены, и тем не менее на улице темнее, чем ночью... Сегодня опять нет ничего от Вас. Уж не захворали ли Вы снова? Или, быть может, почтовый пароход, по случаю тумана, никак не может найти Англию?»

Далее следовала приписка: «Сегодня заставил-таки себя написать вторую половину моего письма к Зине. Итак, я окончил эту чертовщину, мучившую меня больше месяца». Теперь ему предстояло получить в Лондоне визу (разумеется, не на подлинную свою фамилию), навести справки о расписании морских рейсов и отправиться по морю в Петербург — через Гетеборг, Стокгольм и Гельсингфорс.

Окончание письма было помечено уже 12-м октября. «Вчера вечером, вернувшись домой, нашел Ваше письмо,— извещал Лопатин.— Очевидно, что все это запаздывание происходит просто от туманов на суше и на море. Ну, и я снимаю эмбарго с моего письма к Вам и направляю его по назначению. Вы упрекаете меня в молчании (!!). Стыдитесь! Я только и делаю, что пишу Вам!»

В конверт он вложил вырезку из газеты «Daily News» со своим письмом о Тургеневе — с подтверждением того, что сообщал в статье о Тургеневе Лавров. «Черт-издатель пропечатал и мой адрес, который я скрывал от публики и друзей», — досадовал Лопатин.

«Черти-англичане не дают мне билета 3 класса, уверяя, что они назначены лишь для матросов», — возмущался он в письме от 17 октября. Денег у него было в обрез...

Двумя днями позже прислал пакет: «Вот письмо мое

к Зине. Посылаю его незаклеенным. Если пожелаете — прочтите: хотя боюсь, что перспектива 44 страниц рукописного текста может испугать Вас. Рассказав Вам так много, я не вижу причины скрыть от Вас и последнего акта этой семейной драмы. Мало того, я даже желал бы, чтобы Вы прочли это письмо. Мне кажется, что я имел и имею нравственное *право* поставить мои будущие отношения к Зине так, как я поставил их тут... Но, прочитав письмо, *заклейте* его перед отдачею». И наконец: «На случай, если бы Вы не прочли письма, сообщаю Вам следующее: 1) я пишу в нем: «*Ответа не жду и не желаю*, а потому просил П. Л. не давать моего адреса решительно *никому*». Так и держитесь...»

Потом он написал уже из Стокгольма 30 октября: «У меня осталось всего 2 фунта с небольшим. Хватит ли этого расплатиться в отеле и добраться до Гельсингфорса, ей-богу не знаю и трушу ужасно». В конце приписка: «Узнал, что первый пароход отходит сегодня ночью».

Можно было не сомневаться, что с этим пароходом Лопатин отплыл в Гельсингфорс...

В первом письме из Петербурга он сообщал: «Устроился я сам, независимо ни от кого и очень хорошо. По-моему, моя берлога много безопаснее многих легальных жилищ, и, в случае грозы, я могу укрыть несчастливца много лучше, чем опи. Отлично вижу, что за мною не наблюдают». Но больше ничего обнадеживающего он сообщить не мог: «Нынче царствует весьма зловредная система. Никого не берут сбацу, а наблюдают за квартирою целые месяцы и берут человека лишь тогда, когда известен *весь* круг его посетителей и знакомых... Общее настроение тоскливое и апатичное. Все бездельники и трусы ругают, как всегда, партию: зачем она бездействует».

Одно обнадеживающее известие Лавров прочел на страницах «Daily News»: Чернышевского наконец-то возвратили из вилюйской ссылки в Европейскую Россию.

Но не в Петербург, а в провинциальную глушь — в Астрахань. Под надзор полиции, само собой...

Из Женевы Лаврову прислали 1-й номер «Вестника Народной воли», наконец отпечатанный в народовольческой типографии. В этом номере появилась его статья «Задачи социализма» — за основу статьи взял он свою прошлогоднюю речь в память Парижской Коммуны.

Печататься в Петербурге и в Москве, даже под псевдонимом или вообще без подписи, ныне становилось еще труднее, чем прежде. И неудивительно. Лопатин сообщал: товарищ министра внутренних дел Плеве и начальник Главного управления по делам печати вызывали нынешнего редактора журнала «Дело» писателя Станюковича, и ему было прямо сказано: они «прижимают его журнал за то, что он стал «эмигрантский», но особенно напирали на Вас. Он дал честное слово, что Вы не печатались там более года».

Что же — совсем не посылать теперь статей в Петербург и Москву? Но ведь это означало бы остаться без средств к существованию...

А еще приходила к нему Зина, взвинченная, с красными глазами, принесла свое письмо для бывшего мужа, просила отослать при первой возможности. Как же быть — отсылать или не отсылать?

Лопатин писал чуть ли не с раздражением: «Почему письмо Зины стесняет Вас? Почему Вы не скажете ей прямо, что, узнав о нем, я просил Вас побережь его, но не высылать мне? Ведь Вы же не обязаны и даже не вправе подносить старому другу такие вещи, которые просто убийственны для него в данное время?»

В письме из Петербурга, помеченном 16 декабря по старому стилю, Лопатин сообщил чрезвычайно важную новость: убит Судейкин, начальник департамента полиции. «Удобства были невероятные, но дело сделано

грязно, — досадовал Лопатин, — благодаря тому, что главное лицо и один из помощников бежали слишком поспешно, бросив настежь двери».

Кто ж это главное лицо? Марина Никаноровна сказала, что это, очевидно, народоволец Сергей Дегаев. Этот молодой человек дважды в минувшем году приезжал в Париж для совещаний с Тихомировым и с ней. Он тогда взялся убить Судейкина и теперь, значит, привел в исполнение вынесенный этой полицейской ищейке приговор.

Прошло всего несколько дней — и Дегаев оказался в Париже. Тихомиров привел его к Лаврову на улицу Сен-Жак и попросил: нельзя ли беглецу остановиться на его квартире? Совсем ненадолго! Дегаев уезжает в Лондон, куда он заблаговременно, еще осенью, отправил из России свою жену.

Лавров принял Дегаева радушно, при первой встрече расцеловался с ним, и гость несколько ночей спал на диване в его кабинете. Невысокого роста, узкоплечий, бледный, с потухшими глазами, он производил впечатление человека загнанного, выбитого из колеи. Но, вероятно, нелегко сохранить душевное равновесие после того, как ты убил человека — хотя бы и начальника департамента полиции...

Лишь по отъезде Дегаева из Парижа Тихомиров и Марина Никаноровна рассказали Лаврову, что это предатель.

Оказывается, год назад, когда сидел Дегаев в одесской тюрьме, Судейкин на допросах убеждал его, что не кому-нибудь, а именно им двоим надо соединиться для великих дел ради великих преобразований в государстве российском, не завися при этом ни от правительства, ни от революционеров. Дегаев поверил! Больше того, он, по словам Тихомирова, «воспарил духом до какой-то восторженности». Он выдал Судейкину всех, кого знал. Судей-

кин устроил ему «побег» из тюрьмы, Дегаев стал его агентом. Наконец он все же понял, что обманут и стал жалкой пешкой в полицейской игре. Он приехал в Женеву, где в это время находился Тихомиров, и ему покаяться. Тихомиров сказал в ответ, что Дегаев теперь должен Судейкина убить. «А пока,— добавил Тихомиров,— я буду молчать, чтобы не помешать вам совершить свое искупление». Но если не искупит он таким путем свою тяжкую вину, то его предательство будет разоблачено в газетах... Дегаев согласился, но долго откладывал этот шаг. Должно быть, трусил. И вот наконец, с помощью двух народовольцев, подготовил расправу над Судейкиным у себя на квартире (все-таки убил его на своими руками) — и немедленно бежал.

Лавров был глубоко возмущен тем, что всего этого ему не рассказали раньше. Мало того, что от него скрывали эту темную историю, но Тихомиров еще позволил себе привести Дегаева почевать к нему, Лаврову, а он, ничего не зная, расцеловался с предателем.

Да он бы этому человеку и руки не подал, если бы знал!

Дегаевскую историю он узнал во всех подробностях, когда в январе 1884 года приехал из Петербурга Лопатин.

Оказалось, и Лопатин о роли Дегаева узнал не от Тихомирова и не от Марины Никаноровны. Осенью в письме из Лондона он сообщил ей, что едет в Петербург и готов взять на себя серьезные поручения Исполнительного комитета. Она ответила уклончиво. Написала, что в Петербурге теперь действовать чрезвычайно опасно и что им, то есть ей и Тихомирову, жаль рисковать таким выдающимся человеком, как Лопатин, но скоро опасность должна миновать, и вот тогда к нему обратятся... Он насмешливо отвечал ей, что ему неизвестны неопасные дела такого рода, а в наступление момента, неожиданно унич-

тожающего опасность, он не верит. В Петербурге он самостоятельно разыскал уцелевших народовольцев, быстро наткнулся на Дегаева. Двудличие этого человека заподозрил очень скоро. Однажды вечером, за чаем в трактире, он, можно сказать, припер Дегаева к стене. Тот вынужден был сознаться, что Судейкин его опутал и что созданный им, Дегаевым, новый Исполнительный комитет «Народной воли» весь известен Судейкину и существует с его соизволения, что, впрочем, неизвестно никому из членов этого комитета, за исключением самого Дегаева.

Этот злосчастный петербургский комитет Лопатин прозвал «соломенным». Один из его членов, Василий Караулов, прибыл в Париж еще в начале зимы, но только теперь узнал, какую ловушку подстраивал ему и его товарищам Дегаев.

В Париже Лопатин, Тихомиров и Караулов устроили над предателем заочный суд. Даже не суд, а, можно сказать, трибунал. Они постановили навсегда изгнать Дегаева из партии, как недостойного состоять в ее рядах, и, больше того, навсегда изгнать из отечества. Этот приговор был ему сообщен.

Всем становилось ясно: Дегаев не только выдал товарищей Судейкину, но и раскрыл перед ним нынешнюю трагическую слабость «Народной воли». Вот почему «Священная дружина» и «Добровольная охрана» распущены. Ненужными для царского правительства оказались и тайные переговоры с народовольцами, и самое существование «дружины» и «охраны». Зачем вести переговоры с этой горсточкой революционеров, когда ее можно теперь попросту уничтожить?

Но, сыграв на крайнем честолюбии Дегаева, Судейкин напрасно надеялся на то, что обманутый честолюбец смирится с уготованной ему незавидной ролью полицейского агента.

Марине Никаноровне казалось даже, что Дегаев стра-

дал манией величия. Теперь она всноминала, что он не просто рассказывал Тихомирову и ей о своих переговорах с Судейкиным, но, казалось, ждал восхищения его решимостью, выдержанностью, умением носить маску... А ведь убийство Судейкина могло не совершиться, если бы Лопатин в Петербурге не стоял у Дегаева над душой и не заставил его ускорить финал.

Лопатин однажды пришел к Лаврову и сообщил строго конфиденциально, что решено созвать в Париже съезд народовольцев. Съедутся немногие оставшиеся на свободе — те, на кого можно рассчитывать как на активную силу партии. К участию в съезде приглашают, конечно, и Петра Лавровича — как одного из редакторов «Вестника Народной воли». Съезд будет проходить в строгой тайне. О нем не должны узнать шпионы, нанятые в Париже петербургским департаментом полиции. За ними уже специально наблюдает Василий Караулов, расхаживая по улицам левого берега Сены — все русские революционные эмигранты живут здесь, друг от друга поблизости, и шпионам это прекрасно известно.

Кстати, уверен ли Петр Лаврович, что нет шпионов среди его посетителей? Лопатин заходил к нему почти каждый день и постоянно сталкивался с незнакомыми и не внушающими доверия людьми. Однажды, когда они остались вдвоем, Лопатин сказал недовольно:

— Охота вам, Петр Лаврович, пускать к себе всякую дрянь.

Лавров твердо ответил, что не хочет закрывать свою дверь для посторонних. Он готов выслушивать всех, кто к нему обращается, чтобы знать суждения как можно более широкого круга людей, не только единомышленников. Для посторонних — и это знает консьерж — у него отведено предобеденное время, от двух до четырех.

— От двух до четырех ко мне может прийти всякий, даже шпион, и я приму его, — сказал он Лопатину.

Он помнил историю с Балашевичем, она его научила быть осторожным...

На съезд собрались в феврале. Приступили к совещаниям, когда из России прибыл последний из ожидавшихся — Василий Сухомлин. Это был серьезный молодой человек, высокий и тонконогий, чем, видимо, объяснялось приставшее к нему прозвище Комар.

Совещания проводились на квартире Марины Никаноровны на улице Флаттерс в дневное время, так как в Париже было принято ложиться спать не позднее десяти вечера и консьерж этого дома смотрел на поздние собрания косо: как и все парижане, он считал, что для собраний существуют отдельные залы и кафе. Так что расходились участники совещаний еще до сумерек — по одному, по двое. Улица Флаттерс, короткая и кривая, в виде буквы Г, выходила одним концом на бульвар Пор Рояль, другим — на улицу Бертоле. Расходились в разные стороны.

Поздних собраний Лавров и не любил. Тяготился ими потому, что к его крайней близорукости в последние годы добавилась куриная слепота — он почти ничего не видел в темноте и в ночное время не мог ходить по улицам без провожатого. По субботам у Марины Никаноровны устраивались редакционные собрания «Вестника» и, если собрание затягивалось до темноты, кому-нибудь приходилось провожать Петра Лавровича домой. Хорошо еще, что жил он близко.

На совещаниях съезда народовольцев он убеждался, что молодые делегаты из России вовсе не склонны признавать Тихомирова и Полонскую своими руководителями. Их авторитет оказался сильно подорван. Лавров сразу увидел: не только он один возмущен тем, что от него долго скрывали истинную роль Дегаева. Петербургские народовольцы обвинили Тихомирова и Полонскую в том же. Обоим пришлось оправдываться...

Съезд постановил, что Исполнительный комитет должен находиться в России,— совершенно справедливо! Лавров это решение со всей убежденностью поддержал. Далее решили, что за границей останется «делегация Исполнительного комитета» то есть Тихомиров и Полонская. Взамен «соломенного» комитета избрали Центральную группу во главе с Распорядительной комиссией. В Распорядительную комиссию вошли трое: Лопатин, Сухомлин и Неонила Салова, молодая энергичная женщина. На собраниях она больше молчала, и привычным ее жестом был измах руки, сжатой в кулак.

В марте, в назначенный день отъезда Лопатина, Лавров зашел к нему попрощаться в меблированные комнаты на улице Мешен. Сегодня уезжала в Россию также Неонила Салова. Караулов и Сухомлин уехали раньше.

Герман Александрович нетерпеливо ходил по комнате. С утра он несколько преобразился: выбрил щеки, бороду подстриг веером. Показал свой английский паспорт на имя безвестного Норриса. Что ж, в Петербурге, на улице, он вполне сможет выдавать себя за иностранца: свободно говорит по-французски и по-английски, золотые очки, серая мягкая шляпа с широкими полями, короткое французское пальто.

Проще всего — добраться до Петербурга. Там ему надо будет решить задачу труднейшую. Ведь он должен попытаться восстановить разбитую партию «Народная воля», преодолеть тяжкое взаимное недоверие, порожденное дегаевщиной. Сейчас Герман Александрович, пожалуй, единственный человек, который может за это взяться. Так хочется верить, что эта задача ему по плечу.

Выехать из Парижа надо по возможности незамеченным. Никто не должен провожать Лопатина на вокзал. Вдвоем они спустились по тихой лестнице, внизу остановились, взглянули друг другу в глаза, крепко обнялись

и сказали вполголоса «до свиданья». Порознь вышли на улицу.

Лопатин укатил на извозчике, а Лавров отправился домой пешком. Надо было пройти всего полтора квартала. Пересек оживленный бульвар Пор Рояль. Пахло весной, и вот-вот должны были зазеленеть каштаны.

Он вернулся к себе. Дома опустился в кресло, с тоской подумал о том, что не был на родине уже четырнадцать лет, но не может, как Лопатин, отправиться нелегально в Россию. Приносить пользу он может только своим пером, и, значит, его место здесь... Протирая платком очки, он сидел в одиночестве, тихо было в квартире и только слышно, как тикают часы.

Из Петербурга пришло известие, что начались правительственные репрессии против журнала «Дело», совпавшие с закрытием «Отечественных записок». «Отечественные записки» были запрещены как журнал, который «не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ». В числе этих последних подразумевался, конечно, и Лавров.

Печататься и зарабатывать своим пером ему становилось нелегко. «Вестник Народной воли» не только не был для своих авторов источником заработка, но мог издаваться лишь при денежных дотациях, а средства поступали из России еще более скудные, чем в свое время для издания журнала и газеты «Вперед!». Это наводило на печальные размышления о недостатке интереса и сочувствия к «Вестнику» в России.

А вместе с тем Лопатин писал из России Тихомирову и Полонской: «...думаю, что пока *журнал* наше единственное спасение (как *фирмы*, рассчитывающей на лучшее будущее), наше самое солидное предприятие, наша важнейшая задача. Если продолжать его неуклонно и

обеспечить ему правильный ввоз, это поддержит нас до лучших времен».

Надо было держаться!

В женеvской типографии был отпечатан 2-й том «Вестника Народной воли». В нем Тихомиров поместил статью «В мире мерзости и запустения (По поводу казни Судейкина)». Статья была, что и говорить, написана с пониманием таких людей, как Судейкин. О нем Тихомиров писал так:

«Истребить революционеров поголовно он не мечтал, слишком хорошо понимая, что они — явление неизбежное. Да едва ли он и пожелал бы истребить их вконец. «А чем же мы будем жить,— говорил Судейкин, смеясь, в минуту откровенности,— нет, я на развод оставляю». Не истреблять революционеров нужно, а только сделать их слабее полиции, т. е., другими словами, сделать для них невозможною организацию сил. Для этого нужно достигнуть того, чтобы честных людей было вообще как можно меньше, а вера в их существование совершенно бы исчезла... Нужно, чтобы мерзавец перестал стыдиться своей мерзости, чтобы честный человек не имел никакой возможности убедить других в своей неподкупности».

Судейкин «поставил себе за правило обращаться с предложением поступить в шпионы — решительно ко всякому». Однако, справедливо замечал Тихомиров, «правственная порча, предательство, подкупность — все это сильные средства только для разрушения. Построить на них ничего нельзя...»

После дегаевской истории приходилось возвращаться к вопросу о нравственном долге революционера. Для 3-го и 4-го томов «Вестника» Лавров подготовил статью «Социальная революция и задачи нравственности». Он писал о том, что деморализация в рядах социалистов вызывается нравственным разложением общества, против которого они борются. Главное препятствие на пути прогресса —

царское самодержавие. «Безнравственная форма государственной власти должна перестать существовать».

В письмах к Тихомирову и Полонской Лопатин перечислял своих конкретных действий — по вполне понятной предосторожности не доверяя бумаге. «Что вы думаете, господа, о моем молчании? Сильно ли ругаете меня? — спрашивал он. — ...Скажу только уже и сейчас в свое оправдание, что *личную* жизнью я здесь не жил, *простых* знакомств (для благородства) не имел, за дамами не ухаживал, *частных* писем никому не писал, книг не читал, да даже и в газеты заглядывал редко; сиднем тоже не сидел, а напротив того — все таскался из края в край, редко ночуя дома больше двух или трех раз в неделю, тратя на разъезды больше, чем на пропитание».

Из Парижа ему почти ничем не могли помочь.

В субботу 25 октября Тихомиров пошел на улицу Флаттерс к Марине Никаноровне, будучи в полном смятении. Он уже знал убийственную новость, напечатанную в «Justice»: в Петербурге арестован Герман Лопатин. Неделю тому назад на Невском проспекте, у Казанского собора, его схватили сыщики.

Пришел к Марине Никаноровне и Лавров. Он был так угнетен известием, что на сегодняшнем редакционном совещании сразу поставил вопрос: как же теперь — стоит ли продолжать издание «Вестника»? Марина Никанорова твердо сказала: стоит, а Тихомиров растерянно ответил, что пока он отказывается этот вопрос обсуждать.

Новости были ужасные. Из Петербурга сообщали в письмах, что Лопатин при аресте не успел уничтожить листки со множеством адресов — по этим адресам идут аресты.

«Крах петербургский, по-видимому, самый отчаянный, — записал в дневнике Тихомиров. — Пишу статью и

спрашиваю себя: зачем? Что делать? Я еще никогда не был в таком настроении, близком к отчаянию».

Ему передали письмо из Петербурга от молодого народовольца, поэта Петра Якубовича. После ареста Лопатина и его друзей Якубович должен был возглавить многих избежавших ареста народовольцев, и Тихомиров, отвечая на его письмо, еще старался вдохновить его на активные действия.

Якубович откликнулся горячо: «Сегодня, 31 окт. (по старому стилю), получил я наконец Ваше письмо, и, право, оно влило в меня новую бодрость и силу, — конечно, не фактами, которые прискорбны, а своей верой в дело и готовностью продолжать его во что бы то ни стало, хотя бы рок сулил нам еще не один раз втаскивать па верх горы камень Сизифа». В конце письма задавал вопрос: «Что скажете о террористическом акте (Толстой)? Он необходим. Люди есть, бомбы изготовить можно. Затрудняет лишь денежный вопрос и как».

Тихомиров дрогнул и не решился ничего советовать молодому поэту-народовольцу. Тем паче не решился рекомендовать покушение на министра внутренних дел Толстого, сослался на свою малую роль в решениях партии. Но Якубович из Петербурга незамедлительно отвечал: «Как бы Вы сами ни старались умалить свое значение для партии, я не могу не глядеть на Вас как на старшего товарища...» Тихомиров должен был почувствовать свою ответственность!

О «Вестнике Народной воли» Якубович писал: «Вестник» погибает не от равнодушия публики, а оттого, что она его не знает. Судите сами: в Петербурге за все время 1-го номера вряд ли было больше 15, вторых — 10, третьих всего 2!.. Это ли не досада?»

Что и говорить! 3-й номер вышел еще в сентябре — и, значит, всего лишь два экземпляра достигли Петербурга за два месяца! Но, может быть, Якубович ошибает-

ся и дошло гораздо больше? И неизвестно, сколько экземпляров было конфисковано при арестах...

А в начале декабря в Париж пришло известие еще об одном аресте в Петербурге: схвачен и посажен в Петропавловскую крепость Якубович. Тихомиров записал в дневнике: «Это уже, кажется, последний удар».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Минувшим летом, в начале августа, Варвара Николаевна уехала отдыхать, как и в прошлом году, на остров Джерси. Доктор Летурно рекомендовал ей лечить нервы морскими купаньями. Когда она прощалась с Лавровым перед отъездом, она выглядела такой утомленной, что у него сжалось сердце.

Через несколько дней он получил ее первое письмо. Сразу же ответил. В Париже перепадали дожди, и он беспокоился, не идут ли дожди также над островом посреди Ла-Манша — возможны ли сейчас морские купанья?

Она ответила, что на Джерси стоят теплые и безоблачные дни. Для нее величайшее удовольствие — во время высокого прилива «прийти с книгой, усесться на высшие ступеньки лесенки, погруженной в воду, точно сидишь в лодке, бросившей якорь, или на крыльце какого-нибудь palazzo в Венеции; я ребенком, будучи там, — вспоминала она, — часто так сиживала, слушая плеск волн у ног моих, и отцовское сердце радовалось, воображая, что из меня выйдет поэт. Вышла публицистка-революционерка. Более тяжелого разочарования трудно себе представить».

Ну, главное, чтобы сама не разочаровалась, не сникла. Нельзя разочаровываться в смысле жизни своей...

Наступил сентябрь. Когда вечерело и приходилось отрываться от работы за письменным столом, чтобы зажечь керосиновую лампу, Лавров подходил к окну, гля-

дел па темнеющий двор, на закатный ответ над крышей напротив и думал: скорей бы вернулась милая Варвара Николаевна...

Когда она вернулась в Париж и пришла, он рад был встрече, наверное, больше, чем она, — его неизменная сдержанность не должна была ее обмануть...

Осенью Варвара Николаевна посещала его нечасто. Все-таки рядом с ней теперь был Летурно. Она писала политические статьи для газет, была постоянно занята и однажды пожаловалась Лаврову: время летит — не успеваешь оглянуться. Добавила с грустной улыбкой: «В Париже живут быстро...»

Услышав об аресте Лопатина, прибежала взволнованная — узнать о происшедшем, и Лавров рассказал ей все, что успел разузнать. Она взялась немедленно написать об этом статью в газету «Justice».

Потом рассказывала о том, как торопит печатание в газете трагических вестей из России, как отстаивает перед редактором Клемансо каждую фразу в своей статье. Он пытается смягчить резкость ее выражений, но она не уступает...

Однажды вечером, в начале декабря, когда за окном лил дождь, Лавров услышал у входной двери звонок. Открыл и увидел Варвару Николаевну. У нее не было с собой зонтика — бедная, промокла до нитки. В прихожей сняла накидку и шляпку, но постеснялась разуться. Он усадил ее в кресло перед камином, укрыл пледом — хоть бы согрелась поскорей. Зажег спиртовку и поставил чайник.

Она стянула пледом худенькие плечи, сказала, что собирает материал для статьи в защиту ирландских революционеров и ради этого сегодня отправилась к Шарлю Лонге — он живет в предместье Парижа, в Аржантэй. Уже возвращалась, вышла с вокзала Сен-Лазар — а тут ливень, при холодном ветре — ужас... Ее знобило, и чаш-

ка дрожала в руке, когда она пила горячий чай. Он смотрел на нее с возрастающим беспокойством. Сказал:

— Вы простудились...

— Это пустяки.— Она слабо улыбнулась.— Я поправлюсь за несколько часов. Немного продрогла.

В тот вечер он отвез ее домой на извозчике.

Несколько дней она пролежала дома — с воспалением легких. Доктор Летурно не отходил от нее и сделал все, что мог, но в ночь с 16 на 17 декабря она умерла.

«Лавров ужасно убит,— записал в дневнике Тихомиров.— После Лопатина это, кажется, самый близкий ему человек».

Возле дома на улице д'Асса, где она жила, в день похорон собралось множество людей — революционные эмигранты и французские социалисты, друзья, знакомые, читатели газеты «Justice». Они пришли проводить ее в последний путь — на кладбище Монпарнас.

У свежей могилы рядом с Лавровым стояли Шарль Лонге и Поль Лафарг, стоял потемневший от горя Летурно, его глаза ввалились после нескольких бессонных ночей. К ним подошел, держа шляпу в руке, Клемансо и приглушенным голосом заговорил о том, какого замечательного человека потеряла в лице умершей европейская передовая мысль.

Первым у гроба говорил Летурно, следом за ним — Лавров. Подавляя комок в горле, он произнес:

— Дамы и господа! От имени русской социалистической революционной партии, от имени борющейся России благодарю всех иностранцев, кто пришел сюда сказать последнее прощание нашему товарищу, кого я позволю себе назвать моим другом, Варваре Никитиной, урожденной Жандр.

Он вспомнил, как она ему рассказывала, что еще в юности была увлечена идеями свободы и прогресса — о них она узнала из книг о Великой французской рево-

люции. Эхо этой великой бури еще отдавалось настолько громко, что его слышали новые поколения всех стран.

— Но я считаю себя вправе сказать,— продолжал Лавров,— что в этой борьбе за великие принципы свободы и прогресса, которой она посвятила свою жизнь, она была и осталась русской. Она бессознательно ощутила дыхание революции, которое пронеслось над головой многих молодых русских женщин ее времени. Старшая среди них по возрасту, она принадлежала к поколению тех женщин, что прославились в истории России — выступили в первых рядах... У нее не было времени заботиться о своем здоровье. Нужно было принести слово утешения отчаявшемуся другу — это очень далеко, но она идет. Нужно было собирать деньги для тех, кто оказался жертвой врагов русской революции,— это нелегко, но она это делает. Нужно было дискутировать с софистом, прославляющим эгоизм сытых,— это утомительно, тошнотворно, но ее мужественный голос не может молчать. Нужно было написать статью в защиту доброго дела — и пусть для этого придется прочесть увесистые тома, пусть глаза устают от длительной работы, но борьба за доброе дело — это долг, и долг исполняется. И как она была счастлива этой продолжающейся борьбой, этой непрерывной деятельностью в последние годы ее жизни!.. Она умерла, но не прекратилась ее жизнь для ее друзей, для всех, кто узнал ее преданность делу, которому она служила...

Он сказал, что мог. Он больше не услышит ее голос, не обрадуется ее приходу, не подбросит угля в камин, чтобы ей было тепло у него в кабинете. Осталась только могила на близком кладбище Монпарнас.

«Жаль ее, но также жаль и тех, с кем она была связана тесною дружбою, как, например, с Вами,— написал ему доктор Белоголовый,— друг она была верный, готовый душу положить за друга своего, и ее смерть должна оставить в Вашей жизни заметную пустоту».

«Я понимаю, как Вам не хватает этого друга и какую потерю это составляет для нашей партии», — написала ему из Лондона Элеонора Маркс.

Да, ему страшно ее не хватало — ее голоса, взгляда. Пусть он видел ее не так уж часто, но каждое ее посещение было для него глотком свежего воздуха, при ней он ощущал себя моложе. А теперь нервы его расшатались, и он почувствовал: здоровье сдает.

Что-то стало твориться с его зрением — контуры предметов двоились, двоились буквы, и наступил вечер, когда он снял очки и с ужасом закрыл глаза рукой — не мог читать и писать. Потом пришел врач и сказал, что у него диплопия — от переутомления глаз, его глазам нужен отдых, тогда, наверное, это пройдет.

А если не пройдет? Что же он будет делать, если не сможет читать и писать? И на что он будет жить?

Когда заходили знакомые, он просил их прочесть ему газеты и письма. В феврале 1885 года пришло письмо от Энгельса. «Мне уже говорили, что у Вас болят глаза, — писал Энгельс. — Не лучше ли Вам было бы на время прервать занятия, чтобы не слишком утомлять зрение?»

Но ему уже пришлось прервать!

Правда, вскоре эта проклятая диплопия стала проходить, он смог вернуться к повседневным занятиям за письменным столом, но вынужден был себя ограничивать: когда глаза уставали, буквы опять начинали двоиться...

По субботам он неизменно ходил на редакционные совещания к Марине Никаноровне. В марте на одно из совещаний Тихомиров привел молодого человека, чья крайняя худоба наводила на печальные предположения о чахотке, — народовольца по фамилии Бах, а по конспиративной кличке — Кощей. Он только что приехал в Париж из России. Он рассказал подробности арестов, что

обрушились минувшей осенью па «Народную волю». Сказал с горечью, что ныне партии фактически не существует. Тихомиров уныло молчал и носापывал. Марина Никаноровна прижимала пальцы к виску.

Но какой же все-таки смысл имеет теперь издание «Вестника Народной воли»? Вот выпустили с таким трудом том четвертый. Но для кого он издается? Кто его читает, кроме сотрудников департамента полиции? Лавров заявил срывающимся голосом, что известия из России снова побуждают его отказаться от редактирования «Вестника»: это сизифов труд.

Марина Никаноровна решительно возразила: нет, издание надо продолжать. Пока «Вестник Народной воли» издается, партия жива, у нее есть голос. И в конце концов лучше издавать «Вестник», чем не делать ничего. Этот последний аргумент был, что и говорить, самым убедительным, и Лавров согласился остаться редактором журнала.

Однако еще одна беда брала его за горло — невозможность печататься в России ни под псевдонимом, ни анонимно, никак. Из редакций уцелевших журналов и газет ему перестали отвечать на письма — натерпелись, как видно, страха. В ящиках его письменного стола лежали объемистые папки с незавершенным трудом «Опыт истории мысли», но все надежды на издание этого труда в Петербурге или в Москве рушились.

В конце апреля он понял, что, как бы ни старался экономить, оставшихся денег может хватить месяца на два. Дальше жить ему будет не на что.

Да и зачем жить?

Ведь он ничем не может помочь своим несчастным друзьям — Герману Лопатину и арестованным народо-вольцам, томящимся в петербургском Доме предварительного заключения, Петру Кропоткину во французской тюрьме, Александру Кропоткину в томской ссылке...

Кому он нужен? Дочь его не видела уже почти семь лет, у нее своя семья, и, наверно, отвыкла она от отца. Сыновья от него отвернулись, они совсем другие, они, как это ни прискорбно, обыкновенные чиновники, чьей карьере такой отец может только мешать.

Зачем ему жить дальше?

Он написал пространное письмо друзьям. В письме признался, что очень скоро ему буквально не на что будет жить, а существовать паразитом — за чей бы то ни было счет — для него невыносимо. Поэтому он решает добровольно уйти из жизни. Оставляет небольшую сумму, достаточную для того, чтобы расплатиться за квартиру с хозяином дома, а его, Лаврова, похоронить в общей могиле. В письме он выразил свою веру в неизбежное и всемирное торжество идеалов социализма и свободы, высказал уверенность, что рано или поздно его грядущие единомышленники отдадут ему справедливость.

Положил письмо в ящик стола и начал отсчитывать оставшиеся дни.

Все чаще думалось Тихомирову, что надеяться ему в эмиграции не на что. В погожие весенние дни уходил он из дому в Люксембургский сад и часами сидел, горестно задумавшись, на скамейке. Над головой легко шумела листва, пахло цветами, травой. Случалось, в саду его замечал кто-то знакомый, подсаживался рядом, и Тихомиров с тоской вспоминал вслух о России.

В конце мая почта принесла ему рукописи, предназначенные для «Вестника Народной воли». Но Тихомирову уже не хотелось их читать. Он вручил их одному из зашедших знакомых и попросил передать Лаврову. Однако рукописи были сразу возвращены и к ним приложено письмо: Лавров напоминал, что ухудшение зрения — диплопия нет-нет да и возвращается к нему — не позво-

ляет читать рукописи. Заявлял: «Не в моих привычках носить звание, должность, которую я не исполняю или не могу исполнять добросовестно. Поэтому я считаю наиболее правильным теперь же отказаться от звания редактора «Вестника Народной воли». Признавался: «Вот уже три месяца, как я нахожусь без всякой оплаченной работы и все мои усилия найти какую-либо не привели до сих пор ни к чему». Должно быть, для того, чтобы это признание не выглядело просьбой о помощи, добавлял: «Я могу на заработанные средства просуществовать еще месяца три, может быть — при экономии — несколько долее...»

Тихомиров подумал, что это письмо надо показать Марине Никаноровне — пусть решает, что предпринять. Отнес его к ней на улицу Флаттерс.

Марина Никаноровна, в свою очередь, показала письмо Лаврова друзьям — и оно не осталось тайной для его парижских знакомых. Кому-то, кто ехал в Москву, поручили обратиться в редакцию «Русских ведомостей» с убедительной просьбой снова дать Лаврову какой-то заработок. Кто-то подал идею широко отметить его день рождения: 14 июня ему исполнится шестьдесят два. Когда ему стукнуло шестьдесят, ни о каком юбилее речи не было, теперь же спохватились, решили ободрить старика... Решили отметить не просто день рождения, но 25-летие литературной деятельности. По правде говоря, литературным трудом он занимался уже гораздо более двадцати пяти лет, и цифра эта была названа, очевидно, лишь для того, чтобы отметить день рождения более торжественно.

С утра 14 июня работать за письменным столом ему не пришлось. Один за другим приходили друзья и знакомые с поздравлениями и подарками. Кто-то постарался заранее оповестить об этом дне как можно более широкий круг знакомых и незнакомых.

На шесть часов был назначен обед в ресторане на улице Гласьер — совсем близко от дома.

День выдался жаркий. Из дому его сопровождали — до угла бульвара Пор Рояль, затем по бульвару, в тени каштанов, до улицы Гласьер.

Без десяти минут шесть он вошел в зал ресторана — здесь его встретили шумными приветствиями. Растроганный и смущенный, он увидел, что зал украшен гирляндами цветов. На торжество собралось человек двадцать — все значительно моложе его, людей пожилых среди гостей не оказалось. «Ну что же, — подумал он, приободряясь, — значит, мое место — среди молодежи, среди тех, кому принадлежит будущее...»

Первую речь за столом произнес Тихомиров. Он сказал, что Петр Лаврович снискал всеобщее уважение различными сторонами своего ума и характера, а его энергия и твердость веры могли бы служить примером для многих молодых.

— Я должен, к стыду моему, признаться, — добавил Тихомиров, — что в тяжелые минуты нашей общей деятельности моя бодрость подвергалась тяжелым испытаниям, но вы, Петр Лаврович, поддерживали ее своей непоколебимой верой в лучшее будущее.

Поднялся черноглазый и чернобородый красавец Николай Цакни, от имени парижских революционных эмигрантов он приветствовал Лаврова как борца за свободу. Отметил, как много значит имя Лаврова для каждого, кто объявил войну деспотизму.

Встал Николай Русанов, молодой публицист, ныне секретарь редакции в парижском издательстве Hachette. Он рассказал о глубоком впечатлении, какое произвели на него и его товарищей в России «Исторические письма» Лаврова — они звали к изучению социальных проблем, напоминали о долге интеллигенции перед народом...

Затем за столом вслух читались поздравительные письма и адреса. От кружка русских социалистов в Женеве, от кружка польских социалистов в Париже...

Огласили приветствие, присланное группой социалистов из редакции «Justice» во главе с Шарлем Лонге: «...Вашим словом, Вашим пером, Вашим мужеством в условиях преследований Вы помогали вовлекать молодое поколение в великую борьбу цивилизации против варварства, свободы против деспотизма, справедливости против беззакония во всех его формах.

Слава Вам, Вашему большому уму и большому сердцу. Французские социалисты республиканцы протягивают Вам руку, счастливые и гордые тем, что могут пожать руку собрата по оружию, который для них является примером и учителем».

И наконец, прочитано было письмо от еще существующих южнорусских кружков «Народной воли». Это последнее письмо, отпечатанное, как листовка, в народно-вольческой типографии — кажется, в Таганроге — начиналось обращением «Дорогой учитель наш, Петр Лаврович!» и завершалось такими словами о нем: «Да здравствует лучший из друзей русского народа!»

Говорили еще и еще. Поднимали тосты, пили шампанское.

Он был взволнован. Произнес краткую ответную речь. Не признал за собой тех высоких качеств, которые восхвалялись в речах, произнесенных за этим столом, и от души поблагодарил всех, кто принял участие в торжестве в его честь.

Было ужасно жарко, хотя, конечно, окна распахнули пастежь. Ели мороженое, молодежь танцевала. Около часу ночи Лавров подумал, что ему пора домой.

Вернувшись на улицу Сен-Жак и оставшись один в своем кабинете, он достал из ящика стола письмо, в котором извещал друзей о намерении покончить с собой.

Смял, бросил в камин, зажег спичку и смотрел, как сгорает лист бумаги, превращаясь в кучку пепла.

Ему передали письмо из Москвы: редакция «Русских ведомостей» предлагала уважаемому Петру Лавровичу регулярно присылать в газету «Письма из Англии». Эти «письма» он сможет составлять не выезжая из Парижа — по сообщениям английских газет.

Он немедленно согласился: ему предлагали надежный, постоянный заработок!

А месяца через два он узнал наконец, по какому адресу можно ответить на поздравительное письмо народо-вольцев из России. Отправил им письмо:

«Дорогие товарищи на далекой родине!

Ваш привет глубоко тронул меня. Ни одного из вас я никогда не видел и едва ли когда-нибудь увижу. Но вы для меня — представители той родины, которая стоит предо мною как цель моей постоянной деятельности; вы представители той русской молодежи, которая одна может своею деятельностью и своею энергиею завоевать для нашей родины лучшее будущее... Примите благодарственный привет от старого товарища, который братски обнимает каждого из вас».

Он сознавал, что «Народная воля» обескровлена, революционное движение замирает. Временно! Но замирает. Это все видят. Петербургские и московские журналы отходят в сторону от социальных проблем. И, как ни досадно, русская философская мысль — во всяком случае, та, что легально попадает на страницы печати, — заметно склоняется к религиозным исканиям, уводящим в сторону от революции.

Особенно его раздосадовало новое произведение Льва Толстого «В чем моя вера?». Великий писатель проповедовал непротивление злу насилем, его проповедь впечатляла, на многих читателей она, безусловно, могла повли-

лть. Нужно было теперь же печатно выступить против нового учения Толстого и прежде всего доказать, что рассуждения великого писателя противоречат логике.

Вот что пишет Толстой: «Я убедился, что церковное учение, несмотря на то что оно назвало себя христианским, есть та тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам». Прекрасно! Но что означает «бороться»? Какая же борьба не предполагает противодействие чужой воле, ограничение чужих действий нашими и, значит, насилие?

Толстой думает, что непротивление злу насилием соответствует учению Христа? Но как же тогда воспринимать известный эпизод из Евангелия, где Христос насильно изгоняет торговцев из храма? Вот этот: «Иисус, вошед во храм, начал выгонять продающих и покупающих во храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул...»

Разумеется, тот, кто убежден в необходимости непротивления злу насилием, может перенести зло, причиненное ему лично, не чувствуя ни гнева, ни желания мести, но будет ли согласно с его убеждением не препятствовать злу, которое совершается над другими, когда он может злу помешать?

Об этом Лавров писал теперь статью. И приводил пример: «Несколько человек хотят войти в дом, чтобы взять моего ближнего и вести его на немедленную казнь или в тюрьму, где его будут судить и повесят; я запираю дверь; я устраиваю за дверьми баррикаду; я увожу преследуемого задними дверьми. Это пассивное, но весьма энергическое сопротивление включает уже в себе насилие против преследующих. Но отличается ли оно значительно от того, если бы я с револьвером в руках стал в дверях, которые нечем баррикадировать, и дал бы преследуемому спастись, угрожая преследователям револьвером, а в случае нужды и стреляя в них? Где тут предел до-

зголенного для человека, проповедующего вред насилия? Но идем далее... Как безусловный противник насилия, должен ли я молчать и не указывать на зло из боязни, что вызову к насильственному действию? Но если я буду молчать и не обличать зла, то в чем же смысл моей жизни, смысл моего таланта, который только тогда «огощ», когда «жжет»?»

И наконец: «Если мы поняли, что убеждение требует дел и что всякое противление злу словом и мыслью есть уже начало борьбы и требует борьбы, борьба же почти всегда требует насилия, то мы не можем остановиться и перед насильственными мерами в борьбе истины против лжи, света против тьмы».

В январе 1886 года в парижском Приюте святой Анны умер душевнобольной и всеми забытый Петр Никитич Ткачев. Похоронами распоряжалась единственная в Париже родственница, его двоюродная сестра, она уговорила Петра Лавровича сказать речь у могилы.

Погребальный кортеж двинулся утром под проливным дождем. За гробом шла, укрываясь черными зонтами, кучка провожатых, русских и французов. Несли два венка: один, из красных иммортелей, — от родственников покойного, другой — из желтых цветов, перевитых плющом, с красной лентой — нес один из бывших сотрудников газеты Ткачева «Набат». Хоронили на кладбище парижского предместья Иври.

Когда гроб поставили возле вырытой ямы, Лавров достал из кармана лист бумаги с текстом заготовленной речи, протер платком очки, забрызганные дождем, вдохнул и прочел по-французски:

— У могилы исчезают все личные раздоры, обращаются в ничто все разделения партий и приходится вспоминать лишь общую борьбу против общего врага. Поэтому я счел для себя долгом и честью прийти покло-

ниться гробу того, кто некогда стоял в передовых рядах русских борцов за социалистические идеи и против деспотизма, продолжающего давить наше отечество...

Былая неприязнь его к несчастному Ткачеву давно прошла. Думалось о том, как нужна русскому революционеру выдержка и как может сломиться тот, кому ее недостает.

Насквозь промокший вернулся Лавров домой, но как-то обошлось — не простудился.

Пришло письмо от Петра Кропоткина. Он извещал о том, что его досрочно выпустили на волю из тюрьмы в Клерво. Он едет в Париж — сообщал день и час приезда.

Лавров, Тихомиров и еще несколько человек отправились его встречать на Лионский вокзал. Было холодно, и они дожидались не на перроне, а в вестибюле.

Кропоткин приехал вдвоем с женой — она не только постоянно посещала мужа в тюрьме, но и жила последнее время в Клерво. Теперь он был оживлен, бодр, по заявил, что жить во Франции, где с ним обошлись так негостеприимно, уже не желает и на днях намерен уехать в Лондон.

Лавров пригласил его к себе на ближайший четверг. В этот вечер Кропоткин был, разумеется, в центре внимания, рассказывал о своих злоключениях, вспоминал о России. Особенно внимателен был Тихомиров: он теперь писал книгу «Россия политическая и социальная» — надеялся, что она принесет ему во Франции известность и хоть немного денег.

Тихомиров жаловался, что не может писать днем: ему для работы за письменным столом нужна абсолютная тишина. За стол садился он вечером, выпив чашку крепчайшего кофе, да еще полный кофейник оставлял себе на ночь. Спал по утрам...

В марте 1886 года книга его наконец вышла из печа-

ти — на французском языке. Ее кто-то перевел, так как сам Тихомиров французским владел слабо. Лаврова удивил ее сдержанный тон, тон стороннего наблюдателя, словно автор не был причастен к действиям «Народной воли». Автор выражал симпатию к революционерам, но, собственно, революционной по духу назвать его книгу было нельзя. Заголовок «Россия политическая и социальная» не вполне соответствовал содержанию, в книге было много географических и иных описаний, лишь одна из семи глав, последняя, называлась «Россия политическая». Начиналась она довольно странно: «В русских народных сказках,— писал Тихомиров,— часто видим мифическую фигуру пожирательницы человеческого мяса, бабу-ягу костяную ногу. Обиталище этой старой бабы — избушка на курьих ножках, столь ветхая, что давно ей пора повалиться, и если она не падает, то единственно потому, что не знает, в какую сторону ей валиться. Этот поэтический образ возникает в сознании, когда думаешь о политическом устройстве современной России». — Ну и ну! Создавалось впечатление, что автор столь не уверен в прогрессе, что не берется предсказывать, в какую сторону поведет Россию ход событий. Революционеры такую книгу одобрить не могли! Никким образом! Впрочем, их противникам она также не могла понравиться.

Тихомиров видел, что книга его не имеет успеха. Получил он за нее самый скромный гонорар, да и то половину должен был отдать переводчику. Надежды, связанные с выходом книги, не оправдались...

Здесь, в Париже, он лишь изредка и на короткое время выбирался из хронического безденежья, постоянно был у всех знакомых в долгу. Его жена изо дня в день жаловалась на дороговизну. У них был трехлетний сын, и Тихомиров со страхом глядел в будущее. Франция оставалась для него чужой страной, а возвращение в Россию означало неизбежный арест, каторгу или, в лучшем слу-

чае, долгую ссылку в Сибирь — ведь он был членом Исполнительного комитета «Народной воли», когда народовольцы убили Александра Второго...

Тихомиров горячо любил маленького сына Сашу; мальчик был болезненным, нервным, и, когда он плакал, отец совершенно терял душевное равновесие. Однажды кто-то принес номер журнала «Нива». Мальчик увидел большой, во всю страницу, портрет Александра Третьего, почему-то испугался и громко расплакался. Тихомиров с бешенством взглянул на того, кто принес журнал.

— Еще бы ребенку не испугаться, увидев этого зверя, это животное! Сжечь сейчас же эту рожу!

Он швырнул журнал в камин, в огонь, и схватил малыша на руки:

— Саша, посмотри, видишь, горит, его больше нет!

В апреле Саша тяжело заболел, врачи подозревали менингит, Тихомиров был в отчаянии. Все дела он забросил. Из-за болезни ребенка почти не выходил из дому — только за доктором, в аптеку или за необходимыми покупками.

Семья Тихомировых жила на пятом этаже дома на авеню Рейль, возле парка Монсури. В том же доме, этажом ниже, поселился Николай Русанов. И вот однажды Русанов рассказал Лаврову, как позвонил к нему в квартиру Тихомиров, зашел совершенно подавленный, показал только что полученную по почте открытку. Имя адресата на ней было написано по-французски: M-r Basile Dolinsky, а на обороте неизвестная рука четко написала по-русски: «Лев Тигрыч де Прохвостов, не думай, что мы забыли о тебе. Под какими бы именами и прозвищами ты ни скрывался, знай, что мы захватим тебя в свои руки и отвезем в Россию, где ты, нераскаянный злодей, и примешь от палача давно заслуженную тобой казнь за твои адские преступления».

— Шутки шутками, а уж они со мной расправятся,—

дрожащим голосом говорил Тихомиров. — Подумайте, ведь они узнали уже, что Долинский это я...

Русанов рассказывал, что Тихомиров буквально голову потерял от страха.

Но вот 4 мая явился к Лаврову и сам Тихомиров. Первою размахивая руками, рассказал, что сегодня он был вызван повесткой к комиссару полиции. Комиссар ясно дал ему понять, что его дальнейшее пребывание в Париже нежелательно. Хотя высылка за пределы страны ему не угрожает. Но неужели придется покинуть Париж? Тихомиров умолял Лаврова обратиться с просьбой к Клемансо: пусть выступит в защиту его, Тихомирова, на страницах своей газеты.

Да, дело принимало весьма неприятный оборот. Лавров согласился пойти вместе с Тихомировым к Клемансо для серьезного разговора.

Днем 5 мая они вдвоем поехали на извозчике на улицу Фобур-Монмартр, где находилась редакция «Justice». Клемансо они не застали; им было сказано, что его ждут в редакции только часам к шести. Вышли на улицу, свернули на бульвар Монмартр, нашли свободную скамейку, сели, и Лавров принялся излагать Тихомирову, что именно следует, на его взгляд, сказать при встрече с Клемансо. Тихомиров попросил Петра Лавровича взять этот разговор на себя — ведь он, Тихомиров, в разговоре по-французски с трудом подбирает нужные выражения.

К шести часам вернулись в редакцию газеты. Разговор с Клемансо оказался коротким — занял всего четверть часа. Лавров объяснил, что вот господин Тихомиров, представитель «Народной воли» за границей, ныне имеет основания опасаться, что парижская полиция вошла в сговор с петербургской и это может позволить агентам царского правительства похитить его и вывезти в Россию, где его ждет расправа. Царское правительство завело в Париже целую полицейскую организацию. Если бы фран-

дузское правительство попыталось создать свой полицейский сыск в Петербурге, там этого не допустили бы ни за что. Так почему же подобное допускается в Париже? Стоило бы поставить на страницах газеты этот вопрос... К тому, что сказал Лавров, Тихомиров добавил несколько бессвязных фраз, при этом глаза его дергались больше обычного, он лепетал «мсье Клемансо, мсье Клемансо» и впечатление производил самое тягостное.

С нескрываемым изумлением глядя на Тихомирова, Клемансо ответил, что опасения напрасны, ни о каком его похищении в Париже не может быть и речи.

Лавров испытал чувство крайней неловкости, он готов был провалиться сквозь землю от стыда за столь жалкое поведение этого, с позволения сказать, революционера. Когда Тихомиров раскланялся, Лавров сказал, что ему надо на минуту задержаться... И, оставшись наедине с Клемансо, попытался сгладить впечатление. Сказал, что последнее время из-за тяжелой болезни ребенка нервы у Тихомирова расшатались...

Несколько дней спустя один из близких приятелей Клемансо рассказал Лаврову об удручающем впечатлении, какое произвел Тихомиров. «Я, признаюсь, ожидал встретить человека вроде наших знаменитых террористов великой революции,— говорил Клемансо.— Представьте же себе мое печальное разочарование, когда вместо Дантона или Робеспьера я увидел человека вне себя от страха, с прыгающими по сторонам глазами...»

Никаких статей в его защиту Клемансо печатать не стал. И никто Тихомирова не похитил, полиция не изгоняла его силой из города. Но он еще более замкнулся в себе.

Сын его медленно выздоравливал. В конце мая, в первый раз после того, как мальчик заболел, Тихомиров вышел с ним из дому и гулял в парке Монсури.

Наступило лето. Лавров, как всегда, выезжать из го-

рода не соби́рался. Надо было подгото́вить 5-й номер «Вестника Народной воли», в этот номер он дал статью «Старые вопросы (Учение графа Л. Н. Толстого)» и статьи, посвященные памяти Ткачева и Варвары Николаевны Никитиной. Написал и также решил напечатать в «Вестнике» открытое письмо «Товарищам «Народной воли»: «...Русским социалистам-революционерам не дозво́лительно ни положить оружие, ни вы́жидать удобной минуты для своей организации, ни рассчиты́вать на инициативу других элементов русского общества. Они должны всегда гото́виться и гото́вить других к минуте, которую может принести история...»

Еще осенью минувшего 1885 года появился в Париже народоволец, бежавший из тюрьмы в Харькове, — бывший студент Харьковского ветеринарного института Алексей Макаревский.

Этот добродушный молодой человек с русой бородкой приходил к Лаврову по четвергам, держался застенчиво. Когда Лавров спросил его, какие у него есть средства к существованию, выяснилось, что никаких. Макаревский очень слабо владел французским языком, из-за этого не мог себе найти в Париже работу. Лавров предложил ему маленький заработок — переписку «писем из Англии» для «Русских ведомостей». Отдавал ему часть своего гонора.

Теперь Макаревский приходил каждый день. Он не только переписывал статьи. Всегда выражал готовность принести угля и затопить камин или сходить к булочнику. По четвергам ставил самовар и после ухода гостей, ни слова не говоря, мыл посуду. Видно было, что он не просто благодарен за материальную поддержку, но от души старается сделать для Петра Лавровича все, что может.

Очень славный оказался молодой человек.

В Париже ему жилось тоскливо, бездеятельность угнетала, и в начале лета он сказал Лаврову, что решил легально вернуться в Россию. Надо было ему помочь. Они вдвоем посетили Тихомирова, и Лавров попросил достать для его молодого друга подходящие документы.

Тихомиров с чьей-то помощью достал для Макаревского болгарский заграничный паспорт. С этим паспортом можно было проехать к русско-румынской границе, а в Румынии есть свои люди — переправят. Лавров дал Макаревскому адрес своей дочери и зятя в Екатеринослав. Еще раз высказал убеждение, что путь к революции — это пропаганда, а не террор.

Макаревский должен был выехать из Парижа 30 июля — сначала в Женеву.

Когда он зашел проститься, Лавров почувствовал, что успел привязаться к этому молодому человеку почти как к сыну. Вот уедет — и снова его квартира, его «келья», как ее называла Варвара Николаевна, будет оживляться только по четвергам, а в остальные дни недели снова он будет один... Сказал Макаревскому с чувством:

— Будьте осторожны! Если почувствуете большую опасность, возвращайтесь в Париж.

Макаревский стал спускаться по лестнице, а он, выйдя на лестничную площадку, вслед ему крикнул:

— До свидания, до свидания!

И хотелось верить, что расстанутся действительно до свидания, не навсегда.

Нет, не остался он в одиночестве. Предапным его другом становился Николай Русанов. Все чаще заходил по вечерам, и они подолгу беседовали в кабинете.

Однажды собрались пить чай, Лавров нечаянно схватился за только что потушенную спиртовку и сильно обжегся.

— Черт... черт... как больно! — пробормотал он, дунув себе на пальцы.

Русанов шутиливо заметил, что Петр Лаврович почему-то никогда в подобных случаях не поминает бога.

— Заставил себя, Николай Сергеевич, — серьезно ответил Лавров. — Прежде, когда верил в бога, не обращал внимания, а когда покончил с мифами, решил отучиться... Имя бога я произношу только тогда, когда это строго необходимо в разговоре или письме для обозначения этого легендарного существа.

— Простите, Петр Лаврович, но черта вы упоминаете, а меж тем вы, конечно, столь же мало верите в существование и злого духа.

— А это уж моя непоследовательность, — улыбнулся Лавров. — Нужно было бы и от «черта» отказаться, но как-то не удалось.

В другой раз Русанов спросил, как он относится к смерти, и Лавров ответил:

— Да как же относиться к ней, Николай Сергеевич? Смерти не минуешь.

— Простите, Петр Лаврович, но вы знаете, как я люблю вас и как интересуюсь вами... Так вот: у вас, человека здорового, человека нормального в квадрате, есть страх смерти?

— Собственно, страха нет.

— А что?

— Неприятность непредставимости.

— Я не совсем понимаю, Петр Лаврович.

— Я, знаете ли, Николай Сергеевич, редко думаю о смерти. Но, когда приходится почему-либо подумать, сейчас же испытываю сильное неудовольствие и приказываю себе не думать об этом.

— И удается?

— Всегда удается.

Заметил удивленный взгляд Русанова и добавил:

— Я не люблю неясных, непредставимых вещей. А тут — можно ли себе представить свое несуществование?.. Надо как можно меньше думать о смерти.

И еще сказал:

— По натуре я скорее оптимист. Но порою, когда задумываешься над тем, как узки пределы человеческого наслаждения и как чуть ли не безгранична возможность страдания, становишься почти пессимистом. Вообще же, я думаю, преобладающее настроение в личности зависит в очень большой степени от общественного строя. И от того, в каком периоде находится сейчас человечество...

Его навестила бывшая жена Лопатина Зинаида Степановна. Видно было, что она измучена переживаниями, — Германа ведь она любила, несмотря ни на что. Попросила написать биографический очерк о ее бывшем муже. Он уже столько времени находился под следствием...

Лавров и сам уже думал об этом и с радостью согласился написать этот очерк. Но заметил, что нельзя печатать биографию Лопатина, пока над ним не состоялся суд. Иначе может случиться, что напечатанный за границей очерк повлияет на приговор, усугубит тяжелое положение подсудимого. Надо каждый раз думать, как напечатанное здесь отзовется там.

Из России пришло известие, что в Сибири, в Томске, застрелился Александр Кропоткин. Двенадцатилетний срок его ссылки уже заканчивался, но впереди он не видел для себя никаких перспектив, и жить ему с семьей, как рассказывают, было не на что. До совершенного отчаяния довела его жизнь...

В Париже тоже можно было дойти до отчаяния.

Затравленным чувствовал себя Тихомиров: он замечал за собой постоянную, назойливую слезку. На авеню Рейль, где он жил, в доме напротив, был винный погребок, и там, у окна, целыми днями сидел, глядя на улицу,

толстый брюнет — шпик несомненный. Стоило Тихомирову выйти из дому — этот человек выскакивал из погребка и, не таясь, шел следом. Когда Тихомиров пытался от него ускользнуть и прыгал на подножку омнибуса, шпик тут же подзывал извозчика и старался не потерять своего поднадзорного из виду. Когда Тихомиров к кому-нибудь заходил, шпик следом поднимался по лестнице, записывал номер квартиры и затем выяснял у консьержа, кто тут живет.

Так же в открытую следили теперь и за квартирой Полонской на улице Флаттерс. Каждого, кто к ней приходил, шпики определенно брали на заметку. За каждым новым визитером увязывался «хвост».

Лавров же слезки за собою не замечал. Правда, он выходил из дому нечасто, и все его парижские знакомства были, конечно, сыщикам известны.

А Тихомиров уже просто не мог идти по улице не оглядываясь. От страха ему всюду мерещилось, что его подслушивают. Он даже предполагал, что агентура царской полиции пользуется новейшими техническими приспособлениями — тайно провела телефон в его дом, в каминную трубу! И таким способом подслушивает разговоры в его квартире. Дома он стал говорить шепотом.

Вероятно, он все-таки заблуждался, и никакого телефона не было в каминной трубе. Но шпикам удавалось узнать важнейшие сведения! Так, им удалось выяснить, где именно печатается «Вестник Народной воли».

И вот из Женевы пришло ужасное известие: в ночь с 20 на 21 ноября разгромили народовольческую типографию на улице Монбрийан. В типографии к этому времени тысяча экземпляров 5-го номера «Вестника» была уже готова, только не сброшюрована, был также набран один печатный лист подготовленного сборника статей Герцена. Погромщики выбили стекла, изорвали все, что успели изорвать, рассыпали гранки набора. Было совер-

ненпо ясно, что этот погром — дело рук агентов петербургского департамента полиции. Но их и след простыл.

Пришлось и весь 5-й номер «Вестника», и сборник статей Герцена набирать в кое-как восстановленной типографии наново. Часть тиража удалось сброшюровать из уцелевших отпечатанных листов. На это ушли последние деньги. Но все было отпечатано, издано.

В ночь с 1 на 2 февраля 1887 года неизвестные, по безусловно те же самые лица учинили в типографии второй, и окончательный, разгром.

В середине марта 1887 года газеты сообщили из Петербурга о неудачном покушении на Александра Третьего. Это произошло 1 марта по старому стилю, в памятный день, — ровно шесть лет назад был убит предыдущий царь. Участники нового покушения, Александр Ульянов и его товарищи, были схвачены полицией.

Террор не оправдывает себя! С этой мыслью, укрепившейся в нем, еще раз подтвержденной печальным примером, пошел Лавров на собрание в польский клуб социалистов из группы «Пролетариат». Собрание отмечало годовщину Парижской Коммуны.

Он выступил с речью. Напомнил, как отмечалась эта годовщина восемь лет назад:

— Для русских социалистов это было время широких надежд и сильного подъема духа... Электрическая атмосфера охватывала присутствовавших, ожидавших ежедневно грозных и громких вестей с родины... Большинство в прениях стояло за самые решительные действия, за самые смелые нападения на врага. Одиноки были голоса, которые напоминали об опасностях принятой тактики...

Он не стал напоминать: одиноким был тогда его собственный голос. Лишь отметил, что уже тогда приходилось говорить об уроках Коммуны — о необходимости серьезной подготовки, строгого выбора товарищей. Уже тогда

приходилось говорить о том, что погубило Коммуну в ее битве со старым миром.

— Теперь время иное, — хмуро продолжал Лавров. — В России поредели ряды самоотверженных, энергических бойцов, готовых до конца стоять за свое знамя... Торжествуют насмешливые скептики, которые уже восемь лет назад умели только улыбаться пламенным речам... Из-под этого модного пессимизма выглядывает слишком часто тот самый эгоизм, который отвечает па бедствия страны лишь платоническими вздохами... Было бы нецелесообразно извлекать из истории Коммуны и годов, за нею следовавших, лишь уроки необходимой осторожности, обдуманности и расчета. Есть основание предполагать совершенно достаточно благоразумия, чересчур много осторожности во всяком собрании нынешних русских людей... Были и будут ошибки, поражения, жертвы, измены; были и будут разочарования в людях и обстоятельствах. Это должны уметь пережить и русские социалисты-революционеры. В том ли, в другом ли поколении, их дело должно быть сделано и будет сделано.

Он сделал ударение на слове «будет».

Пришло письмо от дочери из Екатеринослава — она писала, что надеется в этом году съездить в Париж. Не виделись они восемь с половиной лет, и он с нетерпением стал ждать встречи.

А весной ему сообщили: Эммануил Негрескул арестован, Маня — под домашним арестом. За что? За то, что у них в доме скрывался Алексей Макаревский. Он был схвачен полицией по выезду из Екатеринослава — ночью на станции Лозовая.

Потом стало известно, что Макаревский сослан в Восточную Сибирь, в Якутский округ — загнали беднягу в такую даль и глушь... Эммануил Негрескул отделался

пятью месяцами тюрьмы, после чего ему предстоит жить два года «под гласным надзором». А под негласным, наверное, до скопчания дней... Мапе, конечно, сейчас и думать нечего о поездке в Париж, и неизвестно, когда отец сможет ее повидать...

В мае газеты сообщили, что в Петербурге повешены Александр Ульянов и четверо его товарищей. На иной исход надеяться было нельзя...

Начался процесс Германа Лопатина и его товарищей — народовольцев. Под следствием их держали два с половиной года... И вот в июне четырнадцать человек, в том числе Лопатин, Якубович, Салова и Сухомлин, были приговорены к смертной казни через повешение. Ужасный и неожиданный приговор!

Потом смертную казнь им заменили многолетней каторгой или пожизненным заключением. Подумать только — Герман Лопатин заключен в крепость пожизненно! За решетку, в каменный мешок — до конца дней! У такого человека отнимают жизнь...

Значит, не встретиться им больше никогда...

Из Петербурга тайно переслали Лаврову записанное кем-то на суде последнее слово Лопатина. Лавров перечитывал, потрясенный, пронзительные, незабываемые слова: «...Ничей сочувственный, ободряющий взгляд не обращается на нас из этой пустой залы, ничье горячее сердце не забьется здесь благородным энтузиазмом в ответ на наши страстные речи; никто, кроме наших тюремщиков и судей, не услышит и не прочтет этих речей; нам не для кого и не для чего пускаться среди этих пустых стен в исповедование нашей веры; нам неоткуда и не из чего почерпнуть нужное для этого одушевление. Вот почему, господа судьи, я избавляю вас от длинных речей... И для меня, и для вас есть другой суд, неподкупный, нелицеприятный и строгий: это суд истории и потомства, суд

наших детей и впуков. К этому суду я апеллирую в моем деле; на него одного возлагаю я все мои надежды; ему одному с доверием поручаю я будущую защиту моей памяти».

Наступили застойные годы, когда, казалось, история остановила свой бег. Долгожданное время перемен отодвигалось в неопределенное будущее. Отодвигалась не только перспектива грядущей революции, отодвигалось вместе с ней и время возвращения на родину — хватит ли жизни дожидаться? Нелегально можно было, конечно, вернуться и сейчас, но это означало неизбежность тягостного подпольного существования, неминуемого — рано или поздно — ареста. Открытого, радостного возвращения быть не могло.

Лавров теперь очень редко виделся с Тихомировым. Хмурился, узнавая, что после болезни маленького сына (а может быть, и раньше) Тихомиров обратился к религии, к православию — молился, постился. У сына после болезни появились признаки слабоумия, отец же постоянно говорил ему о боге, о спасительности молитвы. Он стал водить сына в православную церковь на улице Дарю.

Наконец стало известно, что он написал покаянное письмо царю — ради того, чтобы ему разрешили вместе с семьей вернуться в Россию.

Тогда же, в 1888 году, Лавров получил по почте только что отпечатанную в Париже и еще пахнущую типографской краской брошюру. Прочел заголовок: «Почему я перестал быть революционером». Автор — Тихомиров. Он же ее и прислал.

С тяжелым чувством читал Лавров эту брошюру. Читая, все яснее понимал, что побудило Тихомирова ее написать и издать. К унижительному покаянию, к жалкому ренегатству привели его шаткость убеждений и слабость характера. Но самолюбие не позволяет ему при-

знать свою слабость. Он, как видно, самого себя убеждает в том, что поступает правильно, мудро, и вот теперь стремится убедить других в своей правоте. Поэтому и послал брошюру Лаврову. Но неужели он ждет поддержки и сочувствия?

Возмущенный до глубины души, Лавров сразу же принялся писать ответ — он напечатает его как открытое письмо. Нельзя оставлять брошюру Тихомирова без ответа! Ведь этот бывший революционер не просто кается — он поучает, он пытается отпугнуть русскую молодежь от революционного движения. Терпеть и унижаться — вот что, по сути, предлагает бывший народоволец Тихомиров и сам подает пример! В жалкой брошюре своей этот бывший член Исполнительного комитета «Народной воли» теперь утверждает: «Сильная монархическая власть нам необходима...» Как только мог он такое написать!.. Он старается забыть, каким сам был недавно. Запуганный полицейскими агентами, сломленный, он уже не хочет видеть, что самодержавие не только преследует революционеров, оно когтистой лапой двуглавого орла наступило на горло всей России! «Оно бросило русскую интеллигенцию в оппозицию и в революцию, — написал Лавров. — Оно стоит перед дилеммой: или самому погибнуть, или раздавить в России все элементы живой и самостоятельной мысли, потому что они все ему безусловно опасны».

Для Лаврова было немыслимо отступить. Ни прежде, ни теперь, ни в его последние оставшиеся годы. Он проведет их в ежедневных трудах за письменным столом, с пером в руке. В ежедневных трудах во имя грядущего преобразования России.

Его жизнь оборвется на пороге двадцатого века, не суждено ему дожидаться возвращения на родину, не суждено увидеть своими глазами русскую революцию.

Время пройдет, и его не стапет, но о нем не забудет молодое поколение революционеров, и подхватят они песню «Отречемся от старого мира...» Его слова!

И в молодые свои годы, и на закате дней он был убежден: борьбу за правду и справедливость нельзя, невозможно откладывать на будущее. За правду и справедливость он боролся, пером и словом, всю жизнь. Волю его к борьбе не сломило ничто, и в последние годы он говорил себе и тем, кто помоложе, кто ждал от него напутствий: если ты можешь что-то сделать для великого революционного дела, значит, должен это сделать. Если можешь, значит, должен. Отступать нельзя.

Тхоржевский С. С.

Т92 **Испытание воли: Повесть о Петре Лаврове.— М.: Политиздат, 1985.— 301 с., ил.— (Пламенные революционеры).**

Т $\frac{0505020000-013}{079(02)-85}$ 184—85

84P7+63.3(2)51

P2+9(C)16

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ТХОРЖЕВСКИЙ
ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ
ПОВЕСТЬ О П. ЛАВРОВЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новозатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *А. А. Степанова*
Художник *Е. А. Черная*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 3596

Сдано в набор 07.08.84. Подписано в печать 16.11.84.
А 00209. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 13,91. Усл. кр.-отт. 16,28.
Уч.-изд. л. 14,12. Тираж 300 тыс. экз.
Заказ № 277. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1985 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Анатолий Афанасьев
«...И ПОМНИ ОБО МНЕ»
Повесть об Иване Сухинове

Татьяна Павлова
«ЗАКОН СВОБОДЫ»
Повесть о Джерарде Уинстенли

Арсений Рутько, Наталья Туманова
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ»
Повесть об Эжене Варлене

Борис Хотимский
«НЕПРИМИРИМОСТЬ»
Повесть об Иосифе Варейкисе

Вячеслав Шапошников
«К ЗЕМЛЕ НЕВЕДОМОЙ»
Повесть о Михаиле Брусневе

Франц Таурин
«НА БАРРИКАДАХ ПРЕСНИ»
Повесть о Зиновии Литвине-Седом